

ISSN 0131-6044

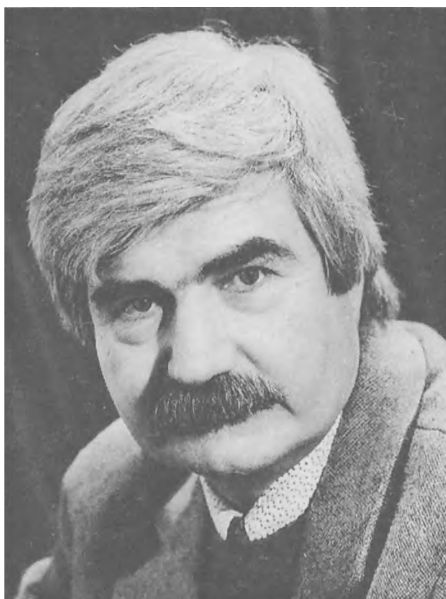
РОМАН-9-10

ГАЗЕТА

(1207-1208) · 1993

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ,
ЧТО МЫ-КАЗАКИ!





НЕМЧЕНКО Гарий (Гурий) Леонтьевич родился в 1936 году в станице Отрадной на Кубани. В 1953 году поступил на философский факультет Московского университета. Окончил факультет журналистики — в 1959 году. Более десяти лет работал на Антоновской площадке под Новокузнецком, редактировал многотиражку «Металлургстрой» на Запсибе. Член Союза писателей с 1964 года. Автор многих — в том числе для детей — книг прозы, сценариев документальных и художественных фильмов. Жил в Майкопе и Краснодаре. Известен как переводчик с адыгейского языка.

Был первым атаманом землячества казаков в Москве, заместителем атамана Союза казаков по культуре и внешним связям. В 1990 году выпустил первый номер газеты «Казачьи ведомости». Живет в Москве.

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович родился в 1936 году на станции Топки Кемеровской области. В 1961 году окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института. Печатается с 1963 года. Автор повестей «На долгую память» (1968), «Люблю тебя светло» (1969), «Осень в Тамани» (1971), романов «Когда же мы встретимся?» (1978), «Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания» (1987), «Афродита Таманская» (1991), книги «Время зажигает светильники» (1992). Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1988). Живет в Краснодаре.

На 1-й странице обложки — «КАЗАЧЬЯ ПАМЯТКА»
(художник С. Гавриляченко):

С. Д. Ефремов — войсковой атаман Войска Донского
Д. Е. Ефремов — войсковой атаман Войска Донского
М. И. Платов — граф, генерал от кавалерии, войсковой атаман
А. К. Денисов — генерал-лейтенант, войсковой атаман Войска Донского
*С. Ф. Балабин (2-й)** — генерал-майор, командир Атаманского полка
Ф. П. Денисов — граф, генерал от кавалерии
В. П. Орлов — генерал от кавалерии, войсковой атаман Войска Донского
Т. Ф. Греков — бригадир
П. М. Греков (8-й) — генерал-майор Войска Донского
В. И. Иловайский — полковник Войска Донского
А. И. Иловайский — генерал от кавалерии, войсковой атаман Войска Донского
В. В. Орлов-Денисов — граф, генерал-адъютант, генерал от кавалерии
И. Е. Ефремов — генерал-лейтенант Войска Донского

А. А. Карпов — генерал-лейтенант Войска Донского
А. В. Иловайский (1-й) — генерал от кавалерии, войсковой атаман Войска Донского
И. Д. Иловайский (4-й) — генерал-майор Войска Донского
Н. В. Иловайский (5-й) — генерал-лейтенант Войска Донского
Г. Д. Иловайский (9-й) — генерал-майор Войска Донского
О. В. Иловайский (10-й) — генерал-майор Войска Донского
В. Д. Иловайский (12-й) — генерал-лейтенант Войска Донского
Г. А. Луковкин — генерал-майор Войска Донского
Д. Е. Кутейников — генерал от кавалерии, наказной атаман Войска Донского
Т. Д. Греков (18-й) — генерал-майор Войска Донского
И. Ф. Чернозубов — генерал-майор Войска Донского
Я. П. Бакланов — генерал-лейтенант Войска Донского
Ф. А. Круковский — генерал-майор, наказной атаман Кавказского линейного войска

* Числительное, стоящее после фамилии того или иного офицера, означает официально принятый в Императорской русской армии порядок, согласно которому каждому получавшему офицерское звание члену данной семьи в специальном Императорском указе последовательно присваивался очередной порядковый номер.

Обусловлено это тем, что при производстве в офицеры кандидат имел право выбора того или иного полка, а по семейным традициям дети, как правило, шли служить, условно говоря, в «свой» фамильный полк. В результате для лаконичности и в предотвращение путаницы каждому вновь поступающему на службу офицеру одной и той же семьи присваивался свой очередной номер, ибо в отношении обер-офицеров было не принято указывать ни имени-отчества, ни инициалов. Присвоенный единожды номер оставался пожизненно и в штаб-офицерских, и в генеральских званиях; не менялся он даже тогда, когда кто-то из старших членов семьи погибал в бою или уходил в отставку.

РОМАН-9-10

НАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
МОСКВА

ГАЗЕТА

(1207·1208)·1993

Основана в 1927 г.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ЧТО МЫ-КАЗАКИ!*

Гарий Немченко

ВОРОНОЙ С ПОХОДНЫМ ВЬЮКОМ

Тот, кто первый на завалы попадет,
Тому слава и «Георгий» и почет...

Старинная казачья песня

1

Вечером я попрощался со всеми своими бетонщиками да монтажниками...

Облокотившись о перила, покуривал дома, на балконе двенадцатого этажа, посматривал, как вдалеке, над гроздьями огней, нависшими над футбольным полем динамовского стадиона, большая черная туча доглатывала иссиня-желтую луну, и вот тут-то, прежде чем бросить в жестянку с водой окурки, я и обратился к ним, значит, мысленно: «Все, ребята! — говорю. — До свидания — хватит! И так надо мною уже собратья посмеиваются, а кое-кто из критиков прямо-таки кипятком исходит (тут я готов просить прощения у эстетов, но ведь разговор шел мужской, без дам, да и потом хотелось, чтобы они все правильно поняли, бетонщики, — зачем бы тут сложные, вроде знаменитой «амбивалентности», термины?), когда опять заведу все ту же пластинку, опять про стройку: а я, мол, что говорил?.. Не видите, он давно на ней помешался, не видите, он — с приветом?! Так что вы пока, — говорю, — от меня отдохните, где-нибудь там подалее, может, в командировке, желательнее в заграничной, повкальвайте там на общее благо; или все вместе — в отпуск, помайтесь на Побережье, потоскуйте без любимого дела, без хмурого, значит, неба, расчерченного стальными, конечно же, конструкциями, — а я поднимусь завтра утречком пораньше и...»

И тут я бросил в жестянку окурки и даже ладони потер от удовольствия: так нравился мне сюжет, на который таким-то вот образом я себя с вечера настраивал.

Сюжет и правда был ничего, к тому же сложился сам собою, я и пальцем о палец не ударил, чтобы что-то присочинить → даром, можно сказать, достался.

Начало я узнал два года назад, когда буквально на денек заскочил в родную свою станицу... Ну что такое обычно этот один-разъединственный денек? Пока с мамой поговорили, выслушал жалобы на плохое здоровье, пока обошел родню да посидел часок вечерком у своего старого учителя — все, уже пора уезжать! И вот один из однокашников дал мне машину до Армавира, другой провожать поехал — чтобы хоть по дороге парой слов перекинуться. Говорили, как водится, обо всем сразу и ни о чем толком, и уже на перроне я вдруг вспомнил, что не успел спросить: летает ли к нам по-прежнему самолет? День простоял накануне солнечный, но над станицею самолет почему-то не появлялся, а проглядеть его я не мог: как раз над нашим домом он круг делает.

— А ты ничего не знаешь? — спросил меня мой друг.

Я только плечами пожал: а что, мол, я должен знать?

— Аэродром-то запахали! — сказал он.

* «Слава Тебе, Господи, что мы — казаки!» — слова казачьей молитвы.

— Как так — запыхали? — спрашиваю.

— Да как?.. Пришел «Кировец» и все взлетное поле перепыхал.

— Земли, что ли, мало? Негде сеять?

— Да ну! — отмахнулся друг. — Может, у тракториста голова болела с утра или с женой поругался, я уж теперь точно и не помню... Ну, и маленький перепутал. А может, там пахать было легче, чем по взгоркам, — не знаю. Эти, что в аэропорту работали, начальник с кассиршей да радист, они же приезжали на работу на том автобусе, что к первому рейсу пассажиров привозит... Ну и вот: приезжают, а все уже вспахано. Тут как раз самолет. Один круг сделал, другой, а шесть негде. Все у этого «Кировца» стоят, задрали головы, а летчик пальцем у виска покрутил да и полетел в Армавир, — мол, на автобусе теперь добирайтесь. И перестали к нам прилетать. Обиделись, что ли. Ну, наши взяли и подсолнухи посадили, поле-то вон какое, не пропадать же добру!

Я, конечно, дал волю чувствам, что называется: да, говорю, совершенно дурацкая история, — только в нашей станции и могла такая случиться!.. И что теперь? Откроют снова аэропорт? Не откроют?.. Ведь как было удобно: пару часов летишь до Краснодара на «Ту», там быстренько на «кукурузник», и ты уже, считай, дома...

Но тут состав дернулся, проводница закричала свое обычное: вы, дескать, едете, гражданин, или решили остаться?

Как когда-то давно, еще пареньками, мы сильно, с размаху, ударили ладонью о ладонь, хлопнули друг друга по плечу, и я вскочил в тамбур; отодвинулся сперва внутрь, а когда проводница опустила над подножкой рифленую крышку и встала желтый флажок, то встал с нею рядом и все покачивал головой, глядя на идущего по перрону вслед за вагоном товарища, а он улыбался и разводит на ходу руками: мол, что подделаешь?.. Или не знаешь: уж в Отрадной-то и не такое бывало!

Что верно, то верно: чего только не случалось в нашей станции, и все, казалось, давно привыкли, что вечно тут что-нибудь такое случается, но то, что произошло потом, через год после нашего разговора на перроне, — уж тут вы меня, конечно, извините!..

Узнал я обо всем точно при тех же обстоятельствах: уже на платформе перед отходом поезда. Опять мне удалось заскочить домой всего лишь на день, опять были и длинные разговоры с мамой, и вечерок с друзьями, а наутро мы снова поехали в Армавир с тем же из моих однокашников, что провожал меня в прошлый раз.

Надо ж такому совпадению случиться: поезд вот-вот должен тронуться, тут я и спрашиваю: что, мол, с аэродромом-то?.. Чуть не забыл спросить: самолетик-то снова летает к нам или как?

И друг мой повторил ту же самую фразу: «А ты ничего не знаешь?» Только на этот раз голос у него звучал как-то уж совсем необычно: в нем слышались и удивление, и даже как бы испуг. Качнул головой, вздохнул и, прежде чем начать, губами причмокнул. Не знаю, мол, как и подступиться к этой истории!

А я уже поглядывал на часы: поезд стоял в Армави́ре всего несколько минут.

— Так что, что случилось-то?

— У нас же теперь осенью скачки опять устраивают. На ноябрьские праздники...

— Ну, устраивают, и что?

— А тут как раз успели собрать на аэродроме подсолнухи... Бодьлыки сожгли, потом коток пришел, и полосу-то эту взлетную прикатали — к сдаче аэрофлотовцам готовили. Чтобы летчики, значит, не придирались. Потому что теперь, когда наши попросили снова открыть аэропорт, они целую кучу вопросов набросали: и то, мол, у вас не так, и это не эдак...

— Ну, не тяни ты, — тороплю его, — ну!

А он опять начал мяться и вздыхать, но потом с духом собрался:

«...Короче, так: решили провести скачки на этой самой полосе, что для самолета готовили, на взлетной. Чем не удобно? Миру, конечно, собралось! Конники все в черкесках — месяца три перед этим промкомбинат наш только на эти черкески и работал: все хозяйства по-заказывали, а как же! Праздник... Ну, толкуются они на старте, горячат коней — сначала общий заезд объявили. И молодые ребята, и постарше, и несколько совсем пожилых — они же все призы и берут, по прежним-то годам должен помнить...

Ну еще бы!

Я и в самом деле припомнил начало пятидесятых, когда скачки были в станции самым большим праздником — проводили их обычно после осенней ярмарки: миру-то всегда было, миру!.. В нашей станции никто не скажет, мол, было много народа, нет, вот только так всегда: ми-иру!..

Говор, конечно, смех, толпы у палаток, гармошка, семечки... А потом выстраиваются все вдоль залитой известкой канавки, но канавка неглубокая совсем, ее тут же за-таптыгают, потому что задние напирают, и как ни стараются милиционеры, как ни сдерживают передних — по-простому, по-нашенски обеими руками упершись тебе в грудь, — куда там!..

Все выворачивают головы, все в одну сторону глядят, на всадников, все с замиранием ждут выстрела... Какой там стартовый пистолет: мы тогда еще и не знали, что такие бывают — ну откуда? Начальник милиции неторопливо расстегивал кобурку, доставал револьвер, поворачивал в щелчком барабанчик и передавал оружие одетому как на парад военному. Тот высоко поднимал руку, и пацанва невольнo втягивала голову в плечи, молодые девчата да женщины постарше враз прятали под ладонями сережки, зажимали уши, и тут — ба-бах!..

Срывались со старта кони, невольнo отшатывалась толпа, когда они с храпом неслись мимо... эх, были времена!

Какие там, конечно, черкески — жили-то еще совсем бедно. Рубахи в полоску пузырились у казаков за спиной, вздувались гимнастерки, мелькали футболки с номерами: по случаю праздника одалживали их станичникам не знавший тогда поражений отрядненский «Урожай»...

А первое место из года в год занимал один и тот же старик: затынутый узким наборным ремешком, маленький и сухой дед Постников. Помню, в очередной раз вручал ему военком именной подарок, и дед стащил с головы кубанку, провел ею по жиденьким слипшимся волосам и сунул под мышку, а потом выбросил вверх руку с маленькой коробочкой в пальцах и тоненько закричал: «Шашнадцатаи!»

Тут со всех сторон: «Что такое, дед?.. Что там у тебя, Василь Степаныч, шешнадцатое?.. Покажь!» А он еще громче и еще тоньше закричал, да так радостно: «Шашнадцатаи часы, а все как одна — «Победы». Не зря на войну ходил!» И все бросились качать деда — боевой и правда был дед: и германскую прошел, и гражданскую, в Отечественную не взяли — добровольцем записался в тот самый корпус, который под Кушевкой прорвался через танки и вырубил потом засевшую в кукурузе эсэсовскую «Зеленую розу». Это наши деды-то с пацанами — против их отборного полка!.. Идет теперь по улице, носком сапога пыль загребает, сильно прихрамывает, а на коня сел — и в рубке первый, и в джигитовке: шешнадцать часиков, видишь, отхватил!

Все это пронеслось у меня в памяти за секунду — были и правда времена! Но поезд уже ударил сцепками, я заторопил друга:

— Дальше, дальше-то что?!

— Ну, поскакали они, — продолжил он с ноткой меланхолии в голосе и даже как бы с тоской. — Быстрой, быстрой... Я там тоже был. Смотрел скачки... И вдруг такое впечатление, знаешь, что начали приподниматься над землей. Все вместе. Чуть выше, выше... А потом раз — и взмыли! Как стая голубей. Чуть не свечкою — вверх.

А поезд уже дернулся, и я чуть не закричал:

— Да кто взмыл-то?!

— Ну, кто-кто, — почти уныло сказал мой друг. — Я же

тебе ясно говорю. Они взмыли. Наездники эти. Всадники. Казаки, одним словом.

— С лошадьми, что ли?!

И не успел я оценить всей нелепости своего вопроса, как друг мой столь же нелепо и ответил:

— А как бы они — без лошадей?

Тут состав, который уже было тронулся, на миг замер: может, машинист прикуривал, а может, проводницы выставили красный флажок — пожалели какую-нибудь старушку, которая не успела управиться со своими мешками.

— Разыгрываешь? — спросил я у друга, держась одной рукой за поручень.

Но он только горько усмехнулся:

— Кабы так!

— А где же они сели? — поинтересовался я.

Но ехидца, прорвавшаяся, конечно же, в моем голосе, нисколько его не задела, он так же спокойно, даже смиренно, как в старину говаривали, ответил:

— Да кто где. Один теперь из Хабаровска пишет. Другой с Камчатки телеграмму прислал, — длинно вздохнул и точно таким же тоном, каким говорим о судьбе какого-нибудь уже давнего теперь школьного выпуска, почти эпически заключил: — Что ты! Разбросало ребят — где теперь только нету!

Само собой, что с языка у меня готовы были сорваться десятки вопросов, но все их главный придерживал: да уж в своем ли уме мой друг?.. И он это скорей всего понял, потому что вид у него стал и совсем обреченный.

Но вдруг в его глазах мелькнула надежда:

— А может, тебе фотку прислать?

— А что за фотка?

И он заторопился:

— Не, тут порядок, не, ты не думай. Фотка будь здоров: спецы снимали. Они ведь, прежде чем совсем улететь, тоже крут сделали... Только побольше, чем всегда «кукурузник», что ты! Чуть ли не над горами прошли... Может, потому, что у лошадей подковы да мундштуки, а может, и мелочишка у кого в кармане была, только их на ратане* засеки, когда они над Зеленчуком еще на малой высоте шли. У них же там всегда техника наготове: мало ли что? Внеземные сигналы цивилизации... Ну и успели, будь здоров, нащелпать снимков и даже разговор на ленту записали.

— И о чем они там?

— Надо, говорят, скинуться, когда сядем.

Как хорошо, что поезд все-таки тронулся первым! Если бы он тогда еще чуть простоял, наверняка бы тронулся я.

И дальше мне крупно повезло: оказалось, что в армавирской кассе на одно и то же место продали не два билета, что на всех станциях бывает, даже не три, что хоть реже, но случается, а целых пять!.. Тут же началось длинное разбирательство, кто когда билет приобрел, слышались эти милые разговоры, которые обычно зовутся у нас и е н у ж н ы м и, пошло битье в грудь и перетаскивание вещей в другие вагоны — нет-нет, тут фортуна, как говорится, мне улыбнулась: по крайней мере, половину пути до Москвы голова моя была занята проблемами совершенно земными, до боли, как говорится, знакомыми, а когда я вернулся наконец в мыслях к необыкновенному происшествию в родной моей станице, оно уже как-то от меня отдалилось, уже перестало казаться столь странным, как тогда, когда впервые о нем услышал.

Не стану описывать, что меня выручало на первых порах в Москве, уже дома, — не в этом дело. Вообще-то нашего брата литератора спасает всегда другое: было, думаешь, или не было того, о чем ты услышал, — и ему потом может найтись местечко в твоих писаниях. Ну, штука не новая, конечно: в хозяйстве, мол, все сгодится.

Более того: странный рассказ моего станичного друга решил я на всякий случай перепроверить, и для этого написал письмо в Нижний Архыз одному знакомому астрофизику, который работает наблюдателем на БТА — большом те-

лескопе азимутальном. Чтобы не показаться или полным идиотом вообще, или хотя бы человеком слишком доверчивым, все услышанное я выдал за анекдот: вот, мол, какие нелепицы в родной моей станице рассказывают... И представляете?! Приносят вдруг вскоре заказную бандероль, в которую вложен свернутый в трубку большой снимок — такие от своего знакомого я и раньше получал: какая-нибудь далекая туманность, тугая спираль газового облака, в котором скручены миллиарды километров, что-то подобное еще.

Вполне понятно, что первым делом я развернул снимок. Различить на нем что-либо в этот раз было совсем трудно: темное поле сгущалось в центре до яркой черноты. Может, дыра, думаю?... Черная. Ан нет! Знакомый астрофизик сообщил на полном серьезе, что это лошадиная ушная раковина, что снимков поменьше у них, попросту говоря, нет — объективы были нацелены на предметы слишком далекие: кто мог ожидать, что над куполом обсерватории совсем низко пронесется косяк лошадей с всадниками?.. Но не это меня больше всего заинтересовало. Он писал также, что щель в куполе была в то время приоткрыта, так как погода стояла хорошая, и механики колдовали над створками, профиллактический ремонт проводили, и вот через эту самую щель на шестиметровое — в диаметре! — зеркало телескопа упало несколько конских яблок и окурки сигареты «Памир».

Вызванные из Москвы специалисты по космической биологии потом подтвердили, что никакого отношения к возможным братьям по разуму иметь он не мог, так как обнаруженные на нем аминокислоты вполне земного происхождения, более того, имели прямое отношение к тому виду продукции, который мы теперь сокращаем...

Яблоки — это шут с ним, такое могло случиться с лошадьми и от испуга, но вот что касается окурка!.. Выходит, земляки мои, оторвавшись от земли, чуть ли не тут же к своему новому положению привыкли?.. Если даже кто-то там закурил с досады или даже, предположим, от горя, — значит, все-таки уже настолько пришел в себя, что смог это сделать — закурить?

Размышляя над письмом, я почувствовал даже что-то похожее на зависть: а может, они, сукины коты, — так в нашей станице старики говаривали, — пробыв в воздухе всего лишь пяток минут, уже настолько расслабились, что любовались окрестным пейзажем? Уже на все свысока погшевывали?..

Так или иначе, по настроению это сходилось с записанным на пленку предложением скинуться.

Такие вот случились дела, и я уже тогда что-то такое во всей этой истории почувствовал. Стыдно сказать: как бы увидел какую личную выгоду. А после долгих размышлений окончательно пришел к выводу: ну, разве это не подарок судьбы?.. Нет-нет, надо мне почаще на свою на малую родину возвращаться, на Кубань, — чего она только, матушка, не подкинет!.. Тут критики правы: нельзя нам от родной земли отрываться — тогда-то она тебе и воздаст. В противном, как говорится, случае разве бы я узнал, как с нее улетела наряженная в новенькие промкомбинатовские черкески добрая сотня лихих моих земляков — без документов, не то что без подьемных — многие даже без выданной женою по случаю праздника троячки (у нас в станице три рубля — не «трояк», а почему-то «троячка»). Не сомневаюсь, правда, что почти у каждого из них лежала в «пистончике», в маленьком этом кармашке для часов, что справа под поясом, заначка, но ведь потому она заначкою и зовется, что это уже дело сугубо личное, учету, как правило, не поддается, — не станем и мы ее учитывать.

Теперь, когда я коротко пересказал сюжет, согласитесь: разве нет в нем хотя бы намек на тайну, да еще ведь не на какую-то там обычную земную тайну — многие уже наверняка ощутили, как потянуло от этой истории хоть и далеким, но острым космическим холодком...

И в самом деле: по сравнению с вышеописанным происшествием — ну что такое сюжет любого производствен-

* Ратан — радиотелескоп Академии наук.

ного романа? Он ведь всегда, как правило, в четыре строки укладывается:

«Почему сегодня не дали план, Иванов?»

«Бетонный простоял».

«А почему он простоял?»

«А хрен его знает».

Вот на этот, прошу меня простить, «хрен» и приходится главная и смысловая, и художественная нагрузка; это за ним, за этим «хреном», стоит: либо авария, либо стихийное бедствие, либо семейная драма. Если у автора богатое воображение, он, конечно, может придумать и еще десятка два, а то и три причин, по каким мог простоять бетонный завод, и все же тут, согласитесь, особо не разгуляешься.

Потому-то и позвала меня сразу эта история с отрядненскими казаками, что был на ней налет чего-то такого... Не то чтобы я решил погрузиться в океанские глубины ирреального, где так запросто давно уже не только плавают, но, можно сказать, прямо-таки обитают многие мои товарищи по перу, из-за всех этих заграничных масок на лице — с отечественным снаряжением, уверяют они, пока худо — так один на другого похожие, что иной раз их не различишь... Нет! Куда там до рекордов — у меня пока не то что аквапанга, изготовленного зарубежной фирмой, не то что гидрокостюма — еще и плавок приличных не было. Да и какой там океан — так, бочажок на краю худосочного лесочка. Ну и когда не будет никого поблизости, рубаху да штаны стащить и войти в кальсонах, а осядет под ногами взбаламученный ил — тогда уж ладошкой водички зачерпнуть и похлопать себя сперва по животу, по плечам, потом уже обеими руками на грудь плеснуть, а там, глядишь, если не спугнут, можно и присесть на секунду — чтобы, значит, вода по шейку... Ну и отмыть, а то и осокою оттереть либо песочком, а может, если не будет песка, то мулякой — это тоже, значит, родная речь, так у нас на Кубани зовут ил — отмыть, говорю, этот самый ярлычок романиста-производственника, которым я родною критикой помечен. Это ведь тоже такое дело, как со скотиною: одной клеймо на ляжку поставят, и ничего, и пуце прежнего взбрыкивает, вроде бы даже здоровей стала, и будто бы даже со смыслом каким в глазах, будто бы даже с гордостью на тавро свое нет-нет да и поглянет... А другую заклемят — глядишь, и заразу занесли, ее потом к стаду от деревца гонишь, а она — ни в какую: как ей без этого деревца? Кто ее еще так, как молчаливое деревце, поймет и так пожалеет? Кто струпья с болячки снимет?..

2

Дальше тут пойдет почти документ, если только может быть документом приблизительное — как бы мы ни старались сделать его точным — описание того, что иногда с душой нашей происходит...

На следующее утро встал я по звонку будильника в пять и первым делом включил самовар и плитку. Пока умылся, пока сварил пару яиц всмятку, попил крепкого чайку и выкурил на балконе сигарету, прошло тридцать пять минут — система, уже до мелочей отработанная. В пять сорок я уже сидел за столом, уже стаскивал мысленно рубаху, уже подходил осторожно к бочажку, и волглая, с матовым налетом трава ранней осени уже холодила ступни, потом цвиркнуло между пальцами, ноги прогрузать стали... нет, остановился! Что-то не шло у меня дело, нет, не шло.

Вы только представьте себе и правда картину: вот они, все в новеньких черкесках, несутся на взмыленных лошадях, прикинув к их вытянутым шням, глухо стучат копыта, летят из-под них комья земли... «Д-давай! — кричат болельщики. — Еще прищпорь!.. Жми!»

И вдруг — тишина, и вдруг все головы — вверх, и ощущение у всех такое, словно из-под ног уходит земля или небо опрокидывается: это они уже взмыли над ближним холмом...

Видел кто-нибудь хоть что-либо похожее?..

А дело не шло.

Выкурил еще одну сигарету, смел пальцами с перил пыль — ночью от верхнего балкона отвалился еще кусок штукатурки, и хорошо, что ночью. Испачкал ладонь и пошел руки мыть. Краем глаза увидел, что на часах уже ровно шесть, подумал на ходу, что пора и телефон включить, вдруг будет, как всегда в это время, междугородная звонить, сибирские мои дружки — для них это удобное время... Взглянул за ручку двери в ванную, и тут... ну, как бы объяснить?

Будто какой неслышный щелчок, и всё это словно входит в тебя, растет, ширится, захватывает не только сознание, но и вообще каждую твою клетку, и каждая начинает звучать, и все сливается в один звук, уже ясно различимый, и в нем всего лишь слово: когда?.. Когда?!

Это как музыка, сопровождающая виденье: *к высокой стене из старого камня, из котильца, задом подкатывает «газик», и он выходит из него, резко, как всегда, хлопает дверцей, тут же становится на подножку, с подножки — на капот, с него — на крышу, потом перешигивает с одного выходящего из-под старого брезента железного ребра на другое, и вот он уже на монастырской стене, почти тут же прыгает вниз, внутрь двора... Он ведь и точно думал: прыгнет вот так, и тут же услышит крики, и молодые послушницы в черных своих одеждах кинутся врассыльную — как цыплята от коршуна... И вдруг — тишина. И никого. И он видит, что на месте ворот напротив висит всего лишь одна покривившаяся створка, а вторая боком приставлена к стене изнутри...*

Я открыл кран и тут же приоткрыл еще больше: словно для того, чтобы напор воды соответствовал этому напору во мне, чтобы слились два шума — этот, внешний, и тот, который только что затопил сознание и все продолжал биться и хлестать все тем же: когда, когда, когда?!

«Проклятый ты реалист! — сказал я себе. — Ну почему ты вбил себе в голову, что тебе непременно надо поехать в Молдавию, прокатиться по той, что они тогда строили, дороге, подойти к монастырю, потрогать этот самый котилец, шагнуть внутрь, постоять посреди двора, пройтись потом по кельям, поговорить со старухами, — ну почему? Или не можешь без этого обойтись?.. Не можешь — поезжай! По местам боевой славы Максима Павловича Коробейникова. По местам боевой славы, как считают другие. Но ты все только обещаешь Таубу приехать, трепач, — он уже и ждать небось перестал».

Смешно, конечно, сказать: это всегда похоже на прокрутку оборудования перед пуском какой-нибудь хитрой технологической линии. Какого-нибудь, предположим, прокатного стана. Длинная череда стальных устройств самого тебе различного вида вращается, гремит, клацает, приподнимается, бьет, отпускает, тащит, выталкивает, грохает, нависает, захватывает... И все пока вхолостую. Но ведь не зря!

«Этот узел еще разок проглядеть!» — ткнет кривым пальцем одетый в робу на вырост какой-нибудь замухрышка — на самом деле, может, самый главный, а может, и единственный в Союзе специалист, прилетевший на пуск за три, за четыре тысячи километров, мастер, каких не бывало — дай Бог, чтобы и потом еще были.

И линия встает, и все бросаются к узелку...

Почти так же вот и с любимыми сюжетами: бывает, в самое неподходящее время и в самой неожиданной обстановке начинается вдруг такая прокрутка, и тут уж никуда ты не денешься, тем более что здесь ты и действительно единственный спец, и не потому, что у тебя семь пядей во лбу, что ты особенный, нет. Потому что дело у тебя одинокое, только твое, никто за тебя его не сделает, и лишь от тебя зависит, станет ли оно когда-либо общим.

Может быть, тут другое: сюжеты не хотят умирать. Они словно знают о печальной судьбе многих своих предшественников, которые погибли в зародыше, пропали, так и не увидав белого света... Ворохнется под сердцем и раз, и другой, толкнет изнутри, а тебе все не до него — держат в плену якобы срочные дела, свои и чужие, суета заедает, эта са-

мая, будь она неладна, текучка, а там кинулся, а сюжета уже и нет. Осталось одно воспоминание о нем: был такой, и вроде бы ничего-то был, крепенький! Но что-то переменялось в тебе самом, да и время стало иным, и даже пронзительная боль, бывает, приглохла, теперь другое болит — все! Поезд, как говорится, ушел.

Вот-вот всадники готовы были взмыть над холмом, но тут вдруг один подобрал повод, потянул на себя уздечку другой, резко придержал коня третий, и лошади, запрокинув головы, залясали, заходили кругом, затоптались на месте, все смешалось, расстроилось...

— Ну, давай ты! — разрешил я настырному сюжету. — Прокручивайся. Разомнись-ка. Потеться!

3

И были иные времена, была Сибирь, была стройка — опять она! — тогда пока совсем крохотная...

Я только что приехал, еще не успел понять толком, где буду жить; вещи мои стояли в комнате общежития, а сам я потопал на промбазу: надо было срочно узнать, почему простаивают бетонщики бригадира Комзаракова.

Начало, в общем, как в том самом производственном романе, да, но тут мне придется подзанять кое-что у наших «деревенщиков»: маленький ростом, щуплый, голосистый Комзараков был похож на драчливого петушка-беспризорника, который и пропитание добывает сам, и к соседским курам через забор перелетает на свой страх и риск.

У него и спросил: мол, товарищ Комзараков, почему же творится такое безобразие — который день бригада простаивает?.. Не глядя на меня, он коротко крикнул: «Ну, не гаство — украли башмаки?!»

Естественно, имелись в виду эти продолговатые, с заклонкою в горловине, контейнеры, в которые вываливают из самосвалов бетон, когда они рядышком лежат на земле, и которые по одному поднимает потом кран и подает куда нужно, — их везде по-разному: где — «туфельки», а где — «башмаки». Но я ведь первый день был на стройке, иные разговоры звучали для меня все равно что иностранная речь. «А новые нельзя купить?» — спросил я у Комзаракова.

Он посмотрел на меня уже с некоторым любопытством: «Эт, интересно, где?» — «Наверное, в городе! — сказал я довольно решительно. — В обувном магазине». И Комзараков обернулся к своим и закричал: «Нет, вы слышали?! Ну, вы слышали?!»

Кто-то из комзараковских уныло сказал: «Гнал бы ты его!.. И так тошно».

«Ты давай! — попросил Комзараков почти дружелюбно. — Давай — откуда пришел!»

В тот вечер, когда вернулся в общежитие, я на лестничной площадке и встретился с ним. Видок у меня, конечно же, был не очень веселый, он глянул сначала мельком и переступил две-три ступеньки — жил выше, — потом остановился, уже внимательней посмотрел. Вернулся, молча отобрал у меня это похожее на разбойничий кистень изобретение первых на стройке комендантов — ключ с прикованной к нему полупудовой гирькой. До этого я уже несколько минут возился с замком, отношения с ними никогда у меня не ладились, но тут замок услужливо щелкнул, по-моему, еще до того, как он повернул в нем ключ. Открыл дверь и подтолкнул меня в коридор, но в комнату вошел первым. Когда вслед за ним я там появился, он уже, вольготно, как в кресле, сидел на табуретке у окна и прикуривал. Кивнул на другую табуретку, и я подчинился, сел.

— Ну? — спросил он чуть-чуть насмешливо. — Какие наши дела?

И я вдруг с жаром начал доказывать ему, а больше, может, себе: мол, ошибся, конечно, что попросился на эту стройку, — ну зачем я это сделал, зачем?! В кармане у меня уже лежало распределение в отдел литературы одной не бог весть какой, но все же центральной, понимаете, центральной газеты, и вдруг передумал, надо же, в

Сибирь парно захотелось, и вот на тебе: бетонщики посылают к этой маменьке — и ничего не попишешь! Что им, собственно, оставалось, если прекрасно видят, что парень ни уха ни рыла, как говорится, а тоже туда — лезет со своими дурацкими советами! А теперь что?.. Ведь засмеют! Так что надо все это, пока не поздно, бросать, и...

В раскрытое настезь окно он щелчком отправил окурки и широко улыбнулся...

— Должен тебя поздравить... поздравляю!

— Это с чем же? — опешил я.

— Понимаешь, тебе крупно повезло, — сказал он. — Тут ведь никто не занимается своим делом — только чужим. Эта толстуха в бане вчера меня чуть не зарезала, когда подбривала виски, а девчонка из Питера, которая там первые места на конкурсах парикмахеров занимала, — она теперь чертоломит у путейцев, шпалы против пупа поднимает... Ты посмотрел бы на ее руки! А в какую ходишь столовую? Ах, только приехал!.. Ну вот. Ходи только в первую, потому что вторая... Отравить меня в принципе невозможно, что хочешь переварю, однако этот мордovorot в грязном колпаке делает все возможное и невозможное тоже, чтобы отправить на тот свет если не меня, то кого-то другого, у кого здоровышко послабей. А повар из «Метрополя» греет бетон у меня на открытом полигоне... Считается, с добровольцами так и надо — на то они, брат, и добровольцы! Это ударная стройка, милый!.. И если ты ничего не смыслишь в строительстве — это прекрасно! Считай, ты на своем законном месте! Понимаешь: ты такой тут и нужен!

Потом уже у меня с лихвою хватило времечка, чтобы в полной мере оценить, как говорится, вышеизложенное. Но тогда я только промямлил, что все равно мне придется туго: выходит, не умею я с людьми разговаривать!

— Не все сразу, — сказал он, поднимаясь. — Как надо с людьми — об этом завтра. Найдешь меня в прорабской от одиннадцати до двенадцати. Спросишь на промбазе: Коробейников Максим Павлович.

Приподнял у плеча крепко сжатый кулак, коротко бросил:

— До!..

Я сперва не понял, вытянул шею:

— Что вы сказали?

Он посмотрел на меня поскучевшими глазами и молча вышел.

Назавтра, когда я открыл дверь деревянного теплячка, он оторвался от чертежей и тут же наставил на меня указательный палец, остановил у порога:

— Ну?.. Ты слышал, как она скрипит?

— Да-а, — поддержал я, — дверь, прямо скажем.

Прикрыл ее, открыл и снова прикрыл: словно бы для того, чтобы оба мы насладились противным медленным скрипом.

— А теперь рвани-ка на себя! — приказал он.

Я рванул.

— А ну-ка хлопни как следует!

Я хлопнул так, что в оконцах звякнули стекла.

Он удовлетворенно спросил:

— Теперь?.. Ты слышал скрип?

— Н-нет.

Он снова прицелился в меня пальцем:

— Вот так же и с людьми! Ты понимаешь? Будешь тянуть и медлить — станут скрипеть и жаловаться. А стебанешь как следует — заткнутся и станут вкальвать. Вопросы есть?

Так мы дальше потом и жили: он всегда хлопал дверью, а я эту науку в полном объеме так до сих пор — хоть столько лет прошло! — не осилил... И видишь, бывает, яснее ясного, что надо, конечно же надо ст е б а н у т ь, но медлишь отчего-то, все медлишь — позволяешь не только скрипеть и жаловаться, но, случается, еще и гадости говорить... Только и того, что никому не даешь кричать на себя, повышать, значит, голос — но это уже от предков, от казаков.

А он тогда недельку или чуть больше спустя приказал-таки этим девчатам на раздаче второй столовой позвать повара, тот вышел, и Коробейников вежливо попросил его посмотреть повнимательней, что там у него в тарелке: борщ украинский или обыкновенная бурда?.. Руку с тарелкою он отвел в сторонку, и пока повар и в самом деле в свое произведение взглядывался, другою рукой Коробейников дотянулся, достал из бачка по ту сторону стойки громадный черпак и закатал им повару в лоб.

Милиционер Павлик Береснев, тогда еще старший сержант, с чувством пожал ему руку и на неделю выселил в палаточный городок. Городок уже пустовал, жилищники хранили в нем свою нехитрую утварь — кровати да тумбочки, столы, табуретки, чайники — и только одну двадцатиместную палатку Павлик зарезервировал за милицией. Среди придуманных им специально для первопроходцев мер наказания эта шла как одиночное заключение, правда, перед тем как определить в палатку виновного, Павлику всякий раз приходилось со вздохом выпроваживать из нее парочку — «одиночка» тогда у нас была еще та!

С Максимом мы подружились, но я этого даже не замечал, ее как бы и не существовало вовсе, такой дружбы... Ни выпивки вместе, ни излияний словесных, ни каких-либо еще внешних признаков — просто он звонил иногда и словоно приказывал: «Заеду завтра в семь. Запасись патронами. На утку. На пару дней. До!»

Всякий раз это была настоящая охота, а не стрельба по бутылкам: какие-то сумасшедшие переправы ночью по бурной реке на резиновых лодках-самоделках, тяжелые, когда уже и свет не мил, переходы по пояс в грязь — среди кочкарника на бескрайних болотах, ночевка у костерка на снегу, а то и просто в снегу — без костерка. После каждый раз я давал себе слово никогда с ним больше не ездить, и каждый раз потом ехал снова — стоило ему позвонить. Звонки его могли отыскать тебя и поздним вечером за пирушкой у кого-либо из друзей, и в кабинете секретаря парткома во время строгого заседания. Приоткрывала дверь удивленная секретарша, виноватый взгляд бросала на телефон, Иван Григорьевич Белый морщился, брал трубку и с видом уже совсем недовольным, чуть не в ярости прогрозив пальцем, подзывал к аппарату — но ведь все-таки подзывал!

Когда я потом выговаривал за это Максиму, он только посмеивался, как посмеивался над многими другими вещами, которые отказывался во мне понимать... Странная вообще штука.

То, что мы с ним даже внешне похожи, я заметил еще в первую минуту знакомства... Явно лишенное симметрии лицо, эти — одна пошире другой — косые скулы, нос крючком над густыми усами, почти сросшиеся брови, прямые волосы, не желающие поддаваться никаким уговорам: торчат всегда как хотят. В отличие от меня он был рус и голубоглаз, но, удивительное дело, именно это словно придавало ему и жесткости, и силы — видок у него был куда более разбойничий.

И с натурою так же: в чем-то мы были очень схожи, но там, где я медлил, бывало, и рассусоливал, он мгновенно решал — касалось ли это стройки, поездки на рыбалочку или домашних дел: иногда мы вместе запасались на зиму медком, картошкой, мясом.

По долгу службы далеко не единожды мне пришлось проверять письма с жалобами на него, и не раз потом я решал, что на его месте поступил бы точно так — если бы у меня хватило характера.

Мы никогда об этом не говорили, но я всегда это ясно ощущал: в нем словно реализовалось все, почему-то не данное мне.

Но подумать тогда о нем: неужели его привлекали и витийство, и лирика, и пышно цветущее тогда во мне разгильдяйство?.. Если так, почему в таком случае всегда он от этого отмежевывался?

Вроде мелочь: как тебя кто зовет. В этом смысле я всегда жил по бабушкиной поговорке: пускай: хоть чугонком

кличут, абы в печку не ставили. Какое это, в самом деле, имеет значение? Только начальство да женская половина стройки называли меня по имени, для всех остальных — и дружек, и для ребят малознакомых — я давно был просто «Старик». Имя-отчество произносилось лишь в одном, всегда чрезвычайном случае: если звонили из горкома и за очередную редакторскую вольность приглашали на выволочку. Наверное, по этой причине мое имя-отчество еще и сегодня звучит для меня не то чтобы очень уж отчужденно, но все же и не без некоторого намека на неприятности... Но Максим!

В те годы и у нашего брата гуманитариев, и у технарей тоже модно было не только сокращать имена: Роберт — Роб. Даже самые русские часто переделывали, произносили на иностранный манер: Майклами становились и без того редкие Михаилы, а совсем уж одинокие Иваны, бывало, делались Джонами. Помню, как однажды в компании наш общий приятель назвал Коробейникова Максом. Коробейников резко пристукнул пальцами по краю стола — так обычно стучат, когда лоят на слове или когда хотят привлечь общее внимание. Он пристукнул и отвернулся. Посидел молча и только потом негромко, но с интонацией, от которой даже тем, кто в тот момент никакого отношения к их разговору не имел, стало не по себе, медленно, почти раздельно произнес:

— Мак-сим... Пав-ло-ви-ич... Ко-ро-бей-ни-ков!

Снова пристукнул — словно подвел черту. И ощущение у всех сделалось такое, будто удалось избежать хорошенькой драки.

Нам бы его заботы, как говорится, но вот поди ж ты — значит, была у него всегда и такая. Спросишь, бывало, его старшенького, как звать, и тот хоть буквы еще целыми слогами проглатывает, тем не менее тянет на имя-отчество: Константин, мол, Максимович! Дочка родилась — то же самое. Еще и говорить толком не умела, а все туда же: мол, Наталья Максимовна.

Хватало у него, правда, и других забот: был из тех, кого на каждом активе общественности критикуют за черствость и равнодушие, за невнимание к быту, зато на всяком производственном совещании в пример ставят: навел железный порядок, к зиме подготовился, успел выйти из прорыва, аварию вовремя ликвидировал и так далее. Ну, что было, то было: работал он директором завода железобетонных изделий, однако слесарей его и сварщиков, случалось, снимали со стенов и бросали вдруг в самое пекло стройки: то на неговую еще береговую насосную, которую уже подпирало половодье, то на коксовую — перед самой сдачей, а потом и на домну — тоже во время «пик».

И последняя деталь: как он отдыхал.

Дело в том, что Коробейников довольно прилично знал грузинский язык, постоянно им занимался, даже выписывал литературный журнал на грузинском языке — номера этого журнала я видел то у него дома на диване, то на краешке заваленного чертежами стола в его кабинете на заводе. Мне он объяснил, что есть у него старый дружок — грузин, вместе с которым они учились в техникуме, а потом с мастеров начинали на Магнитке. Дружок этот жил теперь в Тбилиси, и только туда Коробейников и ездил, непременно зимою, в январе — феврале, после всех этих сумасшедших запарок, прямо-таки обязательных в четвертом квартале, после годового отчета.

А чем он там целый месяц занимался? Да песни пел.

У грузинского его корешка было, как я понимаю, много родни и в селах, и в Тбилиси, друзей, судя по всему, тоже хватало — вот они с ним и ездили по гостям, и пели там эти протяжные песни, что поются мужчинами непременно без женщин, непременно без музыки.

Не то чтобы у него был хороший голос, нет — можно сказать, и вовсе не было, зато слухом он обладал замечательным, всякую нотку брал точно, а в интонации его слышалось всегда столько отрешенности от будничных дел и готовности к каким-то иным делам, куда более значительным, и слышалось всегда столько горького мужества, что

хрипотца его сразу сжимала сердце и не отпускала даже тогда, когда он петь уже заканчивал.

С ним случалось: поодаль друг от друга стоим на вечерней тяге в набухших кустах краснотала на берегу лесного озера, тишина необычайная, каленое солнце уже прожгло резные макушки пихтача, вот-вот провалится в дремучую его темь, осталась видна только горбушка, но небо еще синее-синее, а у воды такой цвет, словно под черной ее поверхностью безмолвно достывает выпущенный в озеро плавленный металл, все еще местами малиновый, — и тут вдруг раздается негромкая, на полувскрике начатая песня и сразу же чуть ли не слезу вышибает: как она здесь? Зачем?

Бывало, в это самое время и утка пролетит совсем рядом, но я стою, опустив стволы, и только грустно улыбаюсь и подмигиваю ей вслед: леги, мол, леги, бедняжка, на этот раз тебе повезло — скажи спасибо грузинам. Я-то мог и промазать, а может, и вообще не стал бы стрелять, только полюбовался, а уж он-то тебя бы взял!

Ту же самую песню я слышал потом, когда он приехал взглянуть на своих ребят, помогавших доваривать последние плиты на откосах водозабора.

Осенью перед этим реку нашу, Томь, оттеснили от берега мощной перемычкой, вырыли котлован и принялись обладывать бетонными плитами горловину канала до насосной станции, но сделать все за зиму, как водится, не успели. Чудом выдержала перемычка ледоход, теперь ее уже подпирала полая вода, точила промоины, вот-вот должна была или хлынуть через трачи, или разорвать насыпь. Самосвалы уже вбухали в нее почти столько же гравия, сколько было в ней перед этим, сутками ее утюжили бульдозеры, приминали, но перемычка на глазах оглывала, и вот тут-то, когда уже было приказано и технику с нее увести, и удалить людей, — тут он на перемычке и появился. То поднимая колесами косые фонтаны, а то вдруг, заметно прогружая, «газик» его прорвался на самую середину, встал, Коробейников вылез из-за баранки и облокотился о капот — лицом к воде, спиной к сварщикам, работавшим за котлованом напротив насыпи.

Это я вижу как сейчас: на другом берегу, чуть наискосок, над рекой висела гладкая, как стенка, скала, и тогда она была подобна экрану: отсветы от сварки торопливо бросали на нее гигантские тени бетонщиков, тени наклонялись, разгибались, подпрыгивали, перебежали с места на место, и только одна тень была постоянно неподвижной — его тень.

Он там сперва подкуривал, потом, прочищая, наверно, горло, коротко хекнул и вдруг запел.

Один за другим на какой-то миг замерли бетонщики, только сварные, которым ничего не слышно было за треском, все еще продолжали жечь темноту. Потом спохватились и они, заглохли вдруг вспышки: сварные, может, подумали, что все, вода уже хлынула — потому-то и остановились бетонщики.

Кто его знает, о чем он там пел: сквозь шуршание гравия, сквозь плеск воды доносилось только одно знакомое слово, которое он тянул особенно долго: Сагурамо.

Что оно такое, это Сагурамо?.. При чем тут?!

Но на скале наискосок, когда сварка снова зажглась, стало вдруг видно, что громадные тени стали и спокойней, и будто ловчей.

Злые языки, правда, говорили, что, мол, артист Коробейников слишком хорошо знает, где и когда ему спеть: однажды, мол, таким образом выбил он для своего завода годовой план. Приехал к заказчику, который перед этим отказался принимать у него бракованные панели, подсел в кабинете к столу, подпер щеку ладонью и при всем честном народе, который был тогда в кабинете, запел себе... Все, естественно, застеснялся и смолкли, а когда он допел песню до конца, заказчик сказал якобы: «Ну, черт с тобой! Давай подпишу». И они там на своем железобетонном получили потом даже премии... Что ж, может быть!

На стройке и не такое случается — на то она, в самом деле, и стройка. Это я видел собственными глазами: как начальник одного управления обыкновенную двухметровую

елку продал другому за двести тысяч. Правда, это под самый Новый год, тридцать первого. Не помню уж, по каким делам приехали мы тогда вместе с этим начальником — он из субподрядчиков был — к «генералу», к строителю: как, мол, перед наступающим... настроение?.. Да все бы хорошо, отвечает тот, одно плохо: жена сейчас пилить станет — елку припасти не успел! Этот, субподрядчик-то, тут и катит шар: есть елка!.. Не елка — красавица лесная. Хочешь, через полчаса у тебя в кабинете будет? Только продам недешево! «Генерал» тут же: ну сколько, сколько?.. Субчик: а триста тысяч! А тот: ну, мол, дружок, ты и загнул — креста на тебе нет! Пока они торговались, «субчиков» шофер сматался, естественно, за елкой. Когда втащил ее в кабинет, «генерал» глянул и рукой махнул: «Только попомни доброту-то мою... давай!» И подписал приемку работ на двести тысяч — возвращаясь на минутку к нашим лошадам, должен сказать, что точно не знаю: валялся ли там, где эти работы были уже якобы выполнены, валялся ли там конь или не валялся?

Ну а чтобы покончить с грузинскими мотивами, должен рассказать еще одну историю; все, все — последнюю... Да и навеяна она, конечно же, предыдущим рассказом — о новогодней елке.

Всякий раз накануне Нового года приходила Максиму посылка из Грузии — от одного довольно известного тогда скульптора, с которым он подружился в Тбилиси. Открывали ее всегда уже за столом, за час до боя курантов — в доме у Коробейниковых это было как ритуал. Над посылкою наклоняли мордашки дети; пытаюсь оставаться степенными, тянули к ней головы гости — ну, а как же!.. Поселок наш совсем утонув в снегах, и хоть до двадцати пяти отпустило, на улице такая метель, что в двух шагах ни зги не видеть, а тут — на тебе: и толстые, с запрятанными в них виноградниками, палочки чурчелы для ребятишек, и пять привядших в дороге роз для жены, и золотистые мандарины, и крупный, с плоскими бордовыми стенками гранат. Кроме грелки с домашней чашей, все в посылке, конечно же, промерзало, после почты ее так и выдерживали в холодном чулане — но в этом ли было дело?..

И один из последних тостов перед двенадцатью был за щедрое солнце, за теплую Грузию, за далеких отсюда, от нашего промерзшего поселка, верных друзей, за творческую удачу приславшего эту посылку скульптора.

Удача, как я понимаю, была нужна, все последние годы скульптору не работалось, был, как говорится, в простое. Эту историю я хорошо знал от Максима: как вместе с компанией своих тбилисских друзей он очутился однажды в подвале у скульптора, в громадной его мастерской; как тот, услышав, что Коробейников говорит по-грузински, растрогался и повел его в дальний угол — показать причину последних своих творческих бед. Долгие годы до этого в селах и городах он ставил одинаковые памятники, так что в конце концов ему пришлось прибегнуть к промышленному, что называется, методу: сперва он водворял на постамент большие сапоги из металла, вдевал в них арматуру и закреплял ее в сапогах бетоном, а после это сооружение наращивал: на сапоги ставились металлические же, тоже на винтах по бокам, галифе, потом китель — один рукав его вместе с железной, которая тоже потом отстегивалась, перчаткой был приподнят параллельно земле; на китель ставилась железная голова. Вся эта фигурная опалубка грудюю рыцарских доспехов ржавела теперь в углу, и скульптор вознес над нею ладони и, старый человек, глотая мальчишеские слезы, по-русски сказал кому-то невидимому:

— Вах, как ты меня подвел!..

Молодость, известно, жестока, и за новогодним столом у Коробейниковых я всякий раз начинал подшучивать и над бедолагою-скульптором, который по собственной воле превратился в поденщика, и над Максимом: уж не для того ли он таким манером подстригает свои усы, чтобы в подвале мастерской там, в Тбилиси, они напоминали хозяйню о лучших для него временах? Коробейников всегда отвечал одно и то же: никаких тут особых привязанностей искать не на-

до, скульптор уважает его и без того — просто как бетонщик бетонщика.

Однажды он специально заехал в редакцию, чтобы показать мне телеграмму от скульптора: тот спрашивал, будет ли Максим дома в ближайший месяц — он, скульптор, собирается к нему прилететь. Коробейников хотел узнать, не уеду ли я куда-либо в это время: по его планам, мы с ним вместе должны были и показать его другу стройку, и поехать с ним по окрестной тайге. Что-то такое, одним словом, втолковать ему, расшевелить, поднять человеку настроение, заставить его снова поверить в свои силы.

Но скульптор так и не прилетел, а вскоре Коробейников и сам уехал со стройки.

Конечно же был он из тех, кого зовут спецами по «живому делу», а тут, как сдали первую домну, на стройке снова вдруг началась непонятная пробуксовка, и характер у Коробейникова совсем испортился: за какой-то месяц-другой на него столько собак навешали, что просто удивительно, как это ему удалось уехать с партбилетом в кармане.

Тут начались неожиданные вещи: один за другим ко мне приходили его слесаря да сварщики, просили дать адресок «Павловича» — и все это были, выражаясь языком нашей стройки, «работяги будь-будь». Да ведь и знали, что уехал Максим не в Сочи — сперва куда-то за Якутск, чуть ли не в Мирный, потом вдруг оказался в тюменских краях, на Севере, потом — на Кольском.

Все это время он то и дело находил меня. Сперва на стройке — правда, тут дело ясное: разок-другой приезжал досдавать экзамены в институте, где учился заочно. Потом разыскал меня в станице у матери.

4

Вспоминается как небель, ей-ей: рано утром я шагнул за порог и первым делом сорвал грушу с дерева у самого дома, еще и не умылся — стою ем, поглядываю на слабо алеющую вдальке над садами, над взгорками крошечную издали макушку Эльбруса, и только собрался по старой привычке запустить в огород огрызок, вдруг — явление: за калиткою с чемоданом в руке — Максим. Бросаюсь к нему обнять, вижу мысленно, как мы тискаем, приподнимаем друг дружку, стараясь оторвать от земли, как гогочем, как бьем по плечу... Но он, еще не поставив чемодан, лишь коротко давнул меня левой рукой и как-то уж очень буднично спросил:

— Какие наши дела?.. Мы успеем?

Я сперва не понял, о чем он.

— У тебя ведь билет на завтра?

— Так!

Он поставил наконец чемодан и приподнял подбородок:

— Ну а крыша?.. Что — так и будет?

Тут и странная, правда, штука!

Вот мы построили гигантский завод, по радио теперь только и слышно, Записб, Записба, Записбом, Записбу, на Записбе... По всем падежам!

Какой только сложной работы не было, каких почти невозможных подъемов на монтаже, каких решений инженерных, какого личного мастерства — тут, мол, один только Свягин и сможет справиться! — и вот все это, неживое сперва, теперь ожило, ворочается, вздыхает, отдувается, сипит, вздрагивает, кричит, дышит жаром, главит снега вкрут, помаргивает вдруг таким пламенем, что темная ночь шарахается за добрый десяток километров. Идет чугун, сталь, химия идет, только что вот пошел прокат... Выходит, и я тоже, и я — не последний слюнтяй. Не такая уж беспросветная бестолочь?..

Да если б я только захотел!

Сдали, помню, вторую очередь ТЭЦ, тут мне и позвонил домой Витя Цысь. «Слушай, — говорит, — старичок! Забери у меня «белоруса», а? Ну, будь другом!» — «Что за «белорус»?» — «Обыкновенный. Новенький совсем. Ни единой царапинки, смазка еще заводская. Новосибирский «сибко-

пай»* бросил, а мне его на баланс брать — себе в убыток. Я электрик, рыть у нас нечего, куда мне его?» — «А мне куда?» — удивляюсь. «Тебе-то? — Он переспрашивает. — Да ты что?! По тайге шариться — там какому-нибудь пасечнику подаришь, он потом тебя медом до конца жизни будет кормить! Так — нет?»

Даже придумал, как мне распорядиться трактором — лишь бы только самому его сбавить... Это стройка! Кабы захотел — у меня давно уже шагающий экскаватор был, вот делов!..

Но мы так вроде не договаривались.

И на крыше дома у матери лежит над желобом большой камень, которым по весне придавили оторванный ветром край жести, а неподалеку еще дрючок лежит, будь здоров дрючок, двоюродные братья еле туда его затащили, зато теперь, как они оба уверяют, на крыше все — по уму, его-то уж не своротит и буря...

Конечно, если бы я пробыл у матери месячишко, наш дом сверкал бы. Но пять дней...

Надо ведь еще побывать и на буровых, где рабочие уже ставят задвижки на трубы с термальной водой, целое море которой обнаружили под нашей станицей: вода такая горячая — чай заваривать можно. И съездить на раскопки древних могильников — там, говорят, нашли остатки деревянного сундука с полусгнившими клочками шелка, а это значит, что правы те, кто давно уже уверял: знаменитый «шелковый путь» из Китая в Европу проходил по нашим местам... Нам ведь, каждому, до всего есть дело — а как же! Такими нас воспитали.

Правда, между предыдущими поездками я все же заскочил вечером к дяде Яше, старому кровельщику, и мы с ним договорились, что как только он маленько освободится, тут же займется маминой крышей: подлатает, а заодно и покрасит. Да и двоюродные братья твердо пообещали потом помочь.

Докладываю об этом, значит, Максиму, и он все кивает, а сам уже наклоняется над чемоданом, щелкает замками, достает спортивные штаны с белыми лампасами и прямо тут, посреди двора, начинает переодеваться.

На пороге мать появилась, всплеснула руками, заприманила:

— Да что ж это такое делается, а?.. Да сынок?! Да ну-жेलи нельзя человека в хату пригласить?

— Где лестница, мать? — не поздоровавшись, почти сердито требует Коробейников, заправляя в штаны рубаху.

Через несколько минут я втаскиваю в наш зал, в «большую хату», его чемодан. Снаружи доносится тугой удар о землю, за ним следует шлепок с прискоком — это уже летят вниз сперва булыжник, потом коряга. Когда я выхожу, Коробейников, разбросав ноги, сидит на крыше, покуривает, а возле нашей калитки уже толкуются трое соседских мальчишек с удилницами на плечах: шли на рыбалку и услышали шаги по железной крыше, незнакомый человек побросал вниз и «булик», и «дровиняку» — может быть, еще что интересное намечается?.. Лицо у дядки на крыше такое грозное, как будто он сейчас с железа да со стропил там начнет да так весь дом до фундамента и разбросает.

— Ну и что? — задираю я голову. — За этим ты и приехал?.. Нечего больше делать? Нашел занятие!

Усы его под крючковатым носом плывут чуть в сторону, и на той скуле, что пошире, замирает подобие улыбки, а глаза становятся совсем узкими.

— Ты там отдыхай пока. У тебя будет трудный день.

— Да ты хоть спросил меня? — начинаю я возмущаться. — Через полчаса машина подойдет. Можешь там оставаться, а я...

— Грузовик? — перебивает он.

— Еще чего! «Газик».

— Это хорошо, — одобряет он. — «Козлик» тоже сгодится.

* Трест «Сибстроймеханизация».

— Ты вот давай-ка слезай, — начинаю я, но он уже от-
вернулся от меня, тянет руку к мальчишкам:

— Вот ты, посерединке, да, ты!.. Что такое выдерга, зна-
ешь?

И росточком поменьше, и пощуплей, тот сперва огля-
дывается на справных своих дружков, потом приподнимает
худенькое плечо, на котором удочка лежит: нет, мол!

— Тогда пойдй к своему батьке, — громко, на всю улицу
говорит Максим строго, — и скажи, что ты у него бездель-
ник!

Этот опустил голову, а один из его дружков крикнул:

— Да у него его нету!

— Чего нету-то? — переспросил Коробейников сурово.

— Да батьки! — засмеялся тот и вдруг посерьезнел и
уже другим голосом счел нужным объяснить: — Отца у него
нету, вот чего!

Коробейников подтянул колени, сомкнул на них руки и
посидел молча, глядя вниз, на мальчишку, потом будто и
еще строже спросил:

— А звать-то как? Тебя, тебя, да!

Тот дернул поцарапанным коленом, носком сандалии
ковырнул под ногой:

— Ну, Сашка.

— Ты вот что, Александр. Поставь-ка в сторонку свои
удочки, — приказал Коробейников. — А сам сюда лезь.

— Чего это я полезу?

Не вставая, а только приподняв корпус, Коробейников
на подошвах да на руках ловко, как паук-«косиножка», спу-
стился на край крыши, кинул ноги на лестницу, быстро со-
скользнул по ней — как будто на спине съехал. Шагнув за
калитку, цапнул там Сашку за руку и так же стремительно и
деловито на крышу за собой утащил — и в самом деле,
словно паук. Уже на крыше громко сказал:

— Ты, я вижу, тут парень самый надежный. Помогать
будешь.

По-моему, это был единственный случай — больше Ко-
робейников не слезал с крыши до самого вечера.

Первым делом он мне скомандовал:

— Подай сюда Александру бумагу и карандаш, мы сей-
час тебе список приготовим. Будет «газик», поедешь и при-
везешь.

Машина подошла вовремя, я тут же укатил в ней в
«Скобяные товары» в центре станицы, а когда возвраща-
лись обратно и «газик» вывернул из-за угла на нашу улицу,
неволью я подался к ветровому стеклу: уж не случилось ли
чего? Водитель глянул на меня и поддал газку: около наше-
го дома народу было как на пожаре.

Это, скажу я вам, братцы, была картина: добрую часть
собравшихся Коробейников уже умудрился занять работой,
а те, кто еще оставался без дела, с таким жаром подавали
советы, словно бы ждали с нетерпением своей очереди —
тоже хоть чем-то помочь.

Крыша там и тут зияла провалами, Максим швырял
вниз очередную жестяную латку, и тут к ней буквально бро-
сались, друг у друга чуть не выхватывали, принимались рас-
сматривать: сгодится еще или нет уже?.. Вокруг дома по-
громыхивало железо, стучали молотки, слышался смех и
говор.

— Еще рельс! — коротко скомандовал Коробейников
Сашке наверху, и тот, надуваясь, заорал кому-то через три
двора:

— Сё-о-ля-а! Оставайся там, ща до тебя пацаны прибе-
гут, сгоняете до Михи, рельсу притянете!

— Тачка будет нужна! — хрипел Коробейников, не вы-
пуская изо рта сигареты.

— Сё-ля! — надрылся на коньке Сашка. — На тачке
привезете. Та-ачка нам нужна!

Мальчишки бросились на улицу, уже пробивались через
полукруг пожилых женщин. Женщины торопливо рассту-
пались и запоздало замахивались — будто каждая хотела
отвесить кому-либо из этой братвы подзатыльник, да не успе-
ла:

— Тю, скаженные!

— Ну, как кони!

— Грядки не потопчите, неслухи!

— Да не бегитя со всех ног, а то пападаетя ешо да поу-
биваетесь!

Где там! Орава наперегонки неслась по улице.

— Ты, в кепке! — хрипел теперь Коробейников с кры-
ши. — Да, ты!.. Чего рот раскрыл — помещение мухам пре-
доставил? Они там уже свадьбу справляют! Отбери у рыже-
го молоток, руки я сам ему потом оторву! Не видишь, он
рихтовать не умеет? Рихтуй ты!

И женщины чуть не в спину подталкивали пожилого
мужчину с папироской в руке:

— Иди, Петя, иди помоги!

— Давай, Сазонович, быстренько, пока у ребят горит!

Чем он, этот грубиян Коробейников, их взял?.. Хоть и
воскресенье, а дома все равно дел по горло, но нет, все по-
бросали, пришли к нам — даже те, кто к матери сто лет уже,
как говорится, не ходил. Или им интересно, что этот боль-
шой, говорят, начальник, в станице таких и нету, залез
вдур на крышу, — не то что наши пузаны, которых туда и
палкой не загонишь, — да как еще умеет руками?.. А может,
им вспомнились те давние теперь послевоенные времена,
когда к кому-нибудь одному собиралась вся улица — помо-
гать? Это так и называлось ведь: «помочь».

Мать стоит среди них и чуть ли не оправдывается:

— Как с неба свалился, правда!.. Выхожу на порог, а он
уже, это, брюки переодевает... Еще и калитка не успела за-
хлопнуться, как вошел, а уже гляжу — он на крыше!

— А может, у Нюрки осталась жесь? — вполуха слуша-
я мать, продолжают переговариваться женщины.

— Да где — они цинком крыли!

— А у Тимоши?

— Тимоша до дочки отвез. К лисапеду привязал — все
туда, все туда, к дочечке!

— А у Кривошапчихи?

Грохочет тачка, в которой мальчишки везут кусок рель-
са, потом они, как мураши, на руках тащат его поближе к
дому.

— Не уронитя!

— Ноги не отбейта!

Когда они уже положили рельс, самая бойкая из жен-
щин, Семеновна, распоряжается:

— Сходи, ребята, до тетки Кривошапчихи, успроситя:
если у ее железо с крыши осталось, скажитя, бабы с того
краю просили!

Но эти все отворачиваются, как будто никто ничего не
слышал: ждуд приказа лично от Коробейникова.

Коробейников занят, но краем глаза все видит. При-
встает на крыше, нарочно строго кричит:

— Следопыты!.. Ты, Леха, и ты, Андрей! Одна нога
здесь, другая там — к тетке Кривошапчихе! Остальным! — и
тянет в пальцах квадратную прокладочку из металла, в
«Скобяном» нашлось их всего с десяток. — У кого в стайках
есть...

— В сараях! — кричу я ему. — Тут — в сараях!

— ...такие штуки в сараях есть — все их тащить сюда!
Если у соседей — тоже сюда. Вот вам для образца!.. А заод-
но собрать все кисти, какие на улице найдутся, я самую до-
брую выберу!

— Павлович! — жалобным голосом кричит ему мать. —
А Павлович?.. Да так же нельзя! Люди, может, сами попри-
пасали, ремонт будут... А этим только скажи — все раста-
шут! Прошу вас, дети, не надо! Как я потом что буду отда-
вать?.. Нельзя, Павлович!

Он долго и внимательно смотрит сверху на мать, на со-
седок и наконец бросает уверенно:

— Можно!

— Да что ж это такое, и правда! — чуть не плачет
мать. — Как же я потом — людям в глаза?

Но Коробейников уже не слушает, он оглядывает сосе-
док, почти каждая из которых вдвое старше его, и усы у не-
го снова слегка плывут набок:

— А вы что, девочки, стоите?! Кто будет резать лук, кар-

тошку чистить? — и заглядывает вниз. — А, мужики?

Оттуда — дружный гул:

— От эта — праильна!

— А как жа — посля такого дела!

И Коробейников ставит точку:

— Повторять, девочки, не надо?

— Картошку чи-истить! — на всю улицу орет с конька

Сашка.

Эти все — на него:

— Да чего как резаный, гля?! —

— Забралсы, как утот кочет!

— И так сердца никудышняя, а он как паразит, прости

Господи!

— Саня! — негромко зовет мальчишку его мать, которая тоже вошла во двор и стоит чуть позади пожилых сосе- док. — Ты б на минутку слез, в уборную, детка, сбега! А то как утром забрался...

— Да как вот жишь! — тут же подхватывает Семеновна. — И как оглашенный — на усю улицу!

— Слазь, отто, Сашка, слазь, слышал, что мамка тебе сказала?

Моя мать прямо-таки бросается к Сашкиной, виновато частит:

— Да я уж сколько раз ему предлагала, Лиза! Нет, и все!.. Уже я думаю, может, туда ему горшок подать? Вдруг захочет.

— О-о!.. О! — смеются бабы не то над Сашкой, не то над матерью. — Захочет, дак с краю почжурит.

— В желоб вон, как приспичит!

— Токо ты нам, Санька, тогда скажи, чтоб отбежать тут успели!

— Александру... Петровичу... Чередишину! — торжест- венным баском тянет Коробейников. — Мастеру золотые руки!.. На рабочее место — персональный горшок!

Сашка до сих пор и взглядом не удостоил ни окликнув- шую его мать, ни всех этих старух, которые лезут, как всег- да, куда не просят, — он смотрит только на Коробейникова. Не иначе как тот подмигнул теперь Сашке — в ответ маль- чишка накрепко зажмуривает один глаз и по-куриному дергает головой: спелись там.

— Када им лясы тачать — пусть трудются, — сказала Се- меновна. — И нам нечего стоять. Человек жишь правильно рышил: вечерять надо готовить!

5

И вот уже черная ночь накрыла станицу тихим, сысподу подбитым мережкой звезд крылом, но увидеть звезды можно, если поглядеть чуть в сторонку, туда, где за стенкой винограда неслышно пошевеливаются в темноте ма- кушки рослых акаций на огородной меже. А посреди сада, где мы сидим, ярко светит большая лампа-переноска, под- вешенная в ветвях старой яблони, бросает резные тени на столы, на белые рубахи мужчин, на лица женщин, и лишь дружно жующая в дальнем конце ребятня совсем теряется в полумраке.

Только Сашка Чередишин сидит среди взрослых, конеч- но же рядом с самим Коробейниковым, на почетном месте. На Сашке новенькая кремовая рубашка с коротким рука- вом. Она ему явно велика, сползла на плечи, из широкого ворота выглядывают по-птичьи тоненькие ключицы, и две заметные складки по ту и другую сторону от пуговиц ясно дают понять, что куплена она была Чередишину на вырост, так и лежала себе в прозрачном пакете, и от картона ее от- кололо небошь только теперь — по случаю торжества. Мать непременно загладила бы эти складки — выходит, наряжал- ся Александр Чередишин сам.

От Сашки остро тянет краскою, еще больше несет ке- росином: так изгвадался, что Лиза потом оттирала его тря- почкой, сам он отчищался на речке песком, Коробейников намылил его и прошелся мочалкой — не тут-то было. Еще неделю небошь будет запах выветриваться: работник, что вы!

Когда моя мать начинает потчевать Коробейникова, он так и говорит:

— Работника қормите, работника!

И Сашка не стесняется; улетает все за обе щеки.

Сам Коробейников только что съел тарелку борща со сметаною и с положенным — по нашей станичной норме — всякому мужчине большим стручком красного перца. Стру- чок был матерый, около ножки весь в поперечных трещин- ках — «порепанный», а значит, и самый злой. Конечно же, уминая его, Коробейников не подал и вида, выдавали его тепсрь только бисеринки пота под краем волос на лбу: взмок-таки от жара внутри.

И взял перекур.

Сидит, слегка откинувшись от стола, рука с краем ман- жеты по запястью лениво лежит на спинке стула, и борта серого, отлично шитого пиджака чуть-чуть сломались, чуть- чуть приподнялись — словно только затем, чтобы подчерк- нуть и снежную белизну воротничка, и безукоризненность синего, с брусничною крапинкой галстука, и гладкость тон- кой рубахи... Умеет он, что там ни говори!

На крыше сидел по пояс голый, пот по лицу размазы- вал — оставались грязные полосы, а теперь пожалуйста — нате вам!

Когда мы вернулись с речки, стол уже был накрыт, мать нас начала поторапливать — все, мол, ждут давно, но вот он переоделся, вышел из дома в этом сером костюме при гал- стук, только и того, что без ордена... И женщины вдруг засуетились, стали шептаться, потом и одна, и другая то- ропливо пошли со двора. И мать сбегала в дом, что-то не- заметно, боком к нам, вынесла, передала Лизе, а потом сколько могла задерживала нас около крыльца, зубы нам заговаривала, отвлекала, а на столах уже приподнимали посуду и подстилали под нее скатерти: вы только поглядите на человека, разве такого можно за голый стол?.. Что он про нашу Отрадную потом скажет?

Справа поднялся из-за стола Петр Сазонович, тот са- мый, которого тоже потом отставил Коробейников от рих- товки, тоже пообещал руки поотрывать. Приподнимая руку со стаканом, для начала нагнулся, подобрал упавшую с ко- лен кепку, определил ее позади себя. Выпрямился, дернул подбородком, уважительно сказал:

— Поручили за вас, Павлович!

Не убирая руки со спинки стула, Коробейников слегка приподнял ладонь, остановил возникший было одобритель- ный гул:

— Н-ну-ну! Это потом. За вас давайте. Увидал теперь собственными глазами, что станичники, оказывается, тоже кое-что могут!

— Да как если взяться гуртом! — донеслось от женщин.

— Да а то — нет?

— За вас, Павлович! — повторил Петр Сазонович на- стойчивей. — За то, что праздник нам сегодня устроили!

— А то не праздник?

— Када б еще от так собрались?

Что правда, то правда: давно уже не бывало на нашей улице такого многолюдного и такого чинного сборища. Чтобы поставить в один ряд столы, моим двоюродным братьям пришлось выкопать возле яблони добрую сотку картошки. И вся она пошла в дело. Толченая — горками те- перь лежит в тарелках, подпирает тушеную крольчатину; «в мундирах» — исходит парком в больших, на газетку постав- ленных поодаль один от другого чугунках, около которых высятся на блюдах бугорки чищеного чеснока и лежат ломти крупно нарезанного сала, прямо на досочках, на ко- торых его и резали. Когда они что успели, старенькие те- перь кухарки с нашей улицы?

И начинить болгарский перец, и приготовить овощной икры с баклажанами, и пожарить баклажаны — отдельно. Столы завалены зеленью и овощами, одних помидоров ка- ких только нет: и круглые красные, и продолговатые алые «кувшинчики», и крупные, с добрый кулак, темно-бордо- вые — «бычье сердце». Особняком стоят обложенные по краю стручками горького перца соленые помидоры: достали

из кадушек попробовать нынешний засол?.. Пооткрывали банки с прошлогодним?

Недаром же этим сорвиголовам, у которых треск теперь стоит за ушами, под конец работы срочно пришлось пере-квалифицироваться: с материально-технического снабжения на продовольственное. Под строгим присмотром хозяек спустились по одному в погреба, осторожно подавали наверх трехлитровые «баллоны», прижав к животу, терпеливо тащили их потом по улице за старухами вслед. Теперь-то они вознаграждены: на дальний конец стола мать выставила и виноградный сок, и компоты, которые вот уже лет пятнадцать хранила на случай каких-либо особых — никому не известно каких — торжеств... А может, как раз они сейчас наступили?

Вон как переменялась мать: улыбается. Я уже и не помню, когда она в последний раз улыбалась. А соседки?.. Они ли, так мирно сейчас воркующие, кричали тут друг на дружку, когда по улице проводили газ? Они ли годами потом друг с дружкой не разговаривали?

И действительно — праздник!

Только почему это я с а м до сих пор его не устроил? Неужели не мог — без Коробейникова?

И вот он сидит теперь именинником, и вся улица наперебой за ним ухаживает.

— Да вы ешьте, Павлович, ешьте!

— Работника кормите! — все требует он. — Работника!

Не оборачиваясь, а только скосив глаза, отщипывает с кисти на кусте ягоду «изабеллы», бросает в рот, и усы его под крючковатым носом начинают похаживать чуть набок, к широкой скуле: он терпеливо, мерно жует.

— Максим Павлович! Может, сорвать для вас? — спрашивает раскрасневшаяся Лиза, которая больше всех хлопчет за столом, — она и сейчас поставила перед Максимом тарелочку с баклажанами, которые тот, кажется, оценил, и оперлась пальцами о стол, ждет, что скажет Коробейников. — Может, намазать вам? И будете кушать.

Голос у нее добрый, почти ласковый, но в нем слышится словно еще и жалоба на что-то безрадостное и горькое.

Максим на секунду прикрывает ее пальцы своими:

— Спасибо, Елизавета. Не надо. Я только попробовал.

Глянул на меня и еле заметно подмигнул — грустно так подмигнул: оба мы слишком хорошо понимаем, на что жалуется Лиза добрым своим ласковым голосом, — сколько их осталось, матерей-одинок, на той большой стройке, которую оба мы с Коробейниковым и помним, и продолжим любить.

— Слушай, — говорит он. — А красивая станица!

Я посмеиваюсь:

— Ну еще бы! Ты ее хорошенько разглядел, да?

— Представь, что разглядел. Сверху-то. И сопки эти вокруг — одна на другой...

— Катавалы, — говорю я ему. — Тут — катавалы.

— И снежные горы вдальке... На самом деле — Эльбрус? Хорошо, что денек был солнечный. Я не думал, что здесь такая красота. Думал, ты сочинишь!

— Чего б я сочинял, если это — вот есть?

— Есть! — говорит он задумчиво. — Правда, есть!

Ночь еще плотней обступила сад, со всех сторон сжимает полусферу света под яблоней — граница между ним и темью сделалась такой четкою, что кажется, будто определить ее теперь можно и на ощупь. Вокруг лампы в ветвях толкуются ночные бабочки, пробуют сесть на нее, срываются и отсиживаются потом на горке прохладных яблок, которые уже поставили на стол. Иногда из мрака налетают сердитые жуки, решительно, как на таран, косо уходят вверх, со сна промахиваются, с хрустом врезаются в коллак над лампой, шлепаются вниз и досыпают потом где-нибудь под краем тарелки. Только черные сверчки без боязни, совсем по-домашнему, прыгают на белую скатерть, сидят себе, спокойно усамы шевелят, может, скрипки свои настраивают, и тоже начинают тюрюкать — вокруг стоит такой мерный, такой густой, такой умиротворенный перезвон, будто и все соседские измазанные

сажей запечники тоже сошлись нынче в нашем саду.

Сбылось?..

В домерзающем январскими ночами нашем поселке, когда простуда ломила плечи и не было сна, сколько раз мне виделась эта картина: и полная луна над макушками темных акаций, и негромкий скрип сухих кукурузных листьев в саду, и посреди сада — свет, и бабочки из мрака, и сверчки-музыканты — со всех сторон... Тогда думалось: чего не случается — если доживу вдруг до старости, непременно вернусь в родные места, стану жить в родительском доме, собирать летом травы по катавалам и на ближних предальпийских лугах, колоть и подсушивать абрикосы, давить пахучую «изабеллу» — и с разных концов, как дети, станут приезжать ко мне мои старые товарищи: повидаться, повспоминать...

Может, я тут давно уже поселился, давно живу?

И вот Коробейников приехал, как блудный сын к старому своему отцу, возвращению его рады и закололи тельца — что ж, что для этого пришлось рубить шеи курицан... Или нет... Это он отец, а ты — его непонятый сын, и это он решил навестить тебя, и наставить, и дать пример: стар-то стар, а вон как ловко сегодня управлялся — и подлатал, и покрасил, и вырезал из жести и укрепил на коньке петуха... «Тебе же нравятся петухи?» — спросил, как у подростка. — Ну, вот тебе и будет!»

Кто из нас кому отец на земле? Кто кому — сын?

Но дух святой, святой дух товарищества — он витал тогда над нами, витал. Незримый, он полнокровно жил.

Такое вроде бы расплывчатое и вместе хрупкое определенное: витать!.. Но сколько оно, два с лишним тысячелетия назад отлетевшее от губ старого Рима, где «вита» значило «жизнь», сколько само теперь витает над миром?.. Сколько живет не только в речи, сотканной сознанием и памятью совсем другого народа, но и в плотской плоти его — уже в материнском молоке. Живет!.. Незримо, что в и т а е т, чей полет прозрачнее мелькнувшей тени от ночной бабочки, оно живет и дольше и прочней вещей видимых.

Слева, где сидели женщины, за столом наметилось движение — там отставляла стул, выбиралась из рядка, уже поглядывала на Коробейникова Семеновна. Тянула на ходу сморщенную ладонь:

— А от скажита, Павлович!.. А можно с вами хуть трошки поговорить?

Так оно и должно было быть, ну, конечно!

Семеновна, признанная улицей ворожея и завзятая знахарка, но и то и другое с годами стало всего лишь следствием одного и того же: прежде всего она была добрая утешительница, с которой вытворила судьба, и действительная, злую шутку... На ее сердечный дар, на отзывчивый характер, на ласковые ее, сплетенные обещаниями счастья речи, проводившая кормильцев на фронт улица стала слетаться еще в первые дни войны. Просили бросить карты на сына или на мужа, и совсем еще молодая тогда Семеновна к тому, что говорили карты, по простоте души начала кое-что прибавлять и от себя, и так она поддерживала соседей да и «весь край» станицы, подбадривала, запутывала, обманывала, как могла, — ей привыкли охотно верить и верили даже тогда, когда похоронки пришли уже почти всем, и ей самой она пришла тоже — даже раньше, чем многим другим.

Семеновна, что называется, вжилась в роль и в трудах да в заботах не успела опомниться, как две жизни ее, настоящая и выдуманная, прочно слились, а когда у людей хоть чуть отошло, хоть чуть отболело, когда мир они стали принимать таким, каков есть на самом деле — тут-то все вдруг и увидели, что Семеновна давно уже б р е х о в к а з а к о н ч е н н а я... Да разве не видать по бесстыжим ее глазам?! Даже серьги в ушах — и то цыганские!

Кто-то понял ее и простил. У других, когда-то ею утешенных, когда-то ею, может, спасенных, сердца на это не хватало.

Сама на себя стала наговаривать: была гадалка — стала уже знахарка, уже чуть ли не бесовка, не ведьма... Может,

было ей слабое утешенье. Может — мечь тому, кто ее предал.

Но по-прежнему ее подталкивали вперед, если надо было что-то спросить, что-то сказать... Ведь улица все знает должна. И все высказать.

Против загадочного для нее Коробейникова улица выставляла теперь Семеновну.

— Отчего же нельзя? — усом шевельнул Коробейников.

Она уже устроилась наискосок, налегла на стол, заглядывала в глаза ему, как девочка, и даже румянец на расчерченных сеткой морщин щеках проступил чисто девичий: волновалась.

— Сперва про себя: ваши папа с мамой чи еще живы?

— Нет, — ровно сказал Коробейников. — Их нету.

День-то и правда стрелой пролетел: матери своей ничего не успел я сказать о Коробейникове. Ее бы расспросил потом — и все. Посудачили бы за спиной. Посочувствовали. Повздыхали... Прикрыть Коробейникова? Попытаться Семеновну отвлечь?

И вдруг я понял, что это Коробейникову, может быть, и надо.

— Умерли? — простодушно выпытывала Семеновна.

— Нет, — сказал он. — Погибли.

— Уже в мирное время? — готова была ужаснуться Семеновна. — Или тогда еще?

— Тогда, — сказал он. — В войну.

— И папа, и мама?!

— Оба.

— И ни братьев не осталось, ни сестрички?

— Никого, — сказал он. — Никого.

— Так один и росл?!

Усы его как будто собирались поплыть, но только дрогнули слегка:

— Зачем?.. Человек четыреста было. В детском доме.

И не только Семеновна вздохнула, не только все остальные женщины, не только мужчины: под еле слышным порывом ветерка вздохнул сад.

— А родом из каких-то краев? — снова подступилась Семеновна. — Хоть знайтя?

— Не знаю, — сказал он. — Я долго при госпитале жил, меня контузило. Вот с госпиталя все и помню.

— Ай-яй-яй, жизнь! — тряхнула Семеновна своими цыганскими сережками. — Успросить от ее хуть раз: да почему ж ты такая?! Ай-яй-яй!

Моя мать спросила:

— Видно, папа военный был?

— Да, военный.

В Семеновне не могла молчать утешительница, искала выхода:

— Ну, а может, даже из наших краев?.. Тут же как? Больше черных, но и белые, как вы, попадают, — и обернулась к женщинам за поддержкой. — Ну, так жишь?.. Сколько хочешь! А характером, мы с бабами раскинули, чисто наш. Кабутто ут тут и вывелись у станции!

— Да правда что! — горько сказала мать. — Своего вон сколько просила, чуть не плакала: нет, некогда!.. А человек — еще калитка за ним захопнуться не успела...

— Да так оно и бывает! — перебила Семеновна. — А наши, глядишь, еще кому-то помогут!

— Называется, отдохнул Павлович у друга у своего! — гнет свою обычную линию мать. — Прощу вот: остались бы хуть еще на денек — нет!

— Да, а хуть и насовсем! — горячо поддерживает Семеновна. — Чи плохая наша станица?

— Хорошая, — говорит Коробейников. — Хорошая.

— Даже если не здешний, Павлович! — подает голос Петр Сазонович. — Все равно в казаки тут примем! Припишем!.. Были ж у нас раньше — п р и п с н ы е.

— Да где они теперь, твои казаки? — живо оборачивается к нему Семеновна. — Казаки друг дружку в гражданску порубали: как будто кто накусикал, Господи!.. А после кто от голода, а кто где. А потом — с шашками на танки. А то от

бабы не помню, что Жорка Звонарев, когда пришел, тут рассказывал!

В памяти несется виденье: в нашем саду, может, даже под этой яблоней, за столом сидит дядя Жора Звонарев, что-то пытается сказать бабушке, но голоса у него нет, один только тонкий сип, зато громко, с глухим присвистом, похрипывает серебристая трубочка у него в горле — на фронте пуля пробила ему горло... Никто не понимает, что он хочет сказать, и дядя Жора обижается, злится, затыкает свою трубочку большим пальцем и снова пытается говорить, но так ему трудно, начинает задыхаться, отнимает палец — и еще громче и страшной хрипит его трубка.

Перед тем как ему вернуться, домой заезжал на несколько дней мой дед, которого под Сталинградом ранило в руку. Дедова гимнастерка вся была в орденах — восемь орденов да медалей. На них я научился считать: дед только выпячивал грудь, а все наши хором подсказывали.

В стансовете нам тогда выписали оклунок муки и бидончик меда. Меду еще чуток оставалось, и бабушка налила в блюдечко и поставила дяде Жоре: «Поешь сперва. Посля скажешь».

Он стал было макать хлеб и вдруг захрипел, закашлялся, упал с табуретки, его начало бить на земле. Бабушка закричала, прибежали соседки, но никто толком еще не знал, что надо делать — когда трубка. Его только придерживали, чтобы не ударился, мне велели притащить подушку под голову, и когда я ее, оглядываясь на страшную трубку, подкладывал, на краю трубки подрагивали капельки меда с хлебными крошками.

Только потом уже, когда дядя Жора хоть чуть научился говорить, наши поняли, что он тогда приходил ругаться: зачем это дед придумал — перевестись в казачьи частя?.. Что ему — в танке было плохо?

Эх, рассказать бы когда-нибудь поподробней, зачем он это, в самом деле, придумал!

А дядя Жора тогда — как напророчил. Бабушка потом все приговаривала про это, когда кричала за дедом.

— Ты брось это, Семеновна, брось! — голосом погромче потребовал Петр Сазонович. — Недаром же поговорка есть. Что казацкому роду нет переводу... Сашку он того же возьми, — и повернулся к Сашкиной матери: — Ты ж, Лиза, у нас казачка?.. Вот, а я что говорю?! И Сашкин... Чередикины тоже казаки, одним словом! — и почти счастливый, что ему удалось не проговориться, что вывернулся в последний момент, протянул к Сашке руку. — Ты ж у нас казачура, ну?

Польщенный вниманием, Чередикин нарочно расправил плечи и, не отрываясь от стула, запыргал на нем, задергался — словом его подбрасывало в седле.

— Да-то-то ж и обидно, что сами себя и переведем! — не глядя на Петра Сазоновича, доказывала Семеновна Коробейникову. — Рази армяны не понимают, иде жить лучше?.. Еще как понимают! У нас вон теперь целые колхозы армянские да по десять детей!.. Рази люди, что с Севера едут, не понимают? По двадцать пять тысяч уже за развалюху дають! А для своих дом какой воняет!.. Мотаются по белу свету: туды-сюды!.. туды-сюды! То Камчатка, то раскамчатка! То рыба им, то нефть, то атом, то за-атом, а то еще какой черт с рогами — а потом ребятишек нету!.. Да ты за станицу выйди пешки — там тебе и без этого все есть, что человеку надо! Нет — мотаются! Ко мне армяны с того края до хаты приценяться приходили: Маяк с Ашотом. От он, Маяк-то, и говорит: «А ты знаешь, Семеновна, када казаки плачут?.. А када песню «Ой, Кубань, ты наша родина» армяны теперь играют!»

Семеновну терпеливо слушали: свою обиду высказывала. Ее сын Витька лет двадцать уже домой не приезжал. То хоть иногда писал письма, а теперь и это перестал.

— На том краю станицы на днях одни люди дом продали, — совсем громко на этот раз и неторопливо, как будто сам с собой рассуждал, начал Сазонович. — За тридцать тысяч!.. О — дом, таких домов... э! А всего три года в станице пожили. Хозяин на асфальтовом заводе работал, машину налево пустит, двор кому замостить — двести рублей

есть... А она — в детдоме. Это ж и уезжают, что ее на чистую воду вывели — от сирот отрывала!.. А тут шурик мой приехал из Лабинки. О! — говорит. Дак этих людей я знаю!.. Перед этим они гдей-то там еще дом продали, к нам в Лабинку переехали. Три года жили, пока строились... это у них, видать, как по плану. Чтоб не больше трех лет. А потом, говорит, за сорок тысяч и — дальше. В станицу к нам, значит. Это как, Павлович?.. А кто тут вкалывает, кто коров доит в колхозе, кто барашек пасет?.. Такой дом — может?

— А вы все насаетесь — туды-сюды! — снова не утерпела Семеновна, и Коробейников, который, прислушиваясь к рассказу Сазоновича, хищно прищурился, невольно улыбнулся теперь и снова расслабился.

— Может, в самом деле, хоть на денек да останетесь, а, Павлович? — не надеясь на меня, уговаривает мать Коробейникова.

— Оставайтесь! — просит и Лиза, и невольно смущается, что сказала это, может быть, слишком громко.

— Что денек!.. Жить оставайтесь, Павлович, у нашей станице! — чуть ли не требует Семеновна. — Вот хуть свою хату вам отдам, вот крест, ну не веритя?.. Жить надо дома, жи-ить!

На лице у Коробейникова застыла эта его улыбка, с усам на одну сторону, но иронии в ней сейчас нет, она даже кажется то ли чуть-чуть смущенной, а то ли даже немножко растерянной. Глаза совсем сузились, почти не видать, и все же, когда глядит, замечаю, что горят они уже не тем сухим блеском, что всегда, — слегка повлажнели. Глянул на меня еще раз и, пока глядел, все набирал воздуха, с полной грудью на полувздохе застыл, отвернулся медленно и, глядя уже на мать, шумно выдохнул.

— Нельзя! — сказал. И положил руку мне на плечо. — Как говорит мой друг: труба зовет!

— Да вот жишь! — горячо откликнулась мать, и в самом деле не раз слышавшая это от меня.

И Коробейников почувствовал, что шутки не вышло, что слова его прозвучали тут и в самом деле как бы чужими. Уже потише и голосом помягче объяснил:

— Я уже давал телеграмму, когда решил к вам заскочить. Что задержусь на три дня... Больше — никак!

Семеновна опять налегла на стол, подалась к нему:

— От вы про эту трубу!.. У подружки с той улицы — сынок. Еще и в заднице, прости меня, грешницу, не кругло, а уже — туда: все ему какается труба! Ну и растолкуйте тогда хуть раз: где она, в чертях, где?!

Коробейников посмеялся без звука, поклевал своим крючковатым носом и приложил ладонь к нагрудному карманчику серого пиджака:

— Считается, что здесь она, мать. Здесь!

— У сердце? — уточнила дотошная Семеновна. — Унутри?! Дак почему ж она тогда все от дома, а не в дом кличеть? Все от отца с матерью, а не к им?

— Давайте им лучше на дорожку споем! — громко предложил Петр Сазонович, вставая на том конце, где негромко спорили о чем-то мужчины, и поглядывая то на меня, то на Коробейникова. — Счастливой дороги! Раз надо, так надо... А потом и затянем!

Все задвигались, завставали, а когда уже снова сели, Петр Сазонович и спросил:

— Какую начнем, женщины?

— А может, ты сам, Петь? — совсем негромко попросила притихшая Семеновна. — Старинную ут ту?

И женщины поддержали:

— Давай ее, Сазонович. Как раз будет.

Он обеими руками пригладил уже подбитые седinou волосы, посидел чуток молча, и, пока так сидел, простоватое лицо его словно менялось: набирало и выразительности, и даже как будто красоты.

Остро всматривался в Петра Сазоновича Коробейников.

... Тот словно почувствовал на себе властный его взгляд: слегка побледнел, только проступившие скулы засмуглились еще заметней. Тоже глянул на Коробейникова — коротко

глянул, но черные глаза его успели обжечь не только внешне, пробудившейся удалью, но и горячею вспышкой внутренней силы, тоже сейчас лихой.

И Коробейников отчего-то успокоился, прислонился спиной к спинке стула, вытянул на столе руку с белой манжетой.

Петр Сазонович переморгнул, улыбнулся теперь почти виновато, прикрыл глаза. Неожиданно жалостный, горький голос полоснул тишину вокруг:

Поехал каза-а-а-а!.. на чужбину далё-о-о!
На верном лихо-ом!.. скакуне-е...

Коробейников убрал руку со стола, сложил обе на груди.

Голос у Петра Сазоновича сделался и звонче, и еще горестней:

Оставил каза-а-а-а!.. родную стани-ицу!..
Ему да не вернуцца в родительский дом!

Где она, в самом деле, эта труба?! Куда и кого зовет? Какая нотка в ее звуке главная?.. Почему ее один слышит, а другой нет?

Я не о Семеновне, зачем!.. О тех, кто чуть старше Коробейникова. О наших с ним ровесниках. О тех, кто чуть помоложе. И кто моложе нас уже, выходит, намного. Я о них.

Почему звучит всем по-разному? Для кого слышней, громче... Для кого — будто из далекого далека. И все дальше, дальше... А для кого и перестала совсем. Почему? Так ли договаривались? Мы все.

6

На этот раз, впрочем, позвала его не труба... Она ведь больше куда? На восток, за Урал. На Север. В теплые края труба не зовет — там столпотворение и так.

В Молдавию он переехал потому, что заболели дети. Оно и правда: сколько таскал их за собою по неустроенным холодным местам! История, в общем, обычная: теперь им «прописали» южное солнышко. Вот и пришлось ему за место под этим солнышком драться.

Случится все это на десяток лет раньше, и проблемы бы, как говорится, не было: после того, как на Записе сдали первую домну, в Молдавию уехал управляющий нашим трестом Казарцев, наш Партизан, и кого он только потом туда за собою не перетащил!.. Но к тому времени, о котором речь, положение в Кишиневе уже изменилось. За неправильную кадровую политику, чуть ли не за кумовство, Казарцев успел схватить «строгача с занесением» и вскоре ушел на пенсию, а те из сибиряков, кто еще занимал руководящие должности, волей-неволей поприехали: обжегшись на молоке, они теперь дули на воду. И с превеликим трудом удалось Коробейникову устроиться начальником управления в «Сельхозстрой». Вместо коксовой батареи — овощной склад, вместо рудника по добыче алмазов — винный погребок, вместо комплекса горно-обогатительной фабрики — свиноплекс... Такие пошли у Коробейникова дела.

Меня всегда поражала в нем способность переломить судьбу, начать все сначала. И все-таки, все-таки...

Писать он никогда не писал — только и того, что присылал иногда коротенькие записки: «На пару дней приеду двадцатого. Не отлучайся, будешь нужен. До!» Чаше он звонил, но не для того, чтобы потрепаться, а тоже — чтобы назначить встречу: «Сегодня вечером выезжаю. До!..»

Это его короткое, как выстрел, тугое от внутренней силы «до!» звучало всякий раз так решительно, словно присягал он при этом не только товариществу, но и еще чему-то очень для всех нас важному, может быть, самому главному в жизни... Звучало так, как звучало когда-то «Но пасаран!», как слышалось потом — два десятилетия спустя «Патриа о муэрте!»... Странный все-таки парень: бросит трубку и поедет потом на какую-нибудь недостроенную станцию перекачки или трансформаторную подстанцию, а лицо при

этом — энергия, спрятанная в знакомой его хрипотце, сразу вызвала зрительный образ — лицо при этом такое, словно с ручным пулеметом тут же заляжет рядом с дорогою на Гвдалахуру или прыгнет в грузовик и с отрядом таких же, как сам, неукротимых ребят помчится к заливу Кочинос...

Теперь он на несколько лет пропал. А слухи о Коробейникове ходили один страшнее другого.

Как-то однажды в Шереметьеве-2, откуда отправляются зарубежные рейсы, я провозжал в Будапешт своего старого друга, венгра, и здесь, около этих шестигранных контролок, на которых разбросаны бланки таможенных деклараций, носом к носу, что называется, столкнулся с одним общим нашим с Коробейниковым хорошим знакомым — по старой литературной традиции назовем его Н.

Вообще-то было бы вернее сказать, что мы с Н. были добрые знакомые — конечно же еще по Записку. А с Коробейниковым они, пожалуй, дружили, по крайней мере так считали многие, да и я так считал. Как раз Н.-то и выручил на этот раз Коробейникова: порекомендовал его в «Сельхозстрой». Неудивительно, что первым делом я и спросил: что там Коробейников?.. Как он?

Тут надо сказать, что своего друга-венгра я уже проводил, а дома срочных дел не было, и я не спешил, да и вообще находился в хорошем настроении. Тем более, вдруг — такая встреча!

Н. летел в Монголию, два года ему предстояло отработать в Улан-Баторе, и хоть не такой это, прямо сказать, край света, он заметно волновался. Во-первых, опаздывал его попутчик, во-вторых, забыл прихватить с собой какое-то необходимое для него лекарство, в-третьих... А было еще и в-четвертых, и в-пятых, и далее, как говорится, везде.

Есть такие люди, которым непременно надо поvollноваться, а уж повод они найдут — за этим дело не станет.

Помню, когда Н. собрался уезжать в Кишинев, я ему как-то сказал: что же, мол, — и вы, Брут?!

В кабинете у него мы были одни, и он повозился с запонкой на манжете шелковой рубашки, задрал рукав:

— Посмотри!.. Думаешь, я не ходил бы летом как ты — в распашонке? Но я не могу себе этого позволить!

Начиная с запястья, рука его была покрыта мелкими струпами: и правда мне стало стыдно за эти свои слова о предательстве по отношению к нашей стройке.

Н. был прекрасный инженер и добрый человек, но работал он начальником комплекса, а что такое эта работа?.. Классик уверял нас: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Так вот, с точки зрения настоящего о начальника комплекса, это — извините меня... Можно впрячь! Нужно! Ему за то деньги платят — чтобы впряг и коня, и лань, и пару ослов, и свинью какую-нибудь: пардон, дорогие мои, пардон, я только развиваю образ, творчески осваиваю, так сказать, классическое наследие, и никакого отношения к характеристике участников великой стройки это, конечно же, не имеет... Так вот, значит, впряг бы и еще как заставил бы тащить общий воз — куда они все, голубчики, денутся?

Такому начальнику комплекса — хвала и честь.

Н. был чистый инженер. Есть такая категория, знаете: будут у него люди и механизмы, будет документация и материалы — рекой, тогда он вам блестяще сработает.

Милый!.. Да ведь при этих условиях запросто сработает и какой-нибудь тебе пятиклассник! Расписываться он давно уже научился. И будет теперь автографы оставлять не на заборе, которым стройка огорожена, а в ведомости на заработную плату. Для этого не надо институтов заканчивать!

Что касается институтов: вообще-то давненько, давненько уже пора ввести бы в них специальный курс — как быстро и с хорошим качеством строить, не имея ничего под руками. Чтобы у таких, как Н., выбить их главный козырь: нас, мол, не этому учили. Так вот и надо их сразу учить этому: пусть-ка потом повертятся, пусть доводы поищут!

Но пока я только хочу сказать, что в Шереметьеве мы с Н. были в разном расположении духа: я благодушествовал,

а он волновался, как всегда, более того, сейчас, перед отлетом за рубеж, переживал как бы некий пик.

— Кошмар! — торопливо заговорил он, стоило мне спросить его о Коробейникове. — Кошмар!.. Было б время, я рассказал бы! Но если в двух словах: не сносить ему на этот раз головы, нет, не сносить!.. Готов пари держать: уж там-то он голову сломает! — и вдруг лицо у него сделалось чрезмерно озабоченное и вместе как бы таинственное. — Газеты сегодня успели пробежать? Вы поняли, что они там снова — в Бурунди?

А сам опять — мельком на часы, потом тоскливым взором по залу...

Позвольте, говорю ему: при чем тут Бурунди?.. Вы мне о Коробейникове! Что там все-таки у него?

Так же торопливо Н. стал рассказывать.

Выходило, что в солнечной Молдавии попал Максим не в лучшие места — на самый юг. Народ там разный живет: и молдаване, и гагаузы, и болгары, и греки, и русские, и цыгане — замес еще тот. Занимаются в основном своими садами да виноградниками, а в бригадах у строителей числятся больше для отмазки: надо же где-то числиться... Дело наладить там и действительно непросто. Но не слишком ли круто Коробейников начал? Приехал в село, где строится свинокмлекс, с проверкою; обходит, значит, участок и сталкивается с одним из своих рабочих: в руках у того два ведра домашнего вина — нес в свою бригаду к обеду. Начальника этот рабочий, конечно, узнал. И то ли от неожиданности, а то ли еще почему — протягивает Коробейникову ведро и говорит: пей, начальник!.. История, конечно же, хамская, но ведь нельзя же было — по раскладу Н. — на хамство отвечать хамством?!

Коробейников, ни слова не говоря, дал этому, с вином, в челюсть; ведра, естественно, покатились, вино разлилось, а он пошел себе дальше... Но если бы на этом закончилось! Через какие-то двадцать — тридцать минут он заглянул в эту самую бригаду — и что же?.. Бригада сидела себе кружком, мирно обедала, а посередине стояли эти же два ведра, снова полные, и все тянулись к ним со своею посудиною... Факт, конечно, прямо скажем, безобразный... Но стоило ли так поступать, как и на этот раз поступил Коробейников?.. Теперь он тоже молча вошел в круг и носком сапога поддал сперва одно ведро, потом повернулся в другую сторону — поддал второе. Чтобы всем хоть помаленьку досталось: так потом, когда ведра расшвырял, заявил несдержанный Коробейников.

— А что бы вы сделали? — спрашиваю я Н. — На месте Максима?

— Не знаю, что бы я сделал, — отвечает Н., — но так о п у с т ь с я, как опустился в этом случае Коробейников, — вы меня извините!

— Ну а что ему оставалось? — спрашиваю. — Ну что, по-вашему? Что?

— Вы не могли бы около моих вещей постоять? — просит меня вдруг Н. — А я по залу пробегу. Может быть, мой попутчик все перепутал и ждет меня где-либо совсем в другом месте?

Я, конечно, остался, а он пробежал — даже в туалет он заглянул, по-моему, с единственной целью: этого самого попутчика там поискать — всего лишь.

Возвращается он потом к своим вещам и еще издали начинает говорить: если, мол, вы сегодняшние газеты просматривали, то не смогли бы мне объяснить одно обстоятельство: в истории с Анджелой Дэвис...

— Послушайте! — Я говорю. — Оставим Анджелу. Давайте о Максиме. О Коробейникове!

Поскучнел он, задумался на миг и — ту же пластинку: «Кошмар!.. Кошмар!.. Сломает себе голову на этот раз Коробейников — как пить дать сломает! Мало того: он и меня подставит — ведь я же его рекомендовал, взял грех на душу!»

— Чем же эта история закончилась? — спрашиваю.

А он и говорит: если бы так! В том-то и дело, что пока не закончилась.

— Дальше, — говорю, — дальше-то в таком случае — что?

Снова поглядывая то на часы, то на спящих вокруг нас провожающих-отлетающих, Н. принялся рассказывать...

История там, как я понял, вышла такая. Свинокомплекс надо было сдать в четвертом квартале — кровь из него, но осенью зарядили дожди, и в то самое село, где он строился, стало ни пройти, ни проехать. Коробейников, естественно, догадывался, чем там занимаются в такие дни, когда «природа шепчет», а потому оставил «газик» в соседнем городишке, у председателя колхоза выпросил лошадь, поехал дальше верхом. Тут — правда ведь? — так и просится в строку: «на верном лихом скакуне», но мы этим не воспользуемся, нет — откуда мы знаем, какой был под Коробейниковым скакун? Да и потом — историю эту я передаю без лишних подробностей, только суть. А кое-какие детали позволю себе привести лишь потому, что расспросил о них потом Коробейникова — когда мы с ним спустя какое-то время встретились...

«Шепоту природы» в том селе, где строился свинокомплекс, вняли, к сожалению, очень многие — стройка стояла. И Коробейников молча объехал село: только внимательно посмотрел на каждого из своих строителей, где бы его ни находил. Если тот уже спал тихим и мирным сном, Коробейников такого расталкивал и тоже смотрел на него: долго и внимательно. Как будто изучал. И всем, наверное, в конце концов пришла одна и та же мысль: чего это он тут расезжает-расхаживает? Чего такими глазами на всех смотрит?

И на окраине села его остановила депутация. Коробейникову сказали, что вечером в его честь будет праздник: может он сегодня не уезжать?

Коробейников охотно согласился и повернул лошадку к тому двору, на который ему было указано.

Вечером в этом дворе собралась добрая половина села: одни сидели в просторной горнице за длинным дубовым столом, а остальные заглядывали в раскрытые настезы окна. Чего только не было на этом столе! Намечалось то самое, о чем говорим: пир горой.

Когда выпили за приезд Коробейникова, поднялся мужчина мрачного русско-греко-болгаро-цыганского вида и, неохотно улыбаясь, стал говорить: разве плохо им тут сидеть, когда на улице дождь? Разве плохо жить людям, когда они понимают друг друга?.. Но для того, чтобы понимать, надо хорошенько вникнуть в смысл справедливой пословицы: в чужой монастырь со своим уставом не лезут! И как будет здорово, если все поймут эту пословицу!.. Как было бы здорово, если бы понял ее и Максим Павлович Коробейников. Понял бы и всем тут сказал: как жить дальше-то будем?.. Ссориться или...

Напротив Коробейникова, чуть наискосок, сидел внушительной внешности амбал, резал топором брынзу и меланхолично ее жевал... Не дослушав оратора, Коробейников вдруг спросил: а почему это за столом с топором сидеть надо? Что, в доме плохо с ножами?.. Нет, ответили ему, с ножами в доме хорошо, а сейчас, когда полсела сюда собралось — особенно. И дело в другом. В привычке. Могут быть у человека свои привычки?.. Вот и Михась. Привык с топором не расставаться, что ты с ним будешь делать? Он его под голову кладет, когда спать ложится. Настолько привык. Потому что Михась — плотник, каких поискать. Таких мастеров, как он, в Молдавии больше нет. А может быть, даже и в соседней Румынии. Недаром же последние восемь лет, которые он прожил в тайге где-то под Иркутском, Михась вовсе не лес валил, как другие, — он ремонтировал бараки. И там топор тоже всегда лежал у него под подушкой, когда Михась отдыхал... Можно человека понять и простить ему маленькую слабость: если он топором теперь режет брынзу?

А нельзя ли окна закрыть? — попросил Коробейников. И сказал, что ему отчего-то сделалось зябко.

И рамы тут же позакрывали.

Тогда он сперва опрокинул стол, повалив сидевших напротив, обеими руками схватил табурет и, выставив ножка-

ми вперед, ринулся на соседней слева, потом на соседней справа. У двери возникла давка, и хотя Коробейников усердно помогал почти каждому, вместить всех желающих она не смогла, и тем, кому хотелось выбраться на улицу раньше других, пришлось выпрыгивать в окна.

Потом Коробейников среди разбитой посуды, среди пролитого вина и растоптанных помидоров поставил на место стол и сходил на кухню, принес оттуда кое-что из припасов — на него напал волчий аппетит.

Когда из угла поднялся Михась, Коробейников сидел за столом, топором строгал брынзу, лезвием размазывал по ноздреватому куску острую приправу и уплетал с зеленью. Михась поднял стул, устроился за столом напротив и, потирая челюсть, принялся рассказывать «всю свою жизнь» — как в подобных случаях водится, с самого, конечно, начала. Иногда Коробейников переставал жевать и кое-что уточнял.

Когда кто-то первый заглянул наконец со двора в окошко, Коробейников сказал Михасю:

— Они все волновались, как мы будем жить дальше. Ты объясни.

— Завтра мы сперва застеклим в доме окна, — сказал Михась.

— Они тебя могут неверно понять! — предупредил Коробейников.

И Михась тут же поправился:

— Еще до работы!

— Следовательно? — спросил Коробейников.

— Все должны собраться здесь в шесть утра.

Коробейников задержал над брынзой топор и голову наклонил чуть набок — словно раздумывал.

— В пять, — поправился Михась и посмотрел на Коробейникова.

— В четыре, — сказал Коробейников, вставая. Повернул топор к себе лезвием и обухом швырнул в руки Михася. — Объясни им: в четыре. И завтра, и послезавтра, и после-последнее, и после... Понял?

Рассказывая, Н. и без того постоянно оглядывался, а к концу на него прямо-таки нашло: только кинет взгляд на часы, потом — по залу, и тут же снова на часы смотрит. Как будто засекал, за сколько можно обежать все глазами... Со всем измаялся, ожидая попутчика. И снова попросил: будьте, мол, рядом с вещичками.

Пока он рыскал по Шереметьеву, у меня возникло еще сто вопросов о Коробейникове, но вот Н. появился наконец. Шел ко мне, еще издали протягивая газету, которую он от постоянного своего волнения уже успел скатать трубочкой.

— Купил для вас, потом почитаете. Тут есть прелюбопытная статья о Новой Каледонии. И знаете, что интересно?.. Оказывается, французы...

Может, это действовала на него суета в Шереметьеве? Давила, как говорится, вся эта обстановка международного аэропорта?

— Послушайте! — перебил я его. — Вы ведь знаете, как меня звать?

Он чуть ли не обиделся:

— Когда мы встретились, я вас сразу назвал по имени!

— Ну, так вот. Одна из моих бабушек до конца жизни звала меня Гаврюшкой. Другая — Гуркой, Гурочкой... Гуринский, значит. Наверное, потому, что мужа ее старшей сестры звали Гурпыны... значит, Агриппины, да? Так вот мужа ее, бывшего станичного атамана, звали Гурий Иванович. Фамилия была у него не очень изящная: Бледнов. Но называли-то меня не в его честь!.. Так назвал меня отец в честь первого пионера в Америке — Гарри Айзмана. Понимаете?.. А мать согласилась лишь потому, что ее уговорил мой родной дядька, ее младший брат, — для этого ему пришлось прочитать ей вслух чуть ли не весь роман «Жизина дяди Тома». Сама она читать не умела... Там есть негритенок по имени Гарри, помните?.. Ну, так вот. Традиции ощущаете? И в этом смысле

я — как жена Цезаря: вне подозрений. Сердце горит, если Трансвааль в огне, да!.. И землю в Гренаде крестьянам отдать — святое дело! Так уж нас воспитали. Но черт вас возьми — давайте сначала о своем! Вы можете мне ответить: сдал Коробейников этот свой свинокмплекс или нет? Что с ним, с бедолагою Максимом, дальше-то было?

— Я вижу, вы его оправдываете? — спросил Н., тоже горячась. — Может быть, вы нам всем предложите действовать как он?.. Что вы, собственно, предлагаете?

От моего благодушия тоже, наверное, ничего уже не осталось, я завелся:

— Что предлагаю? Первым делом — занести его в Красную книгу, вот что!

— Коробейникова? — переспросил Н. и поправил очки, словно бы для того, чтобы повнимательней в меня взглянуться. — В Красную книгу?

— Да, его! — подтвердил я. — Да, в Красную!

С чувством превосходства в голосе Н. уточнил:

— Вы в силах это сделать?

Но я уже и в самом деле завелся — меня понесло.

— Да отчего же нет?! — удивился я. — Представьте: запросто! Прежде всего, я напишу о Коробейникове. Очерк, роман ли, я не знаю, только напишу непременно!.. А дальше дело будет за малым. Сколько у меня выходило книг, и никогда я прежде не беспокоился: какая она выйдет? Под какую обложкой? Как оформлена? На какой бумаге станут ее печатать?.. Просто отсылаешь в издательство рукопись и через несколько лет получаешь оттуда готовую книгу — все! Но потом-то я увидел, какие есть мастера выворачивать руки и художникам, и всем, от кого зависит хоть чуть, какая у него выйдет книга!.. О, искуснейшие есть мастера! Одного, например, великого — больше и не бывает! — поэта современности я увидел однажды в производственном отделе столичного издательства, когда он выкладывал из сумки на стол блоки американских сигарет, французский коньяк и банки с нашей русской икрой, а в руках у начальницы отдела, которую при всем желании трудно назвать феей, уже был большой букет алых роз, да, как в той песне, да — миллион!.. Этому поэту нужен был золотой обрез на новой книжке стихов... понимаете? Вроде мелочь, но без нее до читателя может и не дойти, какое величие духа скрыто под черною тисненой обложкой. Непросто стать властителем дум — без золотого обреза по краям книги! И вот сошел с Парнаса, спустился с горних этих высот с банкою икорочки в клюве... Что ж, я не смею достать пару банок икры? Впрочем, попробую и без нее обойтись... Могу ведь хоть раз в жизни попросить художника, чтобы обложку книги он сделал красной? И будет — красная книга. И в ней — о Коробейникове! А?!

Я еще не успел договорить, а Н. уже начал перетаскивать в сторонку от меня чемоданы свои и сумки.

Вообще у него был такой вид, словно он и за рубеж летит с одной целью: лишь бы подальше, подальше от Коробейникова, который может не только сломать голову сам, но и подставить при этом своего рекомендателя... Подальше от Коробейникова! Подальше!

7

Эта глава о Коробейникове, может быть, кому-то покажется лишней, но что поделаешь?.. Если бы не обладал он этим свойством — поражать воображение, то и вообще не было бы этих записок о нем. Но вот они — текут ручейком!

Голову он тогда не сломал, дела у него потихоньку пошли в гору. Вскоре его назначили управляющим трестом, он перебрался в Кишинев. Отсюда и начал одолевать меня звонками: звал на охоту. Чего он только при этом не говорил! Каких только гор золотых не обещал! Зная его, не приходилось сомневаться: не прибавляет ведь! И с каждым разом все яснее мне становилось, что он там, слава Богу, прижился, может быть, даже счастлив...

Все это, конечно, прекрасно: и охота на северного гуся в рыжих камышах приднестровских лиманов, и засада на веоря в черных, уже сбросивших лист буковых лесах... Но когда всем этим заниматься, когда?

И всякий раз под его напором я сперва обещал приехать, как истинный строитель, бывало, называл даже твердые сроки, и так же, как он — этот самый истинный строитель, — все эти сроки один за другим срывал.

В конце концов это вывело его из себя.

— Послушай, трепач! — сказал он по телефону. — Если у тебя нет времени приехать в Молдавию, может, тебя устроит охота на лося в Подмоскowie?

— Хорошо бы! — вздохнул я. — Но удастся ли мне ее устроить?

— Ха! — сказал он. — Это не твоя забота — моя! Ты только скажи: да или нет?

Я понял, что поймался, ворчать попробовал: да разве в Подмоскowie — охота?.. Это тебе не Сибирь, братец, где, пока за ним набегаешься — все, кроме ружья, на лыжне побросаешь!.. Тут стоишь, прислоняясь к телеграфному столбу, мерзнешь, ждешь, когда загонщики его, бедного, на автостраду вытолкнут. На выстрелы потом туристы сбегутся, автобус рейсовый остановится — пассажиры тоже примчатся посмотреть... Какая это охота? Или вот последний раз, говорю, после которого поклялся, что в этих местах я больше не охотник: стою, значит, под сосной, над самой головою самолеты проносятся, снег за воротник осыпает... Что, думаю, такое? Куда поставили?.. Потом посылаются впереди тугой шум, на всякий случай я ружье взял навскидку, а это в ста метрах от меня промчался по земле большой белый самолет... Услышал смех, обернулся, а в пяти шагах от меня стоят двое в летных тужурках, с пуговками на меховых штанах возятся, делают ноги ромбиком, и так, уже облегченно, говорят: «Э, парень, ты пушкой-то своей «каравеллу» нам не попорть!» — «Действительно: чего нам из-за тебя с французами сориться?»

Оказалось, стою совсем рядом со взлетной полосой в Шереметьеве!

Все это он терпеливо выслушал, говорит:

— Я за охоту отвечаю. Понимаешь — я?! Потому не нуди, противно слушать. Ты только скажи: да или нет?

Пришлось, в общем, мне сказать: да.

— В таком случае достанешь для меня полушубок и валенки. Все остальное у меня будет. Неделю на то, чтобы достать, тебе хватит?

Тут же я позвонил нашему общему другу Славе Карижскому, которого тогда только что назначили генеральным директором Госцирка: не собирается ли он в ближайшие неделю-две на охоту? Видно, у него там выдалась минута, когда мог себе позволить расслабиться. Рассмеялся в трубку:

— Прекрасная мысль! А я тут сижу и думаю: чего мне не хватает для полного счастья? Как раз этого, пожалуй, и не хватает: бросить все к чертам собачим — да гори они синим пламенем! И стать с ружьишкой на номерке.

От этих его слов, которые и сам я, бывало, не раз приносил в похожих случаях, повеяло на меня родным Записком, где Слава был когда-то железным комсоргом.

О дорогие сердцу времена бескорыстия! Представляю картину: зимним вечером сидим над опустевшей артельной сковородкой, уже началась эта ежедневная, похожая на хоккей игра, когда каждый от своего края пытается отбить вилкой последнюю картошину: «Это твоя осталась!» — «А я говорю: твоя!» И тут вошел бы вдруг какой-нибудь провидец, прорицатель и выдал бы примерно такой текст: «А представь себе, Слава, что пройдет два десятка лет, и за взятки в тюрьжку упекут главного циркового начальника: кроме золота да бриллиантов, у него найдут еще и двенадцать японских телевизоров, настенных — полтора на два метра. И ты вот, да-да, ты — не отваливай челюсть! — придешь на его место с большой совковой лопатой — разгребать. Твою приемную тут же наполнят добродеей, почти каждый из которых, кроме своего основного жанра, будет

еще великим иллюзионистом и фокусником, станут давать тебе искренние, полные мудрости советы, а молодые, да ранние критики в хлестких своих статьях методично начнут учить тебя уму-разуму».

Что, любопытно, с нами сделалось бы, если б прорицатель вошел и все это изложил? Мы ведь и не дожили бы до сегодняшних дней: еще бы тогда от смеха померли. Или бы задохнулись от возмущения?

Но вот оно: так и есть!

— Офлажковали мастера искусств? — спросил я у него. — Мечешься?

Он радостно сообщил:

— По-моему, уже только вою. Если на охоте услышишь, не перепутай: может быть, это донесется отсюда, с Пущечной!

— Но ведь когда тебя агитировали, обещали помочь?

В голосе у него послышалась горечь:

— Я везучий. Мне всегда обещают помочь.

— Держись! — сказал я. — Что остается, милый. Держись. И позволь в таком случае по старой дружбе пригласить на охоту твой полушубок и валенки. Можешь их отпустить? Пусть маленько с Коробейниковым побродят! Пусть проветрятся.

Голос у него поменялся:

— С Коробейниковым? Ты уверен, что я их потом узнаю?

— Я буду следить за ними, — пообещал я. — Если что — помогу.

— С Коробейниковым? — переспросил Слава уже с оттенком тоски. — Свежо предание, да. — И тут же в голосе у него надежда вспыхнула: — Вот что! Привет и все, какие нужны, слова — это ты передашь ему. А как думаешь?.. — Немного помолчал и снова тоскливо произнес: — Н-нет, не пойдет он, конечно, нет!

— Конечно, не пойдет он к тебе работать, — подтвердил я. — Что он — сумасшедший? Хватит с нас одного коверного клоуна. За глаза.

— Да, — горестно вздохнул Слава. — За глаза нам, конечно! За глаза.

И вот уже небольшой автобус катит по зимней Москве, выбирается на окружную, сворачивает на Калужское шоссе — едем под Южнов. Мы с Коробейниковым расположились на переднем сиденье, за спиной у водителя, и водитель то и дело оборачивается, что-нибудь дружеское говорит Максиму: вспоминают Кольский, где вместе работали. Все эти ладные ребята в армейских ватниках — и помоложе, и чуть постарше — слышат обрывки разговоров и поглядывают на нас с Коробейниковым почти что с завистью — кто кого, и в самом деле, везет на охоту?.. Они ли — этого мужичка из Молдавии или — он их? Уже командует тихоньку: где остановиться, чтобы взять, по сколько принять, чтобы заранее, значит, не перебрать, как вещи лучше переложить — чтобы безопасней для ружей. И самое удивительное, что его уже слушают.

Перед Южновом, когда проехали мимо малокалиберных пушек на низких постаменты — в сорок первом в этих местах были жестокие бои, — свет в салоне погас, нырнувший влево автобус полосу фарам по черной стенке деревьев и словно прорезал в ней узкую белую дорогу — такая вдруг надвинулась со всех сторон глухая зима!

В чинном, праздничными блестками расшитом убранстве стояли стройные ели, похожие на узкоплечих барышень, руками с оттопыренным пальчиком приподнимающих по бокам пышные свои юбки; мерцающая пелена стелилась под молодыми, в пуховых нарядах, елками на опушках... Прямо-таки зимняя тебе сказка с рождественских открыток, которые появились в станице уже в сорок пятом — когда наши вошли в Германию. Из хаты в хату ходили они тогда по рукам. Помню, как бабушка, глядя на такую открытку, заплакала: «Ай-яй-яй!.. Чего ж им там отто не хватало, если так чисто было кругом да хорошечко!» Обросшее лицо повернул к бабушке контуженный под Ростовом отец, напряженно вытянул шею с выстриженным вокруг шрама за-

тылком — как будто сквозь темные очки рассматривал эту открытку издали, из своего угла возле припечка: тогда он ничего еще не видел, до того времени, когда снимет эти очки и отбросит палочку, было еще ой как далеко...

Чего им, действительно, не хватало? И только ли им?

Десятилетия прошли, а все никак не можешь понять: великопрустская ли гордыня была во всем виновата?.. Или же на этой — вышло, тупой! — гордыне крепенько погрел руки кто-то иезуитски ловкий другой?..

Может, это еще из детской, раненной войной памяти, хранящей ощущение измятых карточек на хлеб в твоём кулаке, ощущение прилипших к ладошке горячих медяков, когда, почти задавленный стоящей в очереди толпой, подбородком цепляешься за край пахнущего пекарней прилавка, в ужасе глядя на безжалостные счеты под всемогущим пальцем продавца, — может, это от нее тянется и тревожная нить к другому разрывающему сердце видению: палец на счетах, подбивающий итог прошедшей войны и задержавшийся над костяшками, которые обозначают и там, и тут: ц в е т н а ц и и, лучшая ее по полям сражений разлитая кровь.

О, старая химера господства над миром! Не слишком ли много в последний век ты этой крови выпила?.. Тому, чье лицо над сатанинскими счетами, над компьютерами последних конструкций, так жестоко наученные горьким опытом, мы пытаемся нынче наконец разглядеть, не бывает ли тому страшно от мысли, что ненароком можно в ней, в этой крови, захлебнуться?..

Скопом стояли у дороги старые ели, жались друг к дружке, их ветви соединились, переплелись, и, как ни старались выюги, пришлось им вить один на всех старушечий плат, там и тут приподнятый на острых плечах... Потом возникла облитая призрачным светом поляна и посреди нее сиротливым стожком — деревце-подросток. Его ли покинули, само ли решило убежать — и шапка была по самые плечи, и шуба с родительского плеча. Чтобы вдалеке от всех не замерзло.

Круто брал в сторону автобус, косо поворачивалась, отлетая назад, поляна, подрагивал над одинокою елкой синий, нахолодавший в высокой тьме острый, как ножик, месяц...

В притихшем автобусе словно прошли расческой — сидящие на левой стороне наклонились к своим окошкам, сидящие справа приникли к своим, в центре получился ровный пробор... И там и тут повторяли: Георгий Константинович... Георгий Константинович?.. Георгий Константинович, да.

— Тут Жуков любил охотиться, — сказал Коробейников. — А ты мне там что-то мямлил!

Где-то рядом сквозь темные снега стали пробиваться огни — сквозили меж елей, пропадали, снова начинали лучиться над верхушками... Подкатили к раскрытым настежь воротам, в которые только что нырнул другой такой же облепленный снегом автобус, и человек в армейском бушлате, который хотел, видно, ворота за ним закрыть, махнул рукой и побежал догонять своих.

К подъезду просторного двухэтажного особняка подъехали вслед за этим автобусом, который еще стоял, подслеповато помигивая задними огнями, и синий дымок стелился по кузову, словно по отвесной стенке сугроба.

Краснели уютом широкие окна первого этажа, роился снег под фонарями у лестницы, громко играло радио, собаки издали обнюхивали разминавших ноги охотников — вежливо и вместе с тем деловито. Там и тут раздался голоса, и в одних послышались нетерпенье и удаль, а в других уже и усталость, и безразличие, и все то, что слышится обычно, когда в каком-то деле человек уже «сбил охотку».

— А вы тоже только приехали, мужики?

— Третий день уже...

— Ну и как?!

— Да никак пока...

— Метель вдруг сворвалась...

— Так это хорошо, когда метель!

— Не всегда.

— Откуда сами?
— Штаб округа.
— И ничего не взяли?
— Посмотрим, что завтра вы возьмете...
— А затем и приехали!
— Та-ак, хлопцы! — Коробейников стоял руки в боки, насмешливо разглядывал неудачников. — Сколько у вас стволов? Кто главный?.. Полковник Сидорин? Где он?.. Полковник Сидорин!.. Полковник!

Под руку взял такого же, как сам, крепыша, рядом пошли вдоль автобусов.

Назавтра отправились на линию все вместе.
Мне, конечно, не повезло.

Думал похвастать перед Максимом ружьишкой, да не тут-то было, как говорится. Не прошел номер.

А дело в том, что несколько лет перед этим я все искал тридцатый калибр, к кому только не приставал: никто не продает?.. Нет ли где на примете? Сибирские дружки тоже хорошо знали об этом, и вот однажды получаю из Новокузнецка посылку странного вида: длинный и узкий ящичек. Что такое?.. Открываю — ружье!.. Тридцатый второй, двустволка, вертикалка, нижний нарезной... А?!

Старенькое, конечно, ружьишко, выдавшее виды... И табачком от него крепко, и костерком остывшим, и колушкой заносенным, и вчерашними щами, и лошадкой, и дегтем, и еще чем только не пахнет — весь таежный букет... Шейка приклада была, видать, переломлена, склеена теперь небось эпоксидкой, а поверх окольцована стальной пластиной. Или егеря у кого-то непутевого отобрали да при нем тут же — за ствол да об сосну. Или сельская милиция шерстила в каком-нибудь кержацком закутке безбилетников, через общество пустила потом трофей в продажу — тут-то дружки мои его и выловили... Пригляделся к стальной пластинке, а там — гравировка: «От старичков. От ветеранов».

От ветеранов Запсиба, значит!.. А?!

Ни обратного адреса и нигде больше ни строки, но я уже догадался, что это за старички-ветераны: Слава Поздеев, кто еще?! Когда-то мы с Коробейниковым чуть ли не силой вытащили его первый раз на охоту, а потом вдруг как пристрастился! Первый охотник в Новокузнецке стал. Академик таежный, что ты! Ружье решил непременно такое заиметь, чтобы похороше и близко не было. Еще в те, безденежные наши времена телеграфом прислал мне три сотни с категорическим наказом купить лучшее, что можно купить за эти деньги. И в Майкопе, где живут родители жены, в этом уютном городишке, который облюбовали отставники, мы с тестем выторговали для него роскошную французскую «жаннету» в футляре красного дерева, вложенном внутри черным бархатом, — не дробовик, а валторна!

Вот и решил Поздеев не оставаться в долгу.

Собираясь в этот раз на охоту, я все представлял себе, как покажу Коробейникову пластинку с надписью: «От старичков...» Умрет от зависти!

Но он, когда вместе с полковником Сидориным осматривал ружье, вспыхнул:

— Жалкая личность!.. Тебя нянька должна была собирать!

— Сам ты жалкая личность! — сказал я миролюбиво, потому что жалел Коробейникова — заранее. — Посмотри на пластинку!

Он глянул мельком, сунул ружье прикладом под мышку — стволами в снег, выхватил из чехла нож:

— Сейчас я сквируну ее, и приколешь на грудь, там будешь носить, а этим старым дерьмом я долбану сейчас по пеньку: на этот раз его уж и точно не соберут!

Полковник Сидорин левой рукой молча расстегнул патронташ у меня на поясе, достал патрон, а правую протянул к Максиму, отобрал нож. Со скрипом прошелся внутри гильзы острием, вместе с остатками стеарина вытряхнул в ладонь пулю.

— Самоделка?

— А то какой фиг! — выругался Коробейников.

— Не надо! — сказал я. — Не шейте, начальники, не шейте!.. Да вы знаете, где мне отливали форму для пуль? В литейке на Запсибе — лучший фасонщик!.. Такая точность, что...

— Заткнись! — велел Коробейников. — Вместе с литейкой, с фасонщиком и с точностью!

Полковник Сидорин еще раз подбросил пулю на широкую ладони:

— Д-да... Придется тебе, голуба...

Тут Коробейников, пожалуй, сообразил, что перехватил со своею строгостью.

— Черт с ним! — сказал быстро. — Поставим крайним. А соседа ему поопытней дашь. И чтобы глаз с него не спускал. Пойдем!

И пошли себе с Сидориным дальше — хорош гусь!

Единственный мой сосед и точно был, видать, человек с опытом: подошел без церемоний и пока в упор меня разглядывал, я успел и припомнить поговорку времен царя Гороха — «смотреть, как солдат на вошь», — и докопаться наконец до ее глубинного смысла... Вот как это надо на самом деле глядеть — чтобы, словно солдат на вошь?.. Конечно же с бесконечной тоской. И с таким же презрением.

Представляю, чего там наговорил ему обо мне полковник Сидорин!

В конце концов я не выдержал, сказал задушевно:

— Ну, что я — враг, что ли?.. Не стану я его нарушать! Черт с ним, с лосем! Отечество дороже.

— Это ты о чем? — спросил сосед уже с любопытством.

— О военном балансе, — сказала я. — О стратегическом равновесии. Не бойтесь. Никого не подстрелю!

Он рассмеялся наконец, совсем дружески:

— Да тебе и не удастся! Я не таких стрелков видал. Думаешь, зря сюда поставили?.. Разведчик!

— Ну вот! — огорчился я. — И вместо того, чтобы за лосем следить...

— А я не стану бить — Сидорин знает.

— Это почему же?

— Жалко мне зверье. Я по привычке ездю. За компанию!

И такой у него стал совсем уже добродушный вид, что я невольно сказал:

— И сигарет нету. А то бы сели и покурили... Не думал, что отберут!

Он все улыбался:

— Это у тебя нету. У меня есть.

— Не отдал?

— Как это? — удивился он. — Еще как отдал! Две пачки и зажигалки тоже две. Я теперь три комплекта с собой беру. На третий Сидорина пока не хватает... Утощайся!

Нашли мы с ним два пенька недалеко один от другого, сняли лыжи, сбили снег с пеньков, тихонько соскребли ножами наледь, подложили под себя рукавицы.

— Красотища! — сказал он, обводя взглядом заснеженную поляну. И вздохнул.

— Что ты! — поддержал я, тоже невольно вздыхая.

— Дружок-то твой в каком звании?

— Да ну! — отмахнулся я. — Какое там звание? От сырости, что ли? Штатский, как и я.

— Н-ну-ну! — слегка нахмурил брови сосед. — Глаз — ватерпас. Полковник? Комитетчик?.. Какой отдел?

Часа, наверное, два, а то и три провели мы почти таким же образом в мирной беседе, лишь иногда только омрачавшейся недоверием моего соседа — когда нет-нет да и возвращался он к вопросу о количестве звезд на мифических погонах Коробейникова... Меня уже подмывало, как бывает в подобных случаях, подыграть — может, сообщить ему, например, под большим секретом, что долгое время Коробейников был строительным магнатом в каком-нибудь султанате Зу у п-С а б? Да и Молдавия звучит почти как Мальдивы... Главный специалист по с и и н о к о м п л е к с а м,

да. Что такое синоккомплексы?.. Ну, это не у меня надо спрашивать — у Коробейникова.

Был бы я помоложе, погнал бы тюльку — всю не выловишь! Но уж больно симпатичным казался мне теперь мой «сосед слева», так все и сидевший на пеньке в двух шагах от меня. А что касается его пунктика — может, не он тут виноват? Может, оно и верно: невольно виноват сам Коробейников?

Только когда раздался первый выстрел, сосед мой мигом оказался на ногах, ловким движением опер двустолку о пенек, обеими руками опустил воротник на шубе, вытянул шею, голову слегка наклонил и даже рот слегка приоткрыл — и в самом деле, превратился в слух.

Бухали торопливо дуплеты, уверенно, словно с одного удара вгоняли в сухое дерево большой гвоздь, разрывали воздух одиночные выстрелы... Продолжая слушать, он вдруг цапнул меня за правую руку, которой я сжимал шейку приклада, и долго вместе со мною ружье придерживал, искоса следя за чем-то глазами, только потом одними губами шепнул:

— Смотри, черт с тобой!

И крутнул шейю, дернул подбородком, указывая куда-то за наши спины.

Наверное, я обернулся слишком медленно: всего лишь мгновение виднелся в прогале меж заснеженными кустами крупный коровий зад со светлым треугольником посредине, тут же неслышно исчез — только коротко осыпалось вслед легкое сеево, снова затумановало прогал.

Я возмущился шепотом:

— Почему не показал?!

Еще тише он ответил:

— Вдруг выстрелил бы?

— Я?!

— Кто тебя знает!

— Э-эх, ты!..

— А он малыш совсем...

Тут я возмущился:

— Малыш?.. Иди ты, знаешь, куда?!

— Вот видишь! — упрекнул он. — Я прав был: тебе он великаном показался.

— Не делай из меня дурачка!

— А ты так: будешь трепаться, что лось прошел через цепь, говори — малыш. Все равно его никто не видал, все проспало.

— Но ты же издалека за ним следил?

— Я — другое дело.

Снова грохнули выстрелы, три подряд.

— Шестого взяли! — сказал он. — Хороший был загон.

— Откуда знаешь, что шестого? — не поверил я.

— Ты же видел: я слушал. Двух Сидорин взял.

Раздался еще выстрел, кажется, самый дальний от нас.

— Все, лыжи надевай! — командовал он. — Больше не будет, шесть — такое редко... Надевай, говорю, — пошли!

И только тут задудел вдалеке охотничий рожок, начал набирать силу, и в глуховатом его, без переливов, гуде слышались умиротворение и покой...

Первый убитый лось лежал не так далеко от нас.

Сначала я увидел толпившихся полукругом посреди поляны охотников с ружьями на плечах — кто стоял с термосом, дул на чайк в пластмассовой крышке, кто покуривал. Там и тут торчали воткнутые в снег лыжи, лежали рядом рюкзаки и уже потрескивал чей-то транзистор, дробил морозную тишину мерными ударами клавиш.

Совсем иная картина открылась, когда подошли: посреди перетоптанного, как будто его пытались замесить на крови, — размятого в кашу снега высылась мощная туша с вытянутыми в предсмертной судороге прямыми ногами, голова была резко запрокинута — словно последним своим усилием зверь пытался избавиться от проплетевшей резинетовой куртки, которая свисала теперь с верхнего остротка тяжелых его рогов... Коробейников уже сбросил с себя что мог, вместо ушанки была на нем низко надвинутая на лоб лыжная шапочка, синяя спортивная фуфайка под пере-

крестем лямок на спине, когда он распрямился над тушей, влажно темнела, и темнел край зеленого комбинезона над поясницей... Наклоняясь, разом шмыгнул по коленям краями смятых гармошкой рукавов, задирая их поближе к локтям, измазанным кулаком приподнял край надрезанной шкуры, сунул под нее нож, чиркнул длинно, с силой рванул, и шелест пронесся — словно на раскаленную сковородку плеснули воду.

— Ты его взял, Максим? — спросил я громко.

Он буркнул не отрываясь:

— Ну не ты же!

Как был грубиян!..

— Как вас... товарищ! — окликнул его кто-то из стоявших. — Не могли бы вы мне — язык?.. В лечебных целях, поверьте!

Голос был не то чтобы робкий, а даже как будто жалобный — мне показалось, что этот сутулый и длинный, словно в юношеские свои обноски одетый человек и обратиться-то решился к Коробейникову лишь потому, что перед этим затронул его я.

Коробейников приподнял голову и бросил на толпу тяжелый, плывущий взгляд, усы у него презрительно дрогнули. Не разгибаясь, шагнул к запрокинутой голове, на выгнутую шею положил нож, взялся окровавленными руками за челюсти, с силой их разомкнул. Левая почти по локоть скрылась в глотке, правую он перехватил нож, просунул меж зубов с краю, плечо у него резко дернулось. Вырвал еще изохивший парком язык, не глядя швырнул через плечо, и тот шлепнулся под ногами у стоявших, заалел на белом снегу так ярко, что показалось: вокруг него тут же стало обтаивать.

— Свистните, если надо будет помочь! — сказали из толпы.

Коробейников промолчал.

Он снова хищно гнул над тушей, одним длинным движением подрезал плеву под приподнятой шкурой, крепко, коротко дергал, всякий раз поводя при этом усами, — вид у него был такой, словно попробуй мы сейчас потянуть лося за ногу в сторонку — и он распластается на нем, вцепится в освежеванный бок зубами и зарычит... А то и пырнет ножом.

Потому так почтительно и стояли в сторонке все остальные — дальше, чем обычно стоят.

— А ты что бездельничаешь? — спросил он, ни к кому не обращаясь, но я понял, что это относится ко мне.

Шагнул поближе к нему, нагнулся:

— Помочь тебе?

— Ты себе помоги! — бросил он. — Подбери шубу — затопчут!

Только теперь догадался я поглядеть, где лежит новый полушубок, взятый мною для Коробейникова.

Когда Коробейников бросил его на снег, он будто определил черту, за которую никому не стоит переступать. Вот они и толклись теперь на черте...

У кого-то из-под теплого, на молнии, сапога я выдернул полу, приподнял весь — тряхнуть. Изнутри выпала роскошная пыжиковая шапка Коробейникова. Я ее подобрал, определил под мышку, стал рассматривать полушубок... Успел-таки спереди изгваздать — после того, видимо, и снял, когда кровью забрызгал.

Тут я бросил взгляд на его валенки — ну, конечно же!.. Почему и действительно не было рядом няньки, когда я в этот раз собирался? Друг, у которого я их позаимствовал, большой, между прочим, аккуратист, тоже ведь считал себя завзятым охотником, а потому полушубок имел белый и валенки у него были светлые, ну а как же! Маскироваться среди снегов можно и без всех этих халатов да балахонов. И неужели я не мог догадаться сам надеть эти валенки, а Коробейникову отдать мои черные?

И спереди на голяшках, и по бокам они уже были безжалостно забрызганы кровью, и теперь мне казалось, что всякий раз, взмахивая ножом, Коробейников только о том и заботится, чтобы забрызгать их еще гуще.

— Послушай-ка!..

Меня держал за локоть мой бывший сосед слева. Шапка сбита на затылок, и спереди еще поддерживает край одним пальцем, а тихие голубовато-серые глаза цепко прищурены, в них светится напряжение внутренней какой-то работы.

— Слушаю, — вздохнул я.

— Выходит, что друг-то твой двух завалил — я тут сейчас припомнил...

— Так уж и двух! — не поверил я.

— А ты спроси у него, спроси!

И лицо у него расплылось прямо-таки в сладостном предвкушении правоты — странный мальчик!

— Максим! — позвал я. — Говорят, ты двух взял?

Не отрывая рук, он вскинул голову, уставился исподлобья. Поглядел-поглядел так и чуть ли не надменно, чуть не с презрением спросил:

— А что?.. Нельзя было?!

— Ну вот! — радостно сказал мой сосед. — Ухо — не глухо, глаз — ватерпас!.. А ты все-таки — темнило!

Наверное, это о таких людях, как Максим, говоривала когда-то моя бабушка: без них, мол, ни одна вода не освятится.

Когда перед вечером вернулись на базу охотничьего хозяйства, конечно же он делил лосятину: разрубал уже подмерзшие части туши на куски, раскладывал их по кучкам, почти не глядя добавлял к одной — мякоти, к другой — косточку. Помогали ему Сидорин и еще двое тех, из вчерашних неудачников, и хоть управлялись они тоже довольно ловко, вид у Коробейникова все равно был такой, будто все они болтались у него под ногами. Остальные опять были в роли наблюдателей, и роль эта почти всех, по-моему, устраивала: только и того, что кто-нибудь иногда подавал совет, который все четверо работающих дружно пропускали мимо ушей.

— А ты чего бездельничаешь? — снова укорил меня Коробейников.

На этот раз, оказалось, я должен был сбегать в нашу с ним комнату, вытащить из рюкзака Коробейникова большой полиэтиленовый пакет и собрать в него обрезки с запекшейся кровью да тонкие, как стружка, кусочки, летевшие у него из-под топора, да все, какие были на утоптанном пятачке у них под ногами мясные крохи — для своей собаки, для ньюфа.

— Пусть полакомится, — когда я уже разогнулся над пакетом, сказал Коробейников. — Лесной зверь — что может быть вкусней да полезней?.. Все будет праздник в ее беспростветной городской жизни!

Если б он меня не заставил — сам бы вовек не догадался!

После я собирал обрезки на кухне, когда он там занялся печенкой. Тут он снова заставил меня сходить в наш номер: достать у него из рюкзака холщовый мешочек с зимними яблоками. Теперь до меня дошло, откуда этот тонкий, словно бы очищенный от случайных примесей аромат южного лета, который уловил прошлый раз — из рюкзака у него пахло, как из праздничной сумки Деда Мороза, когда тот входит с холода в теплую, набитую детишками комнату. Когда я перекидывал мешочек из свежей холстинки с руки на руку, когда и раз, и другой подносил к лицу, яблоки в нем туто поскрипывали, рипели, как рипит под ногами, сжимаясь, неплотный снег, и мне невольно представилось, как он отбирает их дома — одно к одному, как, может быть, при этом даже придиричиво каждое обнюхивает... странно это для Коробейникова, странно! Не себе же он готовил подарок? Да и не мне. Или тут другое, тут дело в самолубии или в заведенном самим для себя жестком правиле: если за дело берется он — все должно быть по высшему разряду?

Не скажу, что не ел ничего вкуснее лосиной печенки с яблоками, которой он нас тогда попотчевал... Не в этом дело.

В просторной, под горницу, столовой, стены которой рублены из толстых сосновых бревен и не только светятся

чистотой, но, кажется, и суховато пахнут, и тоненько на всякий звук отзываются, по углам стоят несколько маленьких столиков, но мы сидим за длинным, человек на пятьдесят, общим, — мощная дубовая столешница, до последней прожилки высокобленная, тяжелые лавки по обе стороны. Такие стояли в рыцарских замках, в палатах княжеских теремов, в которых пировали после похода дружинники... Да, а эти-то — чем не богатыри? Молнии расстегнуты, душа нараспашку, а кто и вообще снял не только курточку, но и рубаху, сидят в тельняшках, в толстых фуфайках от китайского белья, да только какое там белье, фу-ты, и произносить-то стыдно, ей-богу!.. Под лямками от комбинезонов сморщится сейчас как кольчуга, и даже этот, длинный и сутулый, просивший отдать ему язык, якобы исключительно в лечебных целях, — и этот расправил плечи, приподнял голову, щеки раскраснелись — вообще орел!

Под общий говор, под шуточки и подначки выставляют на стол припасенные дома закуски, как одна, естественно, фирменные, и если кому-то не повезло сегодня на номере — какие дела?! Зато ему вообще в жизни повезло: у кого еще жена такая мастерица мариновать грибки или солить огурчики?.. Грибки?.. Огурчики?.. Нашли чем удивить! А вы попробуйте-ка вот это, попробуйте, попробуйте, потом скажете! И догадаться попытайтесь, если прежде от зависти не умрете: что за штука?.. Рецепт? Рецепт, конечно, можно, отчего же нет, да ведь знаешь, милый, тут одним рецептом, одним знанием-то не обойтись, тут надо вообще — у м е т ь!

А печенка! Так и держал бы за губой, глотать не хочется... И эти удивительные яблоки...

Клюнули головы набок, заводили глаза, покивывали, что-то говорили с набитыми ртами, и в конце концов там и тут говор оформился в единое: «За повара!.. За него — за повара!»

Усы у Коробейникова поплыли набок, строго переспросил:

— За повара?!

— За стрелка прежде всего, да! — зашумели.

— За стрелка!

— Ну, стрелков-то несколько!..

— Сперва за двух, за самых главных.

— За Сидорина и за нашего повара, да!

Встал Сидорин.

В отличие от многих, он был идеально выбрит и тщательно причесан, вообще имел вид человека, только что вышедшего из первоклассной парикмахерской, а тонкий пуловер черной шерсти с выложенным поверх белым воротничком рубахи это словно подчеркивал.

О таких лицах, как у него, говорят обычно: точеное, и уж если природа, выгачивая его, и в самом деле о чем-то заботилась, то в первую очередь, пожалуй, о том, чтобы придать чертам уверенность и властность почти беспреколосную.

Сидорин прищурил чуть потеплевшие глаза, и стало ясно, что это, может быть, одна из самых щедрых улыбок, на какие он способен вообще, — недаром же так широко разулыбалась глядевшая на него его компания: для них это был как бы сигнал, как бы даже команда. Но он сказал так, словно за этим враз притихшим столом были они с Коробейниковым одни:

— Телефоны мои ты записал. Координаты твои у меня есть, — и будто предупредил о чем-то: — Смотри-и! — и, глядя на Коробейникова, повел подбородком, расправил плечи и локоть приподнял вровень с ними, но позы, какую за версту чувствуешь во всяком, играющем под «русского офицера», не было и в помине — был действительно офицер. — Будь, Максим!

— По пятьдесят! — строго шепнул мне из-под усов Коробейников, когда они чокнулись и он сел. Это было всегда как приказ — не хотел ли я пить совсем, хотелось ли выпить больше: по пятьдесят. Стояло вино, он предупреждал: по стакашку. Если нескольких сортов: пробуем. По глотку. Он всегда это правило соблюдал, мне оно нравилось, как нравилось всегда и это странное покровительство, под ко-

торым всегда чувствуешь себя совершенно свободным: и сам — еще, мол, по одной, по последней, — никогда не пристанет, и все попытки других отобьет одним только взглядом — не надо ни оправдываться, ни говорить ничего, ни объяснять. Об одном я все забывал его расспросить: как он при этих строгих правилах расходится со своими грузинами?.. Уж не берет ли он в Грузии тайм-аут?

Когда разговоры о закусках сменились наконец одним общим — кто где стоял, когда лось вышел, кто как выстрелил, кто куда побежал, куда добавил, — он спросил негромко:

— Ты не думаешь, что только затем я в Белокаменную и приехал, чтобы тебя тут ублажить — печенкой побаловать?

— Лишаешь, начальник, радости! — начал я балагурить. — Так хорошо думать о себе и о своем товарище — тоже.

— Перебьешься, — сказал он. — Вот в чем дело: тут мне карта такая падает... пожалуй, поеду работать в Африку!

— Ну, так прекрасно!.. Все прогрессивное человечество, можно сказать, только об этом и...

— Погоди ты! — перебил он. — До этого еще далеко. Но расклад, в общем... И что еще хорошо: снова металлургия, понимаешь?.. Этот широкий профиль, все эти коровники мне уже вот как осточертели. Завод в Нигерии, да, тот самый. Так что, если все будет нормально...

— Ложись на сохранение, — сказал я.

До него сперва не дошло.

— Ну, как женщина, которая ждет ребенка и боится за себя и за него, — стал я развивать. — Так и ты. Придумай себе болезнь какую-нибудь. Хоть геморрой, не в этом дело... Главное, чтобы ты не возник где-нибудь со своим характером.

Он фыркнул через нос.

— Тебе не нравится мой характер?

— Мне что? Я-то как раз считаю, что в порядке.

— Меня он тоже устраивает, — сказал он серьезно.

— Но — Африка?.. А?! — начал я поддразнивать. — Ну, прежде всего «Волга» в экспортном исполнении, считай, обеспечена...

— Черт с ней, с «экспортной» — жил без нее и проживу... хоть одним глазком глянуть!

— А-а, вот что! Сафари!.. Львы, носороги...

— А разве не любопытно?

— Коробейников, раздражающий пасть льва!.. Не связывайся, смотри, — тут-то он тебе всех твоих зайчиков и запомнит! И лосей этих. И все, все!

— Тут еще вот что, — перебил он. — Штуку я такую придумал, ты о ней потом услышишь — это я тебе обещаю!.. Для себя назвал: «совмещенка». Тоска по муравейнику!

— Это у тебя-то?!

— Ты послушай!.. Когда все на пусковом объекте соберутся, бывает, несколько тысяч, вспомни, как один другому мешает и сколько вдруг появляется прямо-таки запланированных бездельников: убил бы!.. А когда я на этом своем свинокмплексе остался как сирота... как перст!.. вот тогда и затосковал. Сперва просто картинки в памяти вызывал, себя подбадривал. А потом всерьез думать начал. Как вместе — и не мешать. И всем вкальвать. И за работу отвечать полной мерой, без «спихотехники»: мне не дали!.. Не предоставили!.. Во всем смежник виноват, а я — паинька! Шутки шутками, а мурашами занялся без дураков — серьезные, скажу тебе, ребята! Два года около муравейников то на короточках, а то на коленах: как они преодолевают препятствия?.. Оно вроде и не очень соотносится, а веришь: глядел — и думалось хорошо! И всю, какую мог в той дыре достать, литературу перечитал, и даже от чужой горбушки чуток отхавал — как раньше блатные говорили. Имеется в виду — от твоей. В журнале «Коневодство» статейку о мурашах тиснул!

... — Имеет отношение? К лошадям?

... — Да никакого, что ты! Просто там люди думающие нашлись — случайно в поезде познакомились... Но это, так сказать, побочный продукт. А главная идея, которая поти-

хоньку выгнанцовывалась, — идея, скажу тебе, гениальная!

— Так, без ложной скромности...

— Ну а чего нам?

— И доказательства есть? Гениальности идеи?.. Слово, правда, не очень-то: «совмещенка».

— О совмещенном санузле напоминает? О мудрости наших проектировщиков? А пусть. Это, с санузлом-то, слава Богу, забудется, а у моей идеи — все впереди. И доказательство есть — запонка!

— Какая запонка?

— Да так-то она, конечно, дешевка: подделка под золото. Но на рубаше висела на приличной.

— Не понял.

— А как бы ты понял, если еще не рассказал тебе?.. Разработку «совмещенки» послал я в один НИИ. Жду — нет ответа! Тогда еду. Встречают как дорогого гостя, из кабинета в кабинет ведут, а потом в самом просторном достают мои бумаги, на стол кладут — пошел разговор. Один умелец с очень сложной фамилией и предлагает мне: будете, мол, у нас защищаться. Вот по такой, мол, теме. И мне какой-то клочок подсовывает... Так это же — я ему — четвертушка моей идеи! А то и одна пятая. Ничего, смеется. Вам на кандидатскую хватит, мы тут уже решили. А я: остальное, что ли, — тебе на докторскую?.. А это, говорит, уже не ваша работа — разве мало вам кандидатской?.. Я пальчиком сперва: а ну-ка — мои бумаги! Он их пятерней накрыл: здесь останутся!.. А вы не валийте ваньку, съядте вечером да пораскиньте!.. Ну, я их у него — черк из-под руки! Бросил в портфель и говорю ему: дурашка, забудь про них! Уверю, это пойдет тебе на пользу... Ну, а в гостинице стал из портфеля доставать, гляжу — запонка. Трофей, значит... Разве тебе не доказательство?

— С ученой овцы хоть шерсти клок? Хотя бы запонку?

Он давнул меня плечом:

— Ну, а где я это проверю на деле, где? А там можно будет. В Нигерии. За границей мы, слава Богу, получше, чем дома, строим: там в грязь лицом нельзя. Вот «совмещенка», может, и пригодится.

— Глядишь, заодно и термитами подзаймешься. Статьеку опять же тиснешь. В журнале «Пожарное дело» на этот раз.

Но он вдруг погрузился:

— Я ведь уже однажды не доехал до Африки!

Вроде бы знавший о нем почти все, я вскинулся:

— Это когда же?

— Давно! — сказал он. — В сорок седьмом, пожалуй.

Или в сорок восьмом... В детдоме. Голодуха само собой, как так и надо, а тут еще наказали несправедливо... Решили с дружкой: махнем?.. По железке до Одессы, а дальше — пароходом. Каких трудов стоило!.. И уже в Одессе милиционер достал из собачьего ящика — ну не обидно?.. Я на весь вокзал орал: «Легавый гад! Легавый!..» Он хотел рот ладонью: народ-то смотрит, сочувствует. А я его — за палец. Здорово я его тогда таянул — ух я тогда и злой был!

— Придрался из-за паспорта?.. Загранпаспорт был не в порядке?

— Да, — сказал он снова грустно. — Краешек фотокарточки отклеился...

— Давай! — Я приткнулся к нему, потерял плечом. — Не упусти на этот раз.

— З-зубами, что ты! — сказал он мне в ухо.

— Как в прошлый раз? — спросил я. — В Одессе на вокзале?

Плечо у него задергалось, затряслось — тихонечко смеялся...

8

То ли она высечена из камня, эта львиная голова, то ли искусно вылеплена, тут могу ошибиться, а рыться в путеводителях да альбомах не хочется — суть не в этом... Большая, примерно в обхват, висит она в метре от земли на серой стене Дворца дождей в Венеции. Львиная пасть нешироко,

но грозно раскрыта, в глубине ее прорезана продольная щель, края которой — как и многое здесь вокруг — изрядно пооблапал да пообтер турист-рукосуй... хоть бы раз эти мощные челюсти в подходящий момент сомкнулись и подержали бы минутку в зубах шаловливые пальчики какой-нибудь семидесятилетней резвушки!

У нашего гида Барбары, русской по отцу, Варвары Павловны, которая уже несколько дней ездил с нами по Италии и попала наконец в родной город, я спросил: «Это что же, Варя, — почтовый ящик?»

Да, сказала она, это и в самом деле почтовый ящик, во времена Венецианской республики всякий мог опустить в него письмо с жалобой на любого из сограждан. Что с такими письмами было дальше? Она расскажет потом, когда придет в зал судебных заседаний.

Когда пришли в этот просторный, но с невысокими сводами зал, Барбара продолжила: существовало, мол, правило, по которому каждое письмо граждане должны были подписывать своим полным именем. Анонимные письма не рассматривались, их тотчас сжигали. Расследование остальных велось тут. Стоял длинный стол. Сидели за ним дожи. И перед лицом их встречались двое: тот, кто жалобу написал, и тот, кого обвиняли в несправедливости или в злоупотреблениях против республики. Видите эти две двери?.. Одна из них ведет в длинный коридор с тюремными камерами. Другая — на площадь перед дворцом. На волю. Иного выхода для тех двоих не было. Доказал, что ты написал правду, спасибо тебе, иди с миром. Возвел нараспину — извини: с миром пойдет домой тот, кого ты пытался очернить, а ты надолго еще останешься во дворце за решеткой.

Кто обольщается?.. Я-то?

Ясное дело, что не так просто шло разбирательство — и переносили не раз, и откладывали, и ждали верных доказательств, которые должны прибыть из дальних стран, и лжесвидетельство принимали за правду, и поддавались, как нынче говорим, эмоциям — все было...

И все-таки, все-таки...

Прилип ко мне там, во Дворце этих самых дождей, родной, еще из сибирской многотиражки до боли знакомый термин: «Работа с письмами...» Ну что ты будешь делать — прилип!..

Но больше не буду, все. И так далеко заехал: в Венецию!.. Эх вознесло! Хемингуэй нашелся. Вознесенский!..

Все, все!.. Уловили чуть слышный шорох? Это я на свой шесток — скок!

Так вот, о производственном романе. Понимаю: читатель давно уже скучает, мается, ждет, бедный, не дожидается... Чего он по привычке ждет? Короткого замыкания. Или хорошенького взрыва. От чрезмерного желания поскорее открыт реке путь в новое, значит, русло. На крайний случай — землетрясения, которое порою случается не только по причине буйства стихии, но, бывает, и от гнева какого-нибудь совсем неприметного к виду начальника... Одним словом, ждет читатель аварии. Как иначе герой докажет, что он и в самом деле герой?

...Он строил тогда дорогу, которая шла мимо монастыря. Вот оно: *к высокой стене из этого старого камня, из котильца, задом подкатывает «газик», и он выходит из него, резко, как всегда, хлопает дверцей, тут же становится на подножку, с подножки — на капот, с него — на крышу, потом переагивает с одного выпирающего изпод старого брезента железного ребра на другое, и вот он уже на монастырской стене, почти тут же прыгает вниз, внутрь двора... Он ведь и точно думал: прыгнет вот так, и молодые послушницы в черных своих одеждах кинутся враспынку — как цыплята от коршуна... И вдруг — тишина. И — никого. И он видит, что на месте ворот напротив висит всего лишь одна покосившаяся створка, а вторая боком приставлена к стене изнутри...*

В чем-то, наверное, он остался мальчишкой, иначе за чем бы ему брать монастырь приступом — мог бы сразу ворота поискать... Но он — так.

Или тут другое?

Перед этим он драконил начальника управления, дотопывал прорабов да мастеров, и они плакали горячими слезами и все в один голос божились, что к Новому году успеть с дорогой никак нельзя, что если им даже удастся за неделю дотянуть полотно, то без поребриков на поворотах, без вычищенных канав никто все равно принимать ее не станет, а сделать это не успеть: некому!.. И все в один голос произносили осточертевшее: не хватает рабочих рук. И негде взять, негде!

Тут-то он и вгляделся в монастырскую стену, из-за которой ничего не было видно — только над длинной крышей в глубине вился слабый дымок.

— Ах, негде? — наверное, процедил он, доедая глазами плакальщика-начальника. — Ты уверяешь — негде?!

Хоть уже давно успокоилась над виноградниками Молдавии, над ее зелеными полями, над кодрами душа Николая Трифоновича Казарцева, нашего сибирского Партизана, конечно же, это была его школа...

— Кран, значит, не работает? — начинал, бывало, негромко и вкрадчиво. — Ах мы, бедненькие, сопли пораспускали — без техники!.. Нянька-то ваша где, добровольцы?! Где, спрашиваю, нянька? Под носом выгтереть?!

А сам находил рядом доску от опалубки, ногой переламывал, подбирая арматуру или кусок толстой проволоки, уже гнул своими клещами концы, вешал загнутыми краями на плечи, на габардиновый плащ.

— Доску-то на прутья за спину положи! Раньше называлась: «коза»! Чего варежки пораскрывали — кирпич накладывай!.. Еще! Еще!

По хлипкому трапу, горбясь, взбегал на леса, наверх, кричал оттуда:

— Чего стоите?.. Кто снимать будет? Разгружай кирпич!

Кому не нравится эта школа — предложите другую. Только не надо в облака тянуть.

Усваивали, по крайней мере, одно: нечего ныть. Руки опускать. Стоять да соплями своими любоваться.

А может, он вспомнил, Коробейников, как ворочали ломами девчата на Запсibe — и на автомобильных дорогах, в мехколонне, и на железной — в мостопоезде... Может, вспомнил женщин с задубевшими на морозе лицами и в оранжевых жилетах поверх телогреек, что по всей России на жестоком ветру стоят зимою по откосам, ждут, пока пронесется скорый...

Так или иначе дорогу эту он должен был сдать непременно, ведь для него это была дорога не из Брчан, предположим, или Дондюшан в Дубоссары, нет — это была дорога в Лагос, столицу Нигерии...

Наверное, он все еще был в запале, его пока не смуглили ни эта приставленная к стенке половинка ворот, ни заросший мощным, словно кустарник, бурьяном, так и не полегшим под снегом, двор, ни полуразрушенная часовенка неподалеку от длинного, похожего на барак, старого каменного дома.

За домом несильно тюкал топор, и по схваченной морозом траве он пошел к дому, на этот звук. Из-за угла вынеслась и небыстро покатила к нему большая стая собак. Еще издали собаки начали дружелюбно покачивать хвостами и вытягивать головы, они мирно обтекли его, почти не обнюхивая, пристроились рядом и за спиной, на ходу между ними как бы возникла давка за место к нему поближе — так, на всякий случай, и тут он наверняка вздохнул: бродяжня...

За домом с полуслепыми, давно не мытыми окнами две древние, укутанные платками старухи, в драных телогрейках, в разношенных кирзовых сапогах под низкими юбками, тяжело гнулись над ворохом мерзлого, никуда не годного хвороста, раскладывали обрубки по кучкам, и он сперва отступил на шаг, думал подождать, пока о его появлении известят собаки, но те уселись тут же кружком, тянули к нему черные носы, хвостами елозили по подмерзшей грязи, и каждая глядела на него угодливо — преданными, ждущими чего-то глазами...

Тогда он окликнул, хоть и негромко, но все же с веселюю ликостью:

— Бог помочь, матери!..

Как я понимаю, это была последняя спокойная минута Коробейникова в монастыре, если, конечно, можно назвать монастырем то, что от него еще оставалось... Давайте вместе представим: вот он спрашивает, кто здесь хозяйка и как ее вообще называть — настоятельница?.. Мать игуменья?.. Старухи мнутя и словно бы что-то припоминают, потом говорят: да, мать, да. Можно — мать Евдокеюшка. Где ее найти? И они опять долго мнутя, посматривают друг на дружку, на Коробейникова, потом идут молча в дом, ведут Коробейникова по длинному и полутемному, с просевшими, с провалившимися досками коридору, останавливаются перед одной из дверей, долго, словно не решаясь войти, стоят, — в конце концов он сам рванул дверь.

Первое, что он увидел, был гроб с лежащей в нем старухой — еле заметный огонек теплился над тонкой свечой, вставленной в сомкнутые на груди иссохшие пальцы, слабо освещая высоко приподнятый, за которым совсем не видно было рта, подбородок, истончившийся нос, резко проступившие между впадинами щеками да темными глазницами бугорки верхних скул, узкую бумажную полоску на пергаментном лбу... За гробом возвышалась конторка с двумя свечами побольше, на ней лежала раскрытая книга, и высокая старуха в очках, в заколотом под подбородком черном платке медленно вела пальцем по строчкам, нареспев читала молитву. Еще несколько старух в теплых, замотанных наглухо платках и с одинаково сложенными на коленях руками рядком сидели на скамейке у стены неподалеку от образов, под которыми еле тлела крошечная лампадка. Коробейников успел рассмотреть и старые телогрейки, и поверх них застиранные халаты, когда-то бывшие черными, и вытертые плюшевые жакетки, и опять почти у всех — старые сапоги или разбитые мужские ботинки: не на монахинь были похожи эти женщины — на изработавшихся старых крестьянок.

Он уже стащил свою пыжиковую шапку, решил чуток постоять, но тут старуху за конторкой тихонько окликнули, и она перестала читать, сперва поглядела на него поверх очков, потом сняла их, положила на открытой странице, молча прошла мимо Коробейникова, распахнула дверь и подождала, пока он выйдет.

Он понял и пошел первым, молча пошел и только во дворе уже остановился и надел шапку.

Чего доброму человеку надо? — спросила старуха.

Прежде чем ответить, у него хватило чутья спросить: кто была покойница?

Божена была, несчастная. Болгарка?.. Да, болгарка, а муж русский, пил всю жизнь, от водки под забором и помер, но это ладно, всяк волен распорядиться жизнью, как он захочет, но не должен отравлять душу детям своим, а он отравил. Сын у Божены тоже пил и так и пропал на Севере, хоть Божена пыталась его спасти: когда он побил там человека и нужны были деньги, чтобы вылечить, Божена продала свою хату, послала все, лишь бы сына не посадили, и с тех пор она так и жила или по чужим домам, или здесь. Правда, в последнее время ей очень везло, люди попались добрые, она им вырастила трех внуков, они оставляли ее на зиму, подожди, Божена, скоро будет еще внук, будет тебе забота, но она не захотела даром есть чужой хлеб, а деньги, что ей давали эти люди, она до копейки посылала внуку, он тоже у Божены неудачный: последний перевод вернулся только вчера — там, куда посылала, внук уже не живет. Они ходили в село на почту, просили отдать деньги, чтобы хоть похоронить Божену по-человечески, она как святая была, Божена, но деньги не отдали, сказали, нельзя. А Божена была такая бедная, что даже посмертного ничего не хранила, спасибо, Маруся, полячка, отдала ей свое, в него и обрядила.

Коробейников, видимо, все еще находился во власти этого слова: монастырь... Не пойму, сказал: вы тут католики или православные?

Рядом с ними уже стояли еще несколько старух, и одна из них ответила: когда тебе за восемьдесят и у тебя нет своего угла и нечего кушать, какое это имеет значение, пан?..

— А вы тут постоянно живете? — спросил он. — Или как?

— Ты видишь этих собак, сынок? — спросила мать Евдокия. — Они тут тоже непостоянно. Весной придут люди, каждой наденут ошейник и посадят на цепь стеречь дачу, или сад, или виноградник, каждой имя дадут и будут бросать ей кусок хлеба, а осенью ошейники снимают и ногой в бок: иди, больше не нужна!..

А собаки сидели вокруг него и все били по замерзшей грязи хвостами и смотрели на него блудливо-преданными глазами...

Старухи тоже смотрели на него, но в глазах у них не было ожидания — только покорность, и терпение, и прощение всем.

— Та-ак! — сказал он уже громко.

И одна из старух все-таки спросила на всякий случай:

— Вы — представитель?

— Да! — закричал он. — Да, черт возьми! Я — представитель!

— Нельзя сатану поминать, сынок! — сказали ему.

— А жить так, — закричал он, — можно?!

И уже потише сказал: пошли!.. Куда?.. Все посмотрим! А что смотреть, сынок? Да все, все!.. Все и не покажешь, нельзя. Это почему же?.. Срам показывать людям. Стыдно. Он что — мальчик? Веди, мать!..

И они пошли по дому, он смотрел, спрашивал, а они что то ему отвечали.

И он видел сырые комнаты с желтыми потеками на стенах и полуразрушенные печи. Видел крыс, которые разучились убежать при виде старух и быстренько сматывались только тогда, когда замечали уже его. Видел сидящих на жалких постелях закутанных в тряпье очень пожилых женщин — все они вязали нитяные кружева и, когда он входил, откладывали работу и дули на озбящие руки.

А чем питаетесь, мать?.. Чем Бог пошлет. Хорошо, в этом году узнали, что помидоры будут запахивать, успели собрать да засолили десятка два ведер. И картошки после колхозников собрали, всем разрешали. А хлеб в соседнем селе бывает почти всегда... С топливом как? Один человек уголь обещал привезти, да снова обманул, не привез, а с дровами не успели, да и где их возьмешь, а тут еще и сами себя подвели: на Андрея Первозванного несколько сестер ходили к ручью воду наслушивать, решили, тихая вода, зима, значит, будет теплая. Когда холода начались, стали их корить, а они: да мы уже, видать, плохо слышим!

А что это все вяжут?.. А кружев по комнатам не видать. Так это не для себя, нет — зачем бы они? Уже не до красоты. А для чего?.. А на продажу. Отвозят в Кишинев одному человеку, а он там продает, у них с ним на это бумажка есть, такое разрешение, договор... Надежный человек? Ох, ненадежный, нет, шельма, каких свет еще не видал: вяжут верстами, а дает за аршин!.. По их запискам выходит одно, а платит он по-другому, шкуру живьем дерет, креста на нем нет, у него один бог — карманный!.. Карманный — это как?.. Ну, старые люди говорят: карманный бог. Деньги, значит. Это они для него — бог... Ну так гнать его в три шеи!.. А как прогонишь? Где другого найдешь? Да и этот уже столько должен, много по их бумажкам, ох много! Глядишь, хоть что-нибудь да отдаст. И с топливом хоть не всегда, а помогает... Уголь это он обещал?.. Кому они еще нужны — ясно, он!.. А бумажки, записки ваши — в порядке? Не растеряли? Что ты, сынок, на них одна надежда: уж хоть и не отдаст, по ним тогда Господь с тем человеком на Страшном суде будет разбираться!.. И скоро он, Страшный суд?.. Да одни говорят, уже совсем скоро, а другие — чуть позже.

Угу, сказал Коробейников, угу. Так, значит: бумажки эти пуще глаза беречь. Кружев больше в Кишинев не отдавать. Как так, сынок?.. А так!.. А если он сам забирать придет?.. Это очень хорошо, если он придет, сказал Коробейников. Это то, что надо. Пошли!..

И они снова вышли на улицу, и снова его окружили собаки — я словно вижу, как они опять на него смотрели...

Когда Коробейников, потом уже, мне все рассказал, я ведь не раз, не два — много раз прошел вслед за ним по этим сырým комнатам, и видел этих вязавших верстами кружева, закутанных в сиротское тряпье старых женщин, и все слышал, слышал!

И я горячо сказал им там, во дворе: «Я попробую вам помочь!»

Я бы так и сказал...

Коробейников ткнул пальцем в одинокий дуб чуть поодаль:

— Там я поставлю будку, мать. Все!.. Шума не бойся. Двор тебе не испорчу. Подъезжать будут только легковые. Иногда. Грузовая уоль привезет. Ну и, конечно, техника придет, придут машины, когда ремонт начнем.

— Ремонт? — удивилась мать Евдокеюшка.

— Ремонт, да. Когда вы хороните болгарку?.. Где кладбище?..

Она ему ответила, и он кивнул:

— Оставайтесь. Ждите. Пошел.

Когда он отошел уже далеко, старая мать Евдокия крикнула:

— Помоги тебе Бог, сынок!

Он обернулся.

Они стояли кучкой и все как одна крестили его в спину.

И тут Коробейников впервые в жизни заплакал. В той жизни, которую он помнил.

Как он мог плакать? Я не знаю. Может, он завыл. Как волк. И впервые отступила от него и, может, даже очерилась эта четвероногая бродяжка — бездомные, преданные человеком собаки...

Страдалицу Божену хоронили с оркестром, из соседнего городка привез Коробейников.

На следующий день «Кировец», едва пролезший в ворота, притащил во двор и поставил под старым дубом новенький голубой вагончик. Неподалеку разгрузились два самосвала с углем. В доме то и дело распахивали окна: дым из него валит даже в общую, постоянно открытую теперь дверь. К вагончику потянули свет. С времянок связываться не стали: линию делали постоянную. На машине Коробейникова Михась поехал по трестовским участкам: в щитовых домиках да в тепляках конфисковывать самодельные электрические печки, все эти «козлы» да «баяны». Все равно, рассудил Коробейников, завтра же там появятся новые. Заодно по соседним городкам да селам Михась искал хорошего печника.

Сам Коробейников попросил однажды старух потеплее одеться и вывел их к дороге недалеко от монастыря. Там они разобрали лопаты и, опершись на них, долго стояли на обочине, глядели, как он один чертоломит, укладывает эти самые поребрики. Старухи порывались помочь ему, но он, махнув рукой, отправлял их обратно на обочину и рукою же показывал: стойте там. Стойте — так надо!

Они так и не поняли, зачем это было надо, но Коробейников все уже просчитал. Видели старух с лопатами?.. Видели! Значит, помогали они дорожникам? Еще как помогали, ого!

Из Кишинева приехал трестовский главбух. Над «записками», которые дала ему мать Евдокия, он сперва сидел с ней в ее комнате, потом весь пропах дымом, начал кашлять, и они перешли в вагончик. Там же главбух остался ночевать, а на следующий день в вагончик стали приходиться старухи, которых звала мать Евдокия, и главбух расспрашивал их и все писал, щелкал на счетах и писал снова. Целыми днями в вагончике стучала пишущая машинка. Главбух прочитывал перепечатанные свои разговоры со старухами, скалывал скрепками и складывал в отдельную папку. Папка становилась все толще.

Кое-что о Михасе вы уже знаете — тут надо несколько слов сказать о главбухе. Он был одесский еврей. Звали его Семен Ушеревич Тауб.

Лет десяток назад Коробейников встретил его во Внуко-

ве. Семен Ушеревич сидел за столиком в ресторане,пил водку, что-то тихонько бормотал и молча глотал слезы. Затем он задрал голову, вознес руки к небу и начал причитать уже в голос.

Он был на десяток лет старше Максима и был уже совершенно лыс, но ведь для Коробейникова это в общем-то никогда не имело значения. Послушай, парень! — громко сказал ему Коробейников. — Я специально просил посадить меня подальше от оркестра, но это вовсе не значит, что я — большой любитель сольного пения. В чем дело?.. Можно, я вам открою душу? — попросил его сосед. Коробейников посмотрел на часы и разрешил: можно.

Он — изгой, начал объяснять Семен Ушеревич Тауб. Еще недавно он тихо-мирно жил в центре красавицы Одессы и ни о чем не думал, только о семье, только о детях и только о работе. Еще думал о товарищах, которых у него было много. По крайней мере, он так считал, что — много. Но не все люди думают только о работе, о семье и о товарищах. Некоторые думают о миллионах. А зачем о них думать?! Разве с ними спокойнее, чем без них?.. И когда его включили в комиссию, которая должна была раскопать одно хитрое дельце, он к этому отнесся с полной ответственностью и все раскопал. Он ожидал, что после этого будет порядок. Но деньги и тут сделали свое: дело прикрыли. А на него стали показывать пальцем: сначала — товарищи, потом — жена, потом — дети. И все сказали, что он — выродок, он — изгой и что в Одессе ему нечего больше делать.

— И куда ты летишь теперь, выродок? — спросил Коробейников. — Куда ты летишь, изгой?

— Я лечу в Ригу к тете Маре, к своей старой тете, — сказал Семен Ушеревич Тауб. — Я хочу, чтобы она объяснила, как жить дальше.

— Не пудри своей старой тете мозги, выродок, — сказал Коробейников. — На этот счет я сам тебе кое-что могу объяснить. Где твой билет, изгой? Где твой паспорт? Посиди тут молча, потому что верхнее «ля» ты берешь совсем плохо, и людям со слухом это может сильно не понравиться, и суток десять, а то и пятнадцать ты потом не улетишь, а ждать тебя я не могу, ты извини.

Он пошел в кассу и поменял билет до Риги на билет до Ханты-Мансийска: в Нягине, где он тогда работал, у него как раз не было снабженца.

В Тюмени, где они делали первую пересадку, Тауб еще не пришел в себя и не лучше соображал в Ханты-Мансийске, но когда Коробейников вывел его из вертолета уже в Нягине, Тауб спросил: неужели я выпивший уверял вас, что я — из морозоустойчивых?.. Это дело наживное, Сема, этому я тебя научу, ответил Максим, а так как этот разговор они продолжили в «газике», который пришел за Коробейниковым, то уже через пару часов весь Нягине знал, что вместе с управляющим прилетел «морозоустойчивый Сема».

Но долго эта кличка не прожила. Новый снабженец боялся холодов, боялся бичей, боялся собак, которых по Нягине бегало великое множество, боялся вертолета, лыж, мотосаней, молоденьких женщин, боялся чистого спирта и начальника управления Нуруллаева, который, узнав о всех страданиях Тауба, путем несложной замены одной шипящей переделал его почти библейское отчество — Ушеревич — на иное, вовсе не благозвучное.

Коробейников хмурился, но молчал. Однако простаивать из-за какой-нибудь чепухи, из-за нехватки которой приходилось выкладываться потом в конце квартала, они стали меньше. Потом случилась веселенькая история: на одном из участков Нуруллаева встал тягач, лопнула цепляющая траки «звездочка», без нее было никак, и Коробейников приказал Таубу за всем этим «проследить лично».

Когда вертолет со снабженцем сел на временную площадку, водитель встречавшего их «бурана» не вышел навстречу, с испариною на лбу сидел, скорчившись, и громко стонал. Его подняли на борт. Командир предложил Таубу лететь обратно: больше садиться на участке они не могли,

не хватало горячего. Тауб попросил показать, как заводит-ся «буран». Назад он поехал по лыжне и разбил сани на просеке, которую рубили для топографов бичи — «топики». За две бутылки «московской» они дали ему кисы — подбитые мехом лыжи — и дали собаку, к ошейнику которой они прикрепили записку для знакомого егеря. Хотя сочиняли ее наскоро, по своим художественным достоинствам была она, пожалуй, ничуть не слабей известного письма запорожцев турецкому султану. Чтобы она в снегу не размокла, ее вложили в презерватив, в котором один из «топиков» — на всякий пожарный случай — хранил до этого коробок со спичками: что поделаешь?.. Ничего более для этой цели удобного родная промышленность ни геологам, ни лесникам пока не подарила... А из текста записки следовало, что вслед за этим подарком на ошейнике тащится и сам лысый хрен, но если он вскоре на лыжне не появится, то искать его следует немедленно, так как на морозе он долго не про-стоит — тем более с тяжелым мешком...

Егерь Тауба и нашел, домерзавшего на лыжах с оборванными креплениями, и вместе с рюкзаком, где лежала пудовая «звездочка», привез Нуруллаеву. Молодые повари-жи — все мужики были на участке — растерли его сначала снегом, потом спиртом, а Нуруллаев собственной рукой влил еще стакан внутрь.

Случилось так, что за несколько часов с Таубом про-изошло все то, встречи с чем он страшно боялся. Но тягач тут же починили.

Коробейников вызвал по радию Нуруллаева и с напо-ром, почти по слогам, произнес: «Хабидулла Хад-ред-ди-но-вич!.. А Семен-то Ушеревич?.. Ну?!» И больше ничего не сказал.

Нуруллаев собрал вечером свой «офицерский корпус» — бригадиров да мастеров. Все долго думали, и за полночь са-мые мудрые сказали, что «кликуху бьет кликуха». Потом они обсасывали длинное, составное «морозоустойчивый», пока из него не вышло очень короткое и по делу: Стояк. Устой-чивый, значит. Стоящий. Может, даже и несгибаемый, а что?.. Семен-Стояк.

Коробейников сказал Таубу: «Это тебе — как орден». Но приличную «кликухой» дело не ограничилось. Вместе с мо-лодою женой, украинкой, и двумя близнецами, в которых он не чаял души, Семен Ушеревич Тауб привез в Кишинев также и новенькую орденскую книжку, в которую вписан был пока только один «Знак Почета». Как уверял его Коро-бейников — для почина.

Времена уже начали потихоньку меняться, и Тауб стал получать из Одессы письма, в которых ему сообщали, что добрая половина той самой «шайки-лейки», из-за которой он стал изгоем, находится теперь в местах отдаленных — и тоже потихоньку привыкает к морозам. Прочитав очеред-ное письмо, Тауб задумывался и подолгу молчал. Иной раз, когда им выпадало вместе трястись в «газике» Коробейни-кова и они проезжали мимо какого-нибудь табунка лоша-дей, которые паслись рядом с дорогой, Коробейников оста-навливал машину и тащил его поближе к коням. «Та-ак! — начинал он оценивать лошадей. — Эта тебе не подойдет?.. А вот эта?.. Или ты должен въехать в Одессу обязательно на белой?» Тауб смеялся, потом вздыхал: «Максим Павлович!.. Вы умный человек, но вы не знаете и сотой доли того, что у евреев знает даже глупый». — «Просвещай!» — разрешал ему Коробейников. И Тауб начинал его «просвещать».

Может, именно потому, когда старухи пожаловались Коробейникову, он тут же кое о чем и догадался.

В конце концов Тауб разобрался с бумагами и доложил Коробейникову, что этот умелец по фамилии Коганиадис за несколько лет забрал у старух кружев на двадцать девять тысяч — с какими-то там рублями и соответственно с каки-ми-то там копейками, — но за все это время, пока они вяза-ли для него, потратил на них только пять — соответственно с рублями и тоже с копейками: учитывая и стоимость ниток, и цены на уголь, и даже расходы на бензин — когда он приезжал к ним из Кишинева.

Прекрасно, сказал Коробейников. Поедешь к нему с бу-магами и поговоришь с ним на идиш, а если этот проходи-мец случайно знает также и греческий, то придется тебе разговаривать и на нем. Но я не знаю идиш! — заявил глав-бух Тауб. На что Коробейников ответил модно в послед-нее время фразой: это, мол, все его, Тауба, вопросы. Глав-ное, чтобы этот умелец вернул старухам двадцать четыре тысячи. Хорошо, сказал Тауб. Но пусть тогда вместе с ним поедет Михась. Михась знает идиш? — спросил Коробей-ников. — Или он за два вечерка — конечно же, в свободное от работы время — его освоит? Не делайте вид! — совер-шенно резонно ответил на это Тауб. На что Коробейников так же совершенно резонно заметил, что Михась уже был в иркутской тайге, а сам он довольно долго жил неподалеку и очень хорошо знает, что это такое. Неужели и Тауб решил на нее теперь посмотреть?.. Не делайте из меня дурака! — ответил на это Тауб. И сказал еще про своих близнецов и про то, что, если он говорит, что Михась ему нужен, — зна-чит, он действительно ему нужен.

Они толковали вдвоем в вагончике, и Коробейников от-крыл дверь и позвал Михася, который с двумя другими плотниками заканчивал некое подобие склада — попросту говоря, сарай.

Михась как чувствовал — пришел с топором, и Коро-бейников сказал ему: нечего, мол, ходить с ним без дела — зачини-ка пока карандаши. Михась принялся за карандаши, а Коробейников взялся толковать, зачем они его при-гласили, и в это время в вагончик, торопясь, забралась одна из старух: мать Евдокия послала ее сказать, что приехал этот, из Кишинева, и требует отдать ему кружева.

Они сгрудились у окошка: недалеко от дома стоял но-венький «жигуль» вишневого цвета.

Может, этот великий финансист Коган тоже не справ-ляется со своим годовым планом? — предположил Коро-бейников. — И тоже в последние деньки декабрю решил поднажать?.. Или он, как Дед Мороз, привез бабушкам ме-шок с новогодними подарками?

И Коробейников кивнул Таубу на дверь. Тауб вздохнул, и вместе со старухой они пошли в дом.

Умелец оказался на редкость симпатичным человеком среднего возраста, одетым в хорошую дубленку и в шапку из нерпы — с козырьком. Его усадили в вагончике за стол, и для начала Тауб положил перед ним раскрытую папку и справился, хорошо ли у того со зрением. Со зрением у че-ловека в дубленке было пока хорошо, он углубился в чте-ние, почти тут же все, видимо, понял и бумаги с показани-ями старух потом только переключивал, зато заключение Та-уба начал изучать с большим вниманием.

Коробейников в это время стал пробовать, хорошо ли Михась заточил карандаши, но стержни у них один за дру-гим ломались... Что за мерзкая халтура? — спросил Коро-бейников. — Неужели Михась не в состоянии даже это сде-лать по-человечески?! И вообще: не пора ли с ним разо-браться, наконец, — чем он занимается в рабочее время? Кто будет за него отвечать, если про его шутки станет изве-стно?.. Нравится тебе бриться топором — брейся, пожалуй-ста, дело, как говорится, хозяйское, но как можно на спор брить другого — это ему, Коробейникову, не ясно. Тем бо-лее что не такой Михась мастер: вот, пожалуйста, посмот-рите на эту халтуру!

Грифели снова ломались у него под рукой, и Михась молча забирал карандаши и один за другим снова затачи-вал.

Человек в дубленке оторвал наконец глаза от бумаг и посмотрел на Коробейникова.

Ну, так вот! — начал весело Коробейников, словно рад был наконец отвлечься от печальной необходимости отчи-тывать этого халтурщика Михася. — Сначала придется кое-что о втором пришествии Христа и о трубе архангела Гав-риила, которая возвестит о начале Судного дня... Он, Коро-бейников, будучи от природы человеком очень любозна-тельным, тщательно изучил этот вопрос, прочитал много литературы, не только популярной, но также строго науч-

ной, а потому с полной ответственностью может сегодня заявить: да, все будет именно так, как об этом говорят еще добиблейские источники... Тут он короткими, но яркими мазками нарисовал картину ада, который ждет живущих неправедно: котлы с кипящей смолой, раскаленные сковородки, которые грешникам придется вылизывать... Много ли в этом во всем хорошего?.. Бр-р!..

Но все это — семечки, сказал Коробейников. Это вчерашний день. Сказка для детсадовских ребятшек. Так как мы давно уже вступили в бурный век НТР и столько знаем о достижениях наших восточных соседей, японцев, в области микропроцессоров и робототехники, то должны отдавать себе отчет, что грешников, особенно закоренелых, ждут в аду также и поистине удивительные технические новшества... А потому долг каждого из нас: подумать не только о себе, но и о своем ближнем. И о дальнем — подумать тоже... Именно для этого они тут сейчас и собрались. Михась вот знает, какие лозунги висят в некоторых заведеньях... Так вот он, Коробейников, перефразируя один из них, выдвигает нынче на повестку дня такой новый: «На Страшный суд — с чистой совестью!» Каково? Сам Коробейников считает, что это — прекрасный лозунг. Очень современный. И на самую животрепещущую тему. Потому, исходя из всего вышеизложенного, он спрашивает дорогого гостя: когда он отдаст бабушкам двадцать четыре тысячи?.. Прямо сейчас? Или несколькими часами позже?

Хорошо представляю себе полный текст выступления Коробейникова, буквально слышу его — при необходимости я мог бы составить, что называется, стенограмму его речи. В этом смысле у нас одна школа, мы часто говорим одинаково, я знаю, что перенял у него, что — он у меня, кого из наших товарищей в том или ином случае мы цитируем оба — дело вполне понятное!.. Так что и я мог бы сказать все то, что сказал тогда в вагончике Коробейников, — нет проблем.

Правда, Коробейников всех при этом еще и развеселил: он и начал-то с веселой ноткой в голосе, дальше — больше, как говорится, а в конце он и сам смеялся в голос, и все, кто был тогда в вагончике, ну прямо-таки помирали со смеху: так лихо все это Коробейников излагал.

Умелец даже достал платок, чтобы вытереть выступившие от смеха слезы...

«Значит, вы уже без меня решили, что я должен отдать эти деньги? — спросил он, все еще похотывая. — И в самом деле, смешно!..» Конечно, он не станет тут говорить, что ему показали липу: это серьезный документ. Ничего не скажешь: чисто сработано. Болгарка Божена и в самом деле была великая мастерица вязать, все правильно, но кому он, любопытно, должен отдавать теперь деньги, если Божены уже нет?.. Но он тоже понимает шутки и тоже любит разыгрывать друзей, да-да!.. И за все эти бумаженщи, так и быть, он ставит ящик водки — это все, на что удастся им расколоть его!

Побледневший Тауб давно уже прикладывал к губам палец: пытался дать знак, что лучше умельцу помолчать. Но тот разошелся — не остановить, так его подзавел своей веселостью Коробейников. И так — ящик водки. Устраивает?

Коробейников бросился к нему, схватил за отвороты на бортах новойкой дубленки, свел их вместе и стал затягивать у того на шее.

«Ты отдашь до копеечки, падло!» — орал Коробейников. И еще орал, что достанет умельца из-под земли, что найдет хоть на краю света, но деньги из горла вырвет... Он орал так, как, наверное, орал беспризорником на одесском вокзале. Думать об этом он, конечно, не мог, не до того ему было — может, невольно чувствовал?.. Что в эту самую минуту навсегда утливает от него африканская страна Нигерия со столицей Лагосом.

Умелец начал синеть и закатывать глаза, но они никак не могли оттащить Коробейникова, отнять рук от горла, и тогда Михась пришлось выступить в роли портного: топором он аккуратно подрезал борта дубленки... С ними в трясущихся руках Коробейникова вывели на улицу, и кто-то

открыл дверцу «газика», его усадили, и кто-то бегом, отвинчивая на ходу крышечку, принес фляжку, ткнул горлышком Коробейникову в зубы, но он боднул фляжку лбом, она упала. Он был похож на волкодава, которому разжали-таки ножом зубы и отобрали добычу.

Потом он вылез из машины и пошел в дом. Молча там взял табуретку и сел у окна. И старухи тоже молча выстроились у него за спиной и стали молча глядеть на синий вагончик.

Через несколько минут дверь его открылась, из вагончика вышел вначале Тауб, протянул руку и помог сойти по ступенькам этому... Медленно они пошли к «жигулю» вишневого цвета. За ними шел с портфелем Михась. Из портфеля косым хвостом торчало топориче. Интеллигент!..

Из вагончика выбежал водитель Коробейникова, на вытянутой руке понес шапку умельца, и Михась взял ее сперва и даже прибавил шагу, но потом, видимо, передумал... Взял за козырек и снизу вверх пустил по дуге в сторону вагончика, но на ступеньках ее не смогли поймать, она покатила по земле... Зарывается Михась — нехорошо!.. А может, прав?.. Без отворотов на бортах и в нерпичьей шапке — фи!.. А без нее — как бы некая незаконченность в одежде, как бы незавершенность — не отказал Михасю в изысканном вкусе, нет!.. Или понимает, хитрован, что чем неуютней будет пока умельцу, тем быстрее вернутся они из Кишинева... Психолог... дипломат!.. Растут люди. Вот такие, можно сказать, простые и незаметные... кто бы и в самом деле заметил, если бы топор с собой не таскал и иногда бы не брился им, ну, кто бы заметил?!

У машины они поменжевались.

Умелец не сможет повести, ясное дело.

За руль сел водитель Коробейникова. На заднем сиденье устроились умелец и Михась. Прежде чем сесть рядом с водителем, Тауб скользнул взглядом по окнам дома. Выпрямился и сжал у плеча кулак...

Не было их почти сутки. Коробейников говорил потом, что за это время он посидел больше, чем за все годы перед тем. Я думаю!

Но зато потом все было как в лучших домах.

Когда они приехали, умелец отдал матери Евдокии обшитую по краям бахромой туго набитую холщовую сумку с расплывшимся от стирки портретом какой-то красотки и протянул ведомость. Прощения попросил: немножко, мол, задержал выплату, виноват. Были, мол, свои трудности... Предложил пересчитать деньги и расплатиться.

Чего не бывает по молодости, — сказала-мать Евдокия. Разве она не понимает, что у всех свои трудности?.. Это так. А прощать — ну, что ж тут? Господь простит. И глянула на случавшего поодаль от «жигуля» Коробейникова. Тот глянул на Тауба. И Тауб сделал знак рукой: мол, все, порядок. Мол, можно и не считать.

Михась подставил под ведомость портфель, из которого так и торчало топориче, и мать Евдокия, не торопясь, наде-ла очки, поджала губы и расплатилась.

Тогда Михась поставил портфель у заднего колеса, похозяйски открыл багажник и выставил из него ящик водки. На Коробейникова он пытался не глядеть, он от него старательно отворачивался.

Тот негромко окликнул: Михась!..

Михась потоптался, как привязанный, возле ящика, слегка наклонил голову к плечу, но так и не обернулся.

Голос у Коробейникова стал громче и протяжней: Михась-а-ась?!

И тогда Михась рванул ящик с земли и поставил его обратно в багажник. Хотел было резко захлопнуть крышку, уже замахнулся, но потом только мягко придавил ее, взял портфель с топоричем и пошел в вагончик. Он вынес оттуда нерпичью шапку, подошел с нею к умельцу, но долдо ее не отдавал: сначала, прижав пальцами обшлаг, тщательнее оттирал ее рукавом куртки, потом разглядывал и снова принимался тереть. Прошелся, наконец, пальцами. Подул на шапку. И только потом отдал.

Когда «жигуль» тронулся, Михась протянул лапу вслед и стал приподнимать и опускать ее: делал ручкой.

Вышедшие из дома все до одной старухи смотрели почему-то не на «жигуль» — во все глаза глядели на Михася.

Коробейников шагнул к нему и положил руку на плечо.

— Выше всяких похвал! — подходя к ним, громко сказал Тауб.

Мать Евдокия с холщовой сумкой в обеих руках медленно придвинулась к ним троем, опустила среди двора на колени, низко поклонилась и так, согнувшись до земли, замерла.

Тауб кинулся ее поднимать, но они уже все, не щадя колена, падали в изъезженную машинами, слегка подстывшую грязь, замирали одна за другою в земном поклоне.

Коробейников первым побежал к вагончику, за ним — Тауб. Последним, то и дело ошалело оглядываясь, боком бежал Михась. Долго искал ногою ступеньку, все-таки промахнулся и, пожалуй, упал бы, если бы Коробейников не подхватил его под мышку.

Потом они сидели в вагончике за столом: мать Евдокия и Тауб. Распределяли деньги. Часть — на одежду и обувь. Кто хочет — на посмертное... Но лучше пока не умирать. Так?.. Так. Зачем теперь-то, если в доме тепло и на Новый год будет праздничный стол обязательно с индейкой и мандаринами. Коробейников уже послал в Кишинев машину. Немножко — на это, да. На праздник. Остальное — на ремонт их общего дома. Так?.. Так. Помогали старые женщины укладывать эти тяжелые поребрики? Из последних сил. И все видели, как они стояли у дороги с лопатами. Почему же теперь, когда дорогу, наконец, сдали, когда годовой план — вот он, уже в кармане, не отозваться на их просьбу, не помочь им с ремонтом?.. Хотя объем работ небольшой, деньги невеликие, прямо сказать, но и это туда — на план!

Комар носа не подточил бы — так оформляя Тауб все эти соглашения да все наряды на ремонт — все бумаги.

Тоже — как чувствовал.

Потому что стоило им ремонт закончить, как почти тут же кое-куда пришла анонимка. За подписью: Доброжелатель.

Доброжелатель сообщал, что управляющий трестом Коробейников за крупную взятку, которую он получил от монахинь не только деньгами, но также золотом, церковной утварью и старыми, которым цены нет, иконами, за государственственный счет восстановил монастырь, этот рассадник религии, которая, как известно, не что иное — как опиум для народа...

Я тут — кратко, но письмо пришло длинное и написанное, говорят, со слезой — знать тому, кто сочинил его, было о чем плакать...

В трест одна за другою нагрянули комиссии. Коробейникова начали таскать по инстанциям.

Он замкнулся и всюду отмалчивался.

Пожалуй, венецианские дожди призадумались бы, глядя на гордо молчавшего Коробейникова. Но нашему чиновнику на гордость пока — плевать.

— Ну, хорошо! — в который раз начинал я об одном и том же, когда он приехал в Москву: не правды искать, нет — по товарищам походить да позвонить от них в разные концы: где нужен железный начальник управления или уж, черт с ним, хотя бы старший прораб с хорошим стажем. — Ну, хорошо!.. Хотели, говоришь, чтобы ты покался. И пошел бы навстречу! Ну, и покался бы!.. Убыло бы от тебя, что ли? Чего это в наше время стоит-то? Сейчас все каются.

Он ммуро усмехался, усы его ползли в сторону:

— Думаешь, так-таки — ничего?

— Покался бы и поехал в свою Африку! Что стоит, в самом деле, сказать: виноват, больше не...

Он перебивал:

— Считаешь — виноват?

— Да не в этом же дело: виноват ты или несколько не виноват! Покаяться, да и все — вот в чем дело!

— А учиться мне, как ты думаешь, не поздно?

— Есть вариант?.. Куда ты хочешь — учиться?

— Каяться, имею в виду.

— Опять двадцать пять!

Так и шел разговор по кругу, так ни до чего мы тогда и не дотолковались.

Это перекасти-поле опять отломилось от корешка и понеслось под ветром, и понеслось — опять на Север...

Занятый тогда одним желанием — тут же, немедленно помочь ему, так я тогда и рассуждал: отломился от корешка...

И только потом вдруг однажды понял: так, да не так. Не так, нет!..

9

Теперь, когда мои записки подходят к концу, пожалуй, трудно доказывать, что так оно все и началось: разрешил любимому сюжету потешиться.

Сделать это собирался я вообще-то давно: не остужать себя, когда однажды вот так в тебе закипит, а отодвинуть все в сторону и по горячим, как говорится, следам попробовать тут же воссоздать, что привиделось тебе в счастливую минуту вдохновения, озарения, что ли... Но одно дело, например, стоять на вершине холма где-нибудь в малознакомой пока тебе местности и при свете молнии вдруг увидеть дорогу: вот же она, вот!.. И совсем другое дело — пойти по этой дороге. Сколько поворотов, сколько будет развилок, сколько неожиданных больших и малых препятствий!

Начал я писать дома, в Москве, и думал, выйдет короткий, стремительный рассказ о Коробейникове, потом привез рукопись с собою в Горячий Ключ, на Кубань, где был в отпуске, и тут, работая, сперва потихоньку, а потом все ясней начал понимать, что так просто мне с Максимом не разойтись — он и здесь характер свой начал показывать.

Связи с ним как раз не было — это его короткое «до!» иногда ведь могло растянуться не на один месяц, а писать ему письмо, зная, что он почти наверняка тебе не ответит... А ведь что-то мне нужно было уточнить, что-то еще раз прояснить для себя — требовала работа.

Из Горячего Ключа я позвонил Таубу, начал его спрашивать о Нягине, и он закричал в трубку: «Зачем вам Нягинь — то дело прошлое!.. Зачем вам Нягинь, если я вас жду в Кишиневе? Как я понимаю, вы где-то рядом?.. Садитесь в поезд, я вас встречу, и на следующее утро мы с вами уже выедем на машине. Вы меня мало знаете, так учтите: Тауб — как пионер. Всегда готов и всегда вас ждет!»

Конечно, я не поехал — сидел и писал дальше, а потом вернулся в Москву, вышел на работу и, чтобы закончить эти записки, которые давно уже переросли рамки рассказа, уже раздвигали границы повести, начал вставать не в пять, как обычно, а в четыре часа утра, в три часа ночи — в самый глухой и тихий час.

Но все это было уже потом, после, а в тот первый день, в те минуты, когда *вот-вот всадники были готовы взмыть над пологом, в рыжий цвет окрашенным осенью холмом, и эта фантастическая картина неожиданно перебилась другим видением — клокочущий от ярости Коробейников, задним ходом подгоняющий машину к стене монастыря, прыгающий с нее во двор, словно коршун, сложивший крылья...* в тот первый день, в те минуты, мне это показалось таким простым: взять да и рассказать...

Как по клетке, ходил по комнате, по тесному своему, заваленному бумагами рабочему кабинету, подошел к низкому шкафу, на котором уступом стоят книжные полки, достал из ниши круглую кружевную салфетку, отодвинул тетрадку на столе, положил ее на место, в который раз начал опять рассматривать узор: все-таки — что это?.. И как бы большой цветок со всем этим своим — околочетьем, венчиком, тычниками, лепестками. И как бы шар перекасти-поля с причудливо заплетенными ветром-степняком узелками... может, все-таки он? И как бы дерево. Сверху. С той единственной точки, если глядеть ему в макушку. Вот она, в сердцевине, макушка, а по бокам от нее и ветви, и соцветья,

и тут же рядом с ними — плоды, а все это вместе — густая пышная крона, под которою ясно проступают мощные извивы корней.

Кружевную салфетку привез мне Тауб — по поручению Коробейникова естественно. Отдавая, говорил, говорил: «Максим Павлович, когда звонил в последний раз, сказал мне: пусть будет ему на память. Это добрая память, поверьте!.. Каждая вещь имеет свою цену, и вы это хорошо знаете. Так этой — нет цены, нет! Ах, что вы, вы совсем не так меня поняли!.. Нет-нет, я говорю не о финансовой, а как бы о моральной стоимости... как бы это вам объяснить?.. Кем и как она сделана? С душой или без души... Или вы меня уже поняли?.. А розничная цена, извините меня, какие-то пять рублей — разве старый Тауб не может позволить себе такого подарка?.. Дела у наших старушек я веду на общественных началах, как нынче модно говорить — безвозмездно... Но должность-то, должность моя позволяет!.. Ах, Максим Павлович, Максим Павлович! Любую бумагу я подписывал ему всегда сразу, но тут, когда началось все это, с ремонтом, он мне сказал: запомни, Семен!.. С самого начала ты был против этой моей затеи, и поэтому ты ничего не подписываешь — вместо двух подписей, твоей и моей, везде будет только две моих. Имею я право?.. Да, имею! А ты был против, запомни!.. Он взял и поставил меня за свою широкую спину, он это умеет... Сказал: так надо. Кому?! Ему, что ли, было надо?.. И я остался при должности, так могу я позволить себе такой подарок его товарищу?»

Все это он нарочно весело говорил, но в страдающих его глазах читалось другое: «Неужели и вы так думаете, что я опять должен ехать вслед за ним — опять на Север?! Другое дело Михась: чем выше у него будет заработок, тем больше алименты, которые он платит, но как в эти собачьи холода — с двумя близнецами?!»

Но в тот первый день, когда я рассматривал твердую от крахмала круглую кружевную салфетку из белых ниток, я еще боролся с собой.

Потом! — сказал я себе. — Об этом — потом.

Положил салфетку на место. Пусть она подождет.

Повидаешься еще разок с Коробейниковым. Нагрнешь к Таубу в Кишинев, и вместе вы съездите к старушкам. И ты посмотришь на этот самый котилец, из которого сложены стены монастыря. Потом!..

И я положил салфетку в нишу на шкафу.

Вернемся, приказал себе, к нашим лошадкам. Ведь сюжет о них — тоже не из последних. А главное — даром, ведь ну буквально за так достался!

Вот говорят: лошади по несли. Вы видели когда-либо эту картину?

Однажды поздней осенью я ехал в рейсовом автобусе из Краснодара в Майкоп. День был теплый и удивительно ясный — прямо-таки прозрачный был день. Такие деньки выпадают обычно в конце ноября, когда ветры покончили наконец с листвой и выдули заодно последние запахи сытого лета, когда уже хорошенько потрудились дожди, прополо-скали, промыли все вокруг, и щедрое солнце является словно для того, чтобы всем добрым людям показать, насколько тщательнее все это проделано... Над ярко-зеленою озимью тогда тонко сквозят вдальке макушки черных деревьев, а чистое, без единого облачка, голубое небо отодвигает горизонт до молочно-белых снегов на вековых кавказских вершинах. В такие дни все вокруг заполняет благостная тихая теплынь — такая тихая, что идущие домой школяры на пальце, продевом в петельку для вешалки, волокут по земле длиннополые свои пиджаки, а сидящие на лавочках распокрытые, с платками на плечах старухи глядят на это явное безобразие не только умиротворенно, но даже как будто с умилением...

Автобус был большой, новенький венгерский «Икарус», и по широкой, меж озимей, асфальтовой дороге катил торжественно, как раздумавший взлетать авиалайнер, который впервые присмотрелся к земле.

И вдруг он резко затормозил, смолк двигатель. Всех сильно качнуло, все тут же вытянули головы.

Впереди круглился затяжной поворот, на котором дугою замерла цепочка машин, и промежуток, оставленные железом с привычными глазу формами, толчками наполняло исчезавшее тут же стремительное живое движение. Чем ближе стояли к автобусу машины, тем короче были меж ними разрывы, мельканье участилось как пульс, но запоздавшее сознание, наконец, донесло: навстречу несутся лошади.

Послышались яростные удары копыт и бестолковое, тут же глетаемое натягом, громыхание брички, взметнулись за окном задранные — бешеный зрачок под спутанной челкой, пена в белом оскале — головы, в новом броске кожа на спинах у лошадей дернулась, уже на той стороне канавы заглясали мощные крупы, отчаянно наклонилась пустая бричка, и вот уже из-под ног у них брызнула черная земля, две рваные полосы от колес остались на краю поля, а они помчались теперь по зеленым, вынеслись на плоский курган с густым терновником по гребешку и, показалось сперва, завязли, но вот перемесили его, судорожно перемяли, выломались — и покатились дальше.

— Бурка с Гнедом, — на вздохе сказала сидевшая позади пожилая женщина. — Не поубились бы!

Ударили по ногам барки? Не привыкли к упряжке? Слишком близко прошел, смрадом обдал тяжелый рефрижератор? Обидел тут же соскочивший с телеги конюх?.. Или одной из лошадей накануне приснился страшный сон и она его неожиданно вспомнила?

Но точно так же не хотел ждать перед светофорами, так же не желал вписываться в обычную суету, искал прогала в ней, выламывался с городского асфальта на обочину этот сюжет о лошадях.

Прошлой осенью я возвращался с работы, когда навстречу мне поднялась со скамейки у подъезда одна из сидевших там обычно старушек, сказала с любопытством в глазах:

— А к вам люди приезжали. На лошадях!

Конечно же, я невольно переспросил: это как же, мол, так — на лошадях?!

— Да так! — развела она руками. — Верховые... ну, всадники. Сперва думали, конная милиция, а потом глядим: в чересках и в шапках этих, что на Кавказе носят...

— А-а! — начал я догадываться. — Спасибо! Жаль, меня не было — эх, жаль!

— Да и они жалели, и мы все, — начала сидевшая на скамейке другая пожилая женщина, но я уже открыл дверь и лишь выглянул теперь из-за нее: «Спасибо, спасибо!» С ними только остановись!

Как раз в эти дни я готовился отнести в издательство первую в жизни книжку очерков, и были в ней среди прочих два цирковых: о клоуне Куклачеве, о знаменитом теперь «кошатнике», и об осетинских наездниках Кантемировых, о джигитах. Написаны они были довольно давно, кое-что пришлось теперь уточнять, и накануне я звонил Ирбеку Кантемирову, расспрашивал его о ребятах: кто уже из цирка ушел? Кто еще выступает?

Дома я у сына спросил:

— Давно появился?

— Только что.

Хоть он вовсе не был виноват, я его укорил:

— Вот видишь! А к нам заезжали дядя Ирбек с джигитами.

Он так же коротко бросил:

— Мне сказали.

Повесил мой плащ и пошел в свою комнату: деловой.

— Ты по телефону там? — крикнул я ему вслед.

Он выглянул:

— Нет, а что?

— Позвоню сейчас. Расспрошу, куда ехали.

Сразу дозвониться я не смог. Ирбек был в цирке, а когда застал его на следующий день, раненько утром, он рассмеялся в трубку:

— Ты что-то путаешь!.. Никуда мы не ездили ни вчера, ни перед этим. Кто теперь по городу ездит? Это раньше! В любую область летом приедешь, и, как часок выдался, так с ними — на речку... А теперь города поразрастались — из центра не выбраться, а где речка в центре — там набережная, бетон... нет-нет!

— Может, Мухтарбек со своими каскадерами куда-либо ехал? — спросил я Ирбека о младшем брате.

И опять: нет-нет, Миша сейчас на Украине, под Киевом, со своими головорезами снимается, только вчера звонил.

— Странно, Юра! — сказал я Ирбеку. — Ничего не принимаю.

— Знаешь, когда мы последний раз по Москве ездили? — слышался мягкий, как его кавказские сапоги, голос Ирбека. — Когда у нас Казик с рукой лежал — тогда!

Ох, эти сюжеты во мне — словно почки на весенней вербе!.. На какой веточке задержался солнечный луч, в какую посылить сок ударил — и та уже первая сбросила иссохшую шелуху, брызнула тонкими острыми листочков... Или все это — те долги, которые никак не можешь раздать? Или, наконец, — рассказ о любви?

Ведь записки о Коробейникове уже подходят к концу, а о любви пока — ни слова и ни полслова! А что же это за повесть, что же за роман такой — без любви?

Представляю, с какой гордостью приводят к Ирбеку Кантемирову, когда бывает в Осетии, своих маленьких внуков и его ровесники, которым уже под шестьдесят, и мужчины постарше: «Это ли не джигит, Ирбек! Возьми к себе мальчика — не пожалеешь!»

Что им впереди мерещится? Громкая, как у Ирбека, как у них у всех, у Кантемировых, слава? Уважение земляков? Поездки по дальним странам?

Ой, как сперва до всего этого далеко!

А сначала будут двойки в тех школах по областным городам, где цирковые дети давно уже у всех в печенках, — но что ему двойка, если вчера он на свои трудовые весь класс водил в кафе есть мороженое и назло ей, зануде-математичке, туда же поведет его и сегодня?.. Что ему подзатыльник молодого служителя, если он все-таки успел подержать через решетку за усы старого тигра?.. Что ж, что ребята постарше, земляки, закрыли его за шалости в уборной, где можно развалиться на сложенных в углу бурках, — если перед этим не раз и не два он закрывал их в другой уборной, где не то что лечь — присесть, извините, можно только на корточках?

Не без успеха освоив традиционные цирковые проказы, Казик пошел дальше — ему удалось-таки поймать мышшь. Он выпустил ее на манеж, когда во время репетиции шесть кошек держались у клоуна Куклачева на руках и на плечах, а седьмая возвышалась на голове. Эта, седьмая, оттолкнувшись,хватила клоуна когтями по лбу, и тот бросился за Казиком куда проворней, чем все его хваленые кошки за бедной мышкой... Но потом они с Казиком горячо подружились.

Когда Казик упал с лошади и сломал руку, его отвезли в Первую Градскую — не так далеко от нового цирка, где они тогда выступали.

— Че случилось-то? — спросил его сосед по палате, вот уже год проживший в больнице и не то что другим — уже и сам себе давно надоевший «самолетчик» — парень с рукою в лубке, закрепленном на уровне плеча.

Казик честно ответил, что упал с коня.

— У бабки в деревне?

— В цирке! — не без гордости сказал Казик.

— И че ты там шарился? — спросил насмешливо «самолетчик».

Казик гордо ответил:

— Выступал!

— Ты?! — не поверил тот. — В цирке?.. Выступал? Ой!

Самому ему прострелил плечо пьяный дружок, и «самолетчик» был теперь горячо убежден, что нет большей мужской доблести, чем пострадать вот так на охоте. И для нача-

ла он послал Казика с его цирком просто куда подальше, а потом начал посылать с поручениями — принести из холодильника кефир, купить в буфете сигарет, отнести сестре градусник... Как настоящий кавказец, Казик старшему подчинялся, но ночью, ткнувшись в подушку, скрипел зубами («Опять сахар жрешь?» — кричал «самолетчик») и молча глотал слезы. Достоинство Казика страдало. Что ж, что он, может быть, еще и хорошо не знал какого слова — мальчики зато остро чувствуют то, что за ним стоит. Это мы, которые всякому слову можем найти объяснение и все по полочкам разложить, от этого самого достоинства, бывает, пытаемся избавиться, как от ненужной вещи: обременяет... лишает легкости в движениях, расторопности, поворотливости... Мешает! И где-нибудь не в таком плохом месте, в каком-либо светлом и просторном, со множеством телефонов, кабинете, глядишь — и оставили, и забыли его. Вроде случайно.

Когда Казика пришел проведать Куклачев, сосед на того почти не взглянул, зато, когда клоун попрощался и на вопрос, что это за мужик был, мальчик ответил, что это друг его приходил, клоун, «самолетчик» равнодушно зевнул:

— Это с такой-то харей?

Как-то Юра Куклачев мне рассказывал; ехал он однажды в такси на «Мосфильм», уже здорово опаздывал и попросил водителя поднажать. Тот не вытерпел и спросил: «А чего ты туда спешишь?» — «На пробу!» — сказал Куклачев. — Сниматься!» И таксист точно так тогда и сказал: «Это с такой-то харей?!»

Может, этот самый таксист и оказался теперь соседом Казика, как знать.

А может, был он просто из тех людей, которые ни за что не улыбнутся прохожему, но зато, когда придут в цирк и в кресле поудобней усядутся, тут уж ржут до упаду и от артистов только того и требуют: уж на мои-то кровные рупь пятьдесят смешного мне отвесь полной мерой, не жмись! Отдай — не грехи, уполчено!

Казик его возненавидел.

Когда в палате появился Ирбек, мальчишка сорвался: если, кричал, его отсюда не заберут, он или выпрыгнет в окно, или стукнет «самолетчика» табуреткой по башке, — почему тот не верит, что Казик — настоящий джигит?.. Почему над этим издевается?

— Потому что у тебя глаза на мокром месте — может, ты барышня? — сказал Ирбек. И больше ничего не сказал.

Но в десятом часу вечера, когда они уже отработали номер, вместе с четырьмя молодыми всадниками Ирбек выехал из циркового двора — все они были в бурках, в папах, все — с хлыстом в руке, все — с ружьями за спиной.

Они повернули направо и обогнули цирковую площадь. Из «стакана» на проспекте Вернадского тут же раздался звук полицейского свистка, сверху спустился по лесенке молодой капитан и бросился им наперез, но Ирбеку это было и надо. Он легко соскочил с коня и наставил на подбегавшего «гаишника» палец:

— У тебя мальчик или девочка, капитан?

— Сын! — с гордостью сказал милиционер и невольно расправил плечи, и приложил к фуражке руку, на которой висела полосатая его палка.

— Ты приводил его в цирк?

— А как же! — еще больше подобрел капитан. И тут же что-то припомнил. — Ты — Али-Бек?

— Али-Бек был мой отец. Так, как звали его, называется теперь вся наша группа, — поправил Кантемиров. — Я — Ирбек. Ирбек Алибекович, если хочешь!

Капитан протянул руку, на которой висела палка:

— А я — Григорий Петрович... Эх, знать бы — сына б захватил на дежурство!

— Лучше ты еще раз приводи его в цирк, — сказал Ирбек. — Вместе ходим с ним за кулисами... Пока мы тут — хоть каждый день приводи. Контрамарка всегда за мной, — скажешь на проходной, чтоб позвали... А пока — может, проводил бы нас до Первой Градской? Мы хотим проведать нашего мальчика.

Капитан бросил взгляд на «стакан», в котором сидел и смотрел на них совсем молодой сержант, и сделал ему знак: оставайся, мол, за меня!

Потом он завел свой желтый «жигуль» с синей полосой на боку, выехал на середину дороги, включил мигалку и покотился впереди, а они на рысях поскакали за ним по осевой...

На пятачке асфальта перед больницей Ирбек пустил своего Семестра, своего умницу Сему по кругу, и остальные тоже начали кружить вслед за ним — сначала потихоньку, а потом все быстрее и быстрее... Когда кони попривыкли к новому месту, Ирбек негромко крикнул, и всадники бросили стремена, ногами в мягких своих сапогах стали на седла, в полный рост выпрямились, и в правой руке у каждого блеснул клинок.

Отстукивали дробь в ночной тишине подковы, хрустели под копытами камешки, взрывались синими искрами. Тяжело развевались черные бурки. «И-эх! — негромко вскрикивали лихие всадники. — И-и-ех!..» И под единственным фонарем молнией высверкивали и тут же гасли очерченные клинками круги.

Когда четверо из них стали по углам, а Ирбек в середине квадрата соскочил с коня, и его серый, в яблоках, его ф а р ф о р о в ы й, как определял один знаток лошадей, в мушкетерах, Сема выставил переднюю ногу и вытянул над ней шею — мордочку до самой земли, таким образом низко кланяясь, — когда они стали так и все подняли, наконец, головы, посмотрели на окна, то все окна на всех этажах сплошь были залеплены лицами с расплюснутыми носами: столько зрителей собралось.

Тут же носы отлипли и почти разом появились ладошки и раскрытые пятерни: было похоже, что все вдруг принялись протирать стекла.

Они подождали, пока откроется окно на четвертом этаже. Казик был в докторском белом колпаке и в теплом халате, который набросила на него стоявшая позади и перехватившая его рукою поперек груди пожилая сестра.

— Эгей! — закричал Казик. — Я скоро отсюда выйду!

И еще что-то закричал по-осетински.

Ирбек вскочил в стремена, натянул повод, и Сема стал привставать на задних ногах и приподнимать передние — делал «свечу».

К Ирбеку подъехали остальные и стали по двое по бокам. Они горячили коней, тут же их сдерживали и потряхивали ружьями в вытянутых руках.

— Поправляйся, Казбек! — закричал Кантемиров. — Нам трудно без тебя... ждем!

И они стали разворачиваться на месте, и Ирбек первым пришпорил своего Сему.

— Действительно, без него трудно! — сказал он капитану Григорию Петровичу, когда они выехали на улицу и стали поправлять лошадей на подпрути. — Мать каждый день звонит: когда он вернется, наконец, из поездки в другой город?.. Один дед знает, а ей я решил не говорить. Она одна, целыми днями работает. А отца нет.

— Понятное дело, — сказал капитан Григорий Петрович. И вздохнул.

— А джигит должен расти джигитом, разве не так?

И добрый капитан Григорий Петрович подтвердил:

— Только и только так!

Потом он завел свой желтый «жигуль» с синей полосой на боку, снова включил мигалку, и снова они поскакали за ним по осевой полосе...

Назавтра Казик шел по больничному коридору в сопровождении всех, какие только лечились в отделении, «самолетчиков». Пользуясь летними терминами, можно сказать, что он вел три или четыре звена, или, если хотите, целую эскадрилью «самолетчиков». Все они расспрашивали его о джигитах, но Казик, как и подобает настоящему горцу, был немногословен, а то и вообще помалкивал.

После завтрака к нему подошла сероглазая, с длинными пшеничными волосами девочка в больничном халатике и спросила, можно ли с ним поговорить. Они отошли в створку и стали у окна во двор.

— Я слышала, как врачи говорили: если не случится чуда, то я умру, — печально сказала девочка. — А вот вчера было чудо, но я его не видела, мне давали снотворное... Значит, я и точно умру!

— Какая чепуха! — рассмеялся Казик. — Тебе сколько лет?

— Двенадцать, — ответила девочка.

— А мне тринадцать, — сказал Казик. — Ты подумай: если нам с тобой столько лет, почему же мы должны умереть?..

— Я не говорю: мы, — поправила девочка. — Я говорю: я.

— А ты почему должна?.. Кто тебе сказал? Ха!

— Сказали врачи. Если не случится чуда...

— Ты подожди немножко! — попросил Казик. — Только я выпущу, и тут же будет тебе такое чудо! Подождешь?

И девочка обещала подождать.

Казик теперь не скрипел зубами, спал хорошо, и каждую ночь ему снилось почти одно и то же: бьют цирковые барабаны, манеж заливают яркий свет, и он выезжает на своем вороном коне на середину манежа, а перед ним, свесив ноги на одну сторону, сидит девочка в белом платье и белом, как у невест-осетинок чепчике с жемчужными струйками по бокам... Барабаны смолкают, и в наступившей тишине слышится грозный голос:

«Это еще что за номер?!»

«Это моя жена Марина, Ирбек! — смело отвечает Казик. — Я ее спас от смерти!»

«Ты поступил как настоящий мужчина! — добреет знакомый голос. — Теперь ты — настоящий джигит!»

И грозный Ирбек Кантемиров соскакивает со своего жеребца, идет к ним и с холки у вороного снимает девочку в белом платье и в белом чепце со струйками жемчуга по бокам, а потом подает руку Казiku... Снова бьют барабаны, поздравить их бросается клоун Куклачев дядя Юра, но тут же неловко падает, встает и снова идет к ним, нарочно прихрамывая, еще издали тянет правую руку, а левую смешно потирает ушибленный бок...

По утрам его будил «самолетчик». Когда Казик открывал наконец глаза, тот пикировал на его тапочки и пододвигал их поближе к койке:

— Сколько можно дрыхнуть?.. Люди сказали, ждут тебя, а ты опять пропускаешь завтрак!

Но Казик не шел в столовую. Он набивал карманы орехами, которые прислал ему дедушка, и сразу бежал на третий этаж, в палату, где лежала Марина.

Когда Казика выписали, девочка поцеловала его и сказала, что помнить она его будет всегда, но они больше не увидятся.

И Казик спешил.

После первого же представления днем, когда они уже перестали вываживать коней, он незаметно потащил своего вороного в сторонку, на цыпочках прошел мимо гардеробной Ирбека. На выходе вахтерша спросила, куда это он собрался, но Казик уже знал, что ей ответить: на улице его ждет фотограф. Перед этим он снимал в цирке конников, но Казика тогда не было, болел, и фотограф теперь снимет его отдельно.

Вахтерша махнула рукой, и через дверь служебного хода он вывел вороного на улицу.

— Куда это он? — спросил вахтершу случайно заметивший это клоун, который подошел к ней с кошкой в руках.

Вахтерша объяснила ему, и клоун, поглаживая свою кошку, постоял в задумчивости, потоптался на одном месте, потоптался — и быстро потом пошел к себе в уборную.

Сперва он хотел было переодеться и снять грим, но потом понял, что времени на это у него нет, и только махнул рукой своему отражению в зеркале.

— Тоже, что ли, фотографироваться? — спросила его вахтерша.

Он снова только махнул рукой.

Такси он поймал не сразу, да и ехали они потом медленно, потому что на этот раз молодой водитель давился от

смеха, дважды нарушил правила, и талон у него остался целым лишь потому, что всякий раз начинали улыбаться и подхихивать к ним «гаишники».

Когда Куклачев приехал, наконец, к Первой Градской, Казик в бурке стоял на седле и, приставив ко рту ладошки рупором, громко кричал:

— Марина! Марина, эй!

Потом он закричал:

— Марина, где ты?! Смотри и — не умирай!

Потом он закричал:

— Разбудите Марину, пусть выглянет!

Открылось окошко на четвертом этаже, в нем появился «самолетчик».

— Чего орешь, Казбек? — крикнул негромко. — Ее уже увезли!

— Куда?! — задрал голову Казик.

— Куда-куда! — сердитым голосом негромко закричал «самолетчик». — Сам лежал, знаешь... Куда человека увозят?.. Когда помрет...

Куклачев снял Казика с седла, хотел поставить на землю, но ноги у мальчишки подкашивались, он весь дрожал, и клоун прижал его к себе, прикрыл пятерней голову — папаха упала. Мальчика трясло, и вороной влажными губами потыкался ему в ухо, понюхал вихры, которые выбивались из-под растопыренных пальцев клоуна, задрал морду и громко, обиженно заржал...

Так и шли они обратно втроем: одною рукой клоун вел под уздцы коня, а другою поддерживал мальчика в длинной, почти до пят, бурке.

Все, кто видел их, еще издали начинали улыбаться и переставали потом, когда подходили к ним совсем близко.

И многие, пройдя мимо, останавливались и провожали их погрустневшими глазами: так провожают обычно траурную процессию...

Или вы хотели — о другой любви?

О какой?

Лет пять или шесть назад, тоже поздней осенью, я поехал в Буково, в поселок астрофизиков, расположенный совсем рядом с родными моими местами.

А перед этим произошло вот что: купить билет я решил в железнодорожных кассах у «Метрополя», чтобы повидать заодно старую знакомую, работавшую там кассиром, отдать ей последнюю свою книжку — давно обещал.

Билет я уже купил, но знакомой не было, работала через день, и тогда я подошел к ее сменщице — пожилой, лет за шестьдесят женщине, совершенно седой, без всяких следов косметики на симпатичном лице, с пышным кружевным воротничком над темно-голубым форменным жакетом.

— Можно оставить книжку для Надежды Ивановны? — Отчего же нельзя? — улыбнулась она. — Пожалуйста! Будьте добры, передайте ей. — А-а, вот вы кто! — увидав обложку, протянула она теперь таким тоном, каким говорят: «Попался!» — Опять вы — про завод?.. Надя давала мне читать. А про любовь вы не пишете?.. Есть тут хоть что-нибудь про любовь?

— Разве что рассказ про хоккей...

— Как называется?

— Так и называется, — сказал я. — «Хоккей в сибирском городе».

Народу в зале было совсем немного, стояли у других окошек, и женщина раскрыла книжку в конце, где оглавление, приставила к странице ноготок мизинца, без маникюра, повела им по строчкам. Нашла рассказ и заглянула в начало...

А этот рассказ так начинается: «Не знаю, как оно вышло — скорее всего проговорились девчата с междугородной, — но уже рано утром весь город знал: когда после игры, уже глубокой ночью позвонил жене из Саратова капитан «Сталелавильщика» Витя Данилов, трубку взял ее халхаль и по дурацкой своей привычке спросонья брякнул: «Хоменко слушает».

— О! — сказала женщина, отрываясь от книжки, и там,

за своим окошком, сунула ее куда-то под стойку — так на уроке алгебры, когда их застучали, школьницы прячут Мопассана... И тут же вдруг засмущалась — на симпатичное, с правильными чертами лица лег румянец, и правда — порозовели и маленькие ее, под седыми прядями, уши, и даже шея над кружевным воротничком стала слегка малиновой.

— А что, если я не буду ей тут оставлять, а возьму домой, вы позволите? — спросила, глядя на меня уже и с явным интересом, и как бы даже с большим одобрением. — Прочитаю, а завтра отдам.

Ну, конечно, сказал я, конечно!.. Спасибо, сказала она, спасибо!

Но этого — «опять про завод?» — я ей сразу простить не смог, не хватило великодушия, ну, не хватило!.. Да и мысли были заняты, признаться, другим. Оттого-то, выйдя на улицу, я только горько усмеялся. «Ах ты, — подумал, — старая гримза! Сто лет в понедельник, а — туда же?!»

Но и в дороге, в поезде, и в Букове потом я все вспоминал об этом разговоре, о том, как засмущалась женщина, как, совсем пожилая, похорошела вдруг и даже будто помолодела.

«Как ты не поймешь? — внушал я себе. — Выходит, вот чего людям надо. А ты им — про свой завод!..»

В Буково я приехал тогда не от хорошей жизни, и только сегодня, несколько лет спустя, более или менее связно могу объяснить — зачем.

За год перед этим у нас погиб мальчик, младший наш сын, все мы были выбиты из колеи, все жили на трудном, натянутом, как ненадежная бечева над страшною пропастью, пределе, и это был не только предел сердца — и разума тоже. Не дай вам Бог.

В чем только не ищет душа хоть слабого утешенья, что только не покажется ей знаком от туда. Откуда это, спросит иной, — от т у д а? Не знаю. Но так оно и есть: ждешь.

Постоянное присутствие мальчика где-то рядом, может, во мне самом, я ощущаю и сейчас — тогда я чувствовал его особенно остро.

В Кисловодске, где тогда лечился от стенокардии, в комнату ко мне залетела весной желтая канарейка, смелая и любопытная птица — такую она, конечно же, стала в том доме, где ей совсем неплохо, выдать, жилось. Может, заблудилась теперь или выпорхнула по дороге, когда в гости несли — попеть, а может, улетела с базара, когда ее вдруг надумали продавать, кто знает... Но вела она себя удивительно дружелюбно.

С подоконника желтый комочек бросался вдруг на стол, где лежали мои бумаги, тут же канарейка делала еще несколько подскоков бочком, замирала совсем близко и внимательно глядела на меня одним черным глазком.

Как он бередили мне душу, как ее испытывал, этот неотрывный взгляд малой птицы!

Всякий раз он был словно настойчивое приглашение к тайному и безмолвному, без единого звука, разговору, в котором не имеют значения слова, вообще их быть не должно — хоть что-либо в нем едва расслышать способна лишь сокровенно замершая душа, не догадаться — только приблизиться к разгадке может лишь древнее чутье, вовсе не твое, и даже не твоих предков, нет — словно одолжение у всех, кто был на земле до тебя.

Не знаю, откуда, но я тогда точно знал: нельзя говорить, нельзя спрашивать. Ни о чем. Только тогда возможно свидание. Любое слово разъединит.

И я только легонько кивал пичуге: ну, что, мол, ты?.. Видишь, как я тут?.. Все-таки останешься на немножко?.. Тебе можно? Побудешь тут?

Когда уходил из комнаты, окно не закрыл. Но знал твердо, что она в комнате останется.

Она осталась. Три дня потом я кормил ее хлебными крошками, посыпал размятый пальцами сыр. Поставил на промокашку на столе блюдце с водой. Она вскакивала на край, цеплялась за него розоватыми, совсем еще без роговых чешуек, лапками с остренькими, скребущими по сердцу

коготками, наклонялась к воде, запрокидывала потом голову, и крошечные капельки стекали у нее по желтой, с зеленоватым оттенком грудице — совсем рядом от меня. Переставала пить и снова смотрела одним внимательным и, казалось мне, сердобольным взглядом...

Не знаю, что больше мне помогло тогда в Кисловодске: эти знаменитые ванны и все другие предписанные врачом процедуры или же тихое сидение крошечной птахи напротив меня на столе, странный ее словно пылливый взгляд, от которого, как ледышка, взятая в теплую ладонь, постепенно оттаивала совсем было убитая смертным холодом надежда.

Потом я собрался в обсерваторию, в Буково.

Хотел разобраться в устройстве мира?.. Или хоть побыть рядом с теми, кто сделал это своей профессией — разбираться ночью и днем, как он устроен?

Говорят, Рабле сказал перед смертью: «Занавес опускается, комедия вся. Я отправляюсь на поиски великого «быть может».

Отсюда следует, насколько это «быть может» занимало его при жизни... Одного ли его?.. Или, как бывает с великими, он сказал это за нас всех?

Не исключено, что вела меня туда и постоянно живущая рядом с тщетой гордыня...

Обсерваторию ведь недаром построили в наших краях. Попросту говоря, там самое прозрачное небо и самые ясные звезды. Какую высоту счастья постоянно обещали они, когда тихими ночами глядел на них в юности!

И вот теперь, согнутый бедами, почти раздавленный, уничтоженный, хотел протянуть ввысь измятую в кармане бумажку со своим личным счетом... Может, и так.

Это тема особая: крошечный поселок на уютной поляне среди букowych лесов, чуть ниже которого, в долине, крепко спят в давнем забвении полуразрушенные остовы древних храмов, а гораздо выше, уже в горах, ночи наполнены неусыпно бодрствует башня большого телескопа с нацеленным в далекие миры пристальным земным оком... Это тема особая, по многим причинам не хотелось бы касаться ее мимоходом, все, если хотите, поминать, но писательство — жесткая штука, и мне остается, как в старину говаривали, уповать лишь на одно: те, кто смотрел тогда на меня как на сумасшедшего — а так оно отчасти и было, — пусть думают и сейчас, что говоримое мной — плод больного воображения; а те, кого я полюбил, кто понял меня, кто крепким чаем с калиной напоил, согрел дружеской полноценной беседой, прислал потом письмо со словами дружелюбия, кто сотворил в моей душе этот маленький маячок с негаснущим светом — Нижний Архыз, поселок астрофизиков, Буково, — они поймут и простят.

Куда тут денешься: видим не только то главное, что нам специально показывают, на что настойчиво обращают внимание, замечаем и вроде бы пустячок, и вроде бы не имеющую никакого отношения к делу подробность; слышим не только то, что громко втолковывают, — справляет вдруг торжество случайно кем-то оброненное, вовсе не нам предназначенное слово...

Может быть, так устроен?.. Начинаешь вдруг понимать, как тесно во всех нас переплелось возвышенное с обыденным, как неотделимо соседствует оно с земным, плотским — и это всего лишь в одной-единственной душе, в одном микромире; но как соседствуют они, как проникают одно в другое, как ранят, врачуют, борются, покоряют друг друга, презирают, защищаются, жаждут, тянутся, ненавидят, облагодетельствовать хотят, когда не просят, к свету тянутся, к правде, к добру — сосуществуют... И замечаешь вдруг, что у этих молодых женщин, у всезнающих и аблюдательных теоретиков, которым и правда меньше всего дела до самих себя, которые и питаются-то как птицы небесные — пророщенными зернами пшеницы да семечками подсолнуха, — глаза наполнены понятной бабьей печалью; и понимаешь, что ясной, без тучек, ночи один ждет с трепетом потому, что, с термосом крепчайшего кофейка забравшись в наблюдательскую кабину, в «станок», сможет продолжить то, чего не успел накануне, — а

другой ее ждет лишь для того, чтобы точно быть уверенным: этот, с термосом, который на своем «красном смещении» помешался, слава Богу, не будет ночевать нынче дома...

По-разному, что там ни говори, ведем себя на празднике жизни: один, вместо того чтобы вволю веселиться, все думает, кто его на праздник на этот пригласил; кто были те, кто сидел за пиршеством до него, куда они ушли потом; что из того, что завещали нам, справедливо, а что нет; куда сам он потом уйдет, что после себя оставит... Другой старается под шумок только лишь поесть повкусней и побольше выпить. Кто-то хочет и то и другое совместить. Может быть, таких большинство. Но есть, я это кожей чувствую, есть, кто не только старается отнять кусок у соседа, но при этом еще и обмануть его, одурачить, лишит воли, растлит дух, сперва исподволь, а потом уже в лицо называя свиньей, заставив в конце концов хрюкать, да не абы как — с глубоким, благодарным захлебом! Какое уж тут бунтарство, о каком достоинстве речь, если уже и не скотина обыкновенная, а более того — раб; а те, кто еще не сдался, кто держится, часто и не то чтобы знать не знают — даже предположить не удосужатся, что давно натравлены друг на дружку, опутаны фарисейством и ловкой, ползучей, с тысячелетним знанием слабостей и пороков души человеческой, ложью, целью которой единственна: подчинить. И это тоже на общем празднике жизни, и это самое подлое, что только может быть на нашей теплой и все еще пока зеленой земле.

В один из дней, когда в горах уже попривык, а д а п т и р о в а л с я и жил не в поселке внизу, а на горе Семиродники, в просторном люксе почти пустой, маленькой и уютной гостиницы, я вышел на террасу, с которой вид открывался поистине сказочный: на одном из вершинных отрогов, поодаль и чуть вниз, богатырским, только без боевого шишака, шлемом сиял облитый чистым предвечерним светом купол обсерватории с отдыхающим под ним, терпеливо ждущим своего часа большим телескопом, а за ним в размытую небесную синь вздымались голубоватые, уже слегка тронутые розовыми бликами уходящего солнца пики Кавказского хребта. Цепочка их направо терялась в дымке, а слева они подходили совсем близко. Хорошо была видна граница снегов, сплошную белую пелену ниже рьябили там и тут скальные уступы, все глубже резали черные провалы ущелий, и ближнее из них открытой каменной пастью ощерилось на рыжие склоны семиродниковских холмов, на окраину звонкого осеннего сосняка, росшего совсем рядом с гостиницей. И словно высланные навстречу, уже искалеченные, но не сдавшиеся воины, замерли ниже одинокие, изломанные ветрами корявые деревья...

Я давно уже расхаживал по террасе, я говорил себе: да, поселок астрофизиков стоит в горах всего лишь метров на пятьдесят выше полуразрушенных святилищ, где на израненных стенах вверх, на внутренней стороне купола нынче выбито и масляной краской намалевано это неистребимое — «здесь был Вася» и «Резав + Лена = любовь», — совершенно непонятно, как только Вася и Резав туда без техники забрались, остается предположить либо в о з н е с е н и е Резава под купол, что должно свидетельствовать о высочайшей духовности и необыкновенной силе ее — учительная, что возноситься пришлось с ведерком краски в руке и с кисточкой, — либо выход астрального тела Васи, что тоже очень непросто, особенно вместе с зубилом и молотком... Так вот, поселок всего лишь на пятьдесят метров выше, а нашпигованная электроникой, недреманное око устремившая в другие миры башня телескопа (для Васи, для Резава и для горячо любимой им Лены, наверняка пышной и белокурой, у входа в башню специально стоит часто сменяемый деревянный щит, на котором они, с очередной экскурсией проходя, все пишут свои бессмертные имена, все пишут, пишут) — башня эта стоит в горах почти на две тысячи метров выше поселка, и это, конечно же, символично: несмотря на все истраченные слова, которыми сами себя и утешаем, и подбадриваем, мы всего лишь в начале пути, мы пока — ближе к прошлому, ближе к нему... Но, не-

смотря на это, этому вопреки, должны же мы пытаться снова и снова проникнуть в тайну: кто мы?.. Откуда? Зачем?

И я подогревал себя,—настраивал душу на эту тайну, которую должен был разгадать, ну, конечно же, именно здесь, на этой террасе, неподалеку от сверкающего шлема обсерватории, в виду тысячелетних Кавказских гор, о которых Аристотель говорил, что они третьи ночи бывают освещены, рано утром и поздно вечером, высоты которых еще два столетия назад в семьдесят пять верст определяли, к одной из вершин которых, к Эльбрусу, Прометей был прикован, — и я должен был, должен разгадать, но вместо этого, как часто случается, когда мы попукаем свое сознание, о котором так еще мало знаем, вместо этого мне вдруг припомнилась пожилая женщина в кружевном воротничке, сидящая за окошком железнодорожной кассы в Москве, припомнилось это ее движение, каким спрятала книжку, как она засмузилась, как я вышел потом, как грубо, хамски подумал: «Ах ты, старая гримза! Сто лет в понедельник, а — туда же?!» Про хахла подай — вот что ей надо!

И вдруг мне сделалось совестно — и перед ней, совсем незнакомой, и перед самим собой, и перед кем-то еще, еще...

Да почему ты так определенно сразу решил: будет искать описания постели — клубнички ей, видишь, хочется?.. А может, искала она совсем другого, чего недополучила когда-то сама: понимания, участия, согретого бы ее в одиночестве движенья чужой души, человеческого тепла — вот чего!.. Ведь любовь-то в конце концов — не слияние яйцеклеток. Живущие не то что в гармонии со всем, что вокруг, а сами с собой часто не в ладу, — разве не ищем мы слияния с миром; сами частички космоса, бог знает что о себе вообразившие, — мы с ним хоть на какое-то время соединяемся... Может, поиск вселенского тепла? Обретение душевного родства в торопящемся, все куда-то бегущем, точно так же неумолимо расширяющемся, как расширяется после первого взрыва она, вселенная, нашем человеческом мире?

Всего лишь это открыл я тогда там, на горе Семиродники... Но ведь не затем же существует эта набитая электроникой башня, что ну прямо-таки жить мы не можем без того, чтобы не знать в точности, как идет ядерный процесс на далекой звезде Канопус?.. Оком большого телескопа выглядываемся в себя.

И что ж, что я не стал писать, где тогда, в станице, провел ночь Коробейников.

Он в нашем доме спал. Его кровать была рядом с той, на которой разметался во сне Сашка Чередихин, — зачем сонного мальчишку домой тащить?.. Мать сама отвела его к нам, разобрала постель и уложила. И чуть ли не каждая из соседок вызывалась тогда забрать его к себе — якобы по той же причине. Они тогда спор затеяли по этому поводу, кто его забрать должен, они чуть не поссорились... Пожилые бабы, все они так хотели, чтобы одинокой Сашкиной матери досталось бы хоть чуточку счастья...

Для чего же писать о том, кто куда руку положил и что при этом почувствовал?

10

На следующее утро, после того как мне рассказали о всадниках возле нашего дома, я вывел собаку на прогулку чуток пораньше: хотел заставить во дворе соседку, у которой тоже была собачка — пережившая своего хозяина совсем уже старая, подслеповатая Муха... Соседка, сложив руки на животе, неподвижно стояла недалеко от детской площадки, маленькая Муха что-то вынюхивала в траве у той под ногами, и я сперва отвел свою Квету на пустырек за соседним домом, дал ей сделать обычные сперва ее маленькие дела, а потом вернулся, привязал поводок за нижний сук стоявшей у подъезда раскидистой ивы.

Девять лет назад, когда сдавали наш дом, рядом с ним быстренько, в один момент, высадили уже довольно большие липы, вокруг каждой забили в землю по три колышка...

Липы вскоре засохли, одну за одной их повыбрасывали, а колья ничего, принялись, пустили корни, и кое-где ивам теперь даже было тесно — там, где выжили три кола сразу.

Соседка встретила меня не очень ласково: всем своим замкнутым видом словно выговаривала мне за вчерашнюю мою торопливость. Только потом разговорилась:

— Нечего было и звонить циркачам, я б вам сразу сказала: при чем тут цирк?.. Одежда на них пообрывалась, я говорю: может, иголку с ниткой вынести? Вынесите, просят, тетя — пожалуйста!.. Так им одной катушки мало оказалось, еще раз наверх в квартиру бегала... Где ж, спрашиваю, так пообрывались? Да в дороге, говорят. Уж больно дорога дальняя... А откуда вы? А они: ой, тетя, издалека летим!

— Л е т я т? — переспросил я. — Говорите — издалека?

— Ну, я вам — как они мне, пересказываю. А они как-то так уж очень жалобно говорили, устали, видно!

Но я уже и сам почувствовал в речи этой старой москвички знакомую интонацию с юга.

— А откуда все-таки?.. Не скажешь?

— Тут я что-то не поняла... Где-то по отдельности были, а потом как-то вместе собрались... Вам бы они, конечно, больше — если вас знают...

— И хоть передохнули бы, — сказал я.

— Звала я их, звала! — оживилась соседка. — Пойдемте, говорю; хоть с дороги умоетесь. И полотенце дам, и щетку, может, надо хоть пыль с одежды стряхнуть.

Они: спасибо вам, тетечка!.. А идти не идут. Там один был такой: старый-старый!.. Усох весь, плечи узкие, а борода — вот! Во всю грудь, прямо от плеча до плеча. Я еще сразу внимание обратила: что-то у него под бородой все мелькает?.. А потом он так руку положил, погладил бороду, и тут вижу: ордена старинные... или что они были? Медали? Кресты Георгиевские, как раньше их. Три креста. Ленты на них совсем выстирались, а сами блестят, как будто только натерли... Я ему: может, хоть вы, отец, пойдете, приляжете пока, а он: спасибо, дочка, прилягу я, наверно, уже на родине! Лишь бы лошадка, говорит, не подвела.

Я только головой все покачивал, а тут спросил:

— Ну, а кони-то у них... в самом деле?

Глаза у соседки нелепо зажглись:

— С конями с этими!.. И смех, и грех. Они же вот сидят рядом на песчанике, земляки ваши, эти черкески-то свои штопают, а кто и рубаху, — я сперва одну, а потом чуть не все иголки из дома вынесла... Сидят, а кони рядом — все травку пытаются щипнуть. А где она тут, травка?.. А ребятишек собралось! Из одного нашего дома сколько, из соседних поприбегали, да кто из школы шел, тоже про все забыл — остановился, что тут было!.. Окружили лошадей, тоже траву под ногами срывают, протягивают...

— А записку... или на словах что-нибудь? — спросил я.

И соседка почему-то повысила голос:

— Мне — нет. Спросили только: поживает, мол, как?.. Как зарабатывает? Никто тут не обижает?.. А один, пожилой уже, весь заросший, и на щеке болячка — или ударился, или нарыв был. Он спрашивает: а не слышать с балкона?.. Чи он песни наши когда играет?.. Да нет, говорю: чтоб сильно выпивал, вроде не видели. Да оно, разве теперь за ней и достоинься?

Ну, не повезло! Я ведь и в самом деле из реалистов: пока чего своими глазами не увидал... расстройство, да и только!.. Хотя бы одним глазком глянуть, как тут эти наши оторви-головы, разукрасившие подъезд, разорившие оба лифта до того, что совершенно непонятно, как те иногда еще и ходят, как они тут лошадкам хлеб на своих ладошках протягивали...

— Так они что — без денег были совсем?

Но женщина слегка наклонила голову:

— Деньги были. Где-то там заработали, говорят. Кто с матросами плавал, рыбу ловил, кто — грузчиком. Один-то, еще совсем молодой, просит: разбейте пятерочку!.. Разбейте! Мы сперва и не поняли, а другой потом, видно, старший у них, и говорит: не очень-то разбивай, пятерочки еще пригодятся! А то тут на улице кому со звездочкой дашь

рупь — он и ему рад будет, а вдруг в станице аэродрома так и нету до сих пор, в Краснодаре сядем да через него потом ехать?.. Там и к сержанту с рублем не подходи, меньше чем на пятерку и не глянет!.. Это что ж у вас там, спрашиваю, — такой порядок?.. У-у! — говорит. — У нас там строго!

Тут к нам подошла еще соседка, сказала негромко, но значительно: «Вам!» — и протянула в несколько раз сложенную, неровно оторванную, видать от газеты, довольно широкую полоску бумаги.

То ли неизвестно как сохранившимся с давних времен химическим карандашом, который то и дело забывали по-слонить, а то ли ручкой, в которой шарик почти истратился, прерывистыми от этого каракулями было написано: «Ионтивич ну как ты жалко не было хуть посмотрел бы но все равно будем дома мать жалилась давно ище кошелку завез и назад и глянеть!.. Это что ж у вас там, спрашиваю, — такой порядок?.. У-у! — говорит. — У нас там строго!»

А я и не знал, что он тогда тоже улетел!

В станице был, никто на улице не сказал — или они там опять из-за чего-либо перессорились, опять друг с дружкой не разговаривают?

— Высокий такой?.. Петром Сазоньчем звать?

— Не говорил, как его... А только спросил: а кроме собаки он ничего не держит, земляк? Никакого больше хозяйства нету, мол?

Невольню я глянул на свою Квету. К ней уже успела подбежать Муха, стала обнюхивать, они завертелись друг возле дружки, и моя стала дергаться на поводке, неповоротливо, как медвежонок, на одном месте подпрыгивать.

— Куда они поехали? — спросил я, уже отступая на шаг от женщины: сейчас собака запутается!

— Ну, они же летят — во Внуково, значит.

— Спросили нас, как туда доехать...

— Стала им рассказывать, а они: вы, тетечка, покажите, а там дальше мы...

— А дальше мы спросим, говорят.

— Под арку вот тут выехали и сразу направо, туда, на мост...

Я побежал к собаке, быстренько отвязал ее, под аркой прошли, на краю тротуара стали на выезде между обнесенными невысоким поребриком газонами.

По Дмитровке почти сплошным потоком туда и сюда неслись машины, а рядом с нами, совсем близко от края тротуара, шли почти без промежутков автобусы, то и дело слегка притормаживая, ждали, пока на железных своих вожжах протрачатся неуклюжий троллейбус... Как раз напротив нашего дома строят новую станцию метро «Савеловская», но когда она еще будет, а пока тут, в начале Бутырской, напротив магазина «Восход», — четыре остановки подряд: три автобусных и одна — для троллейбусов. Дело не в рублишке, — как тут вообще можно выехать?.. Как — через всю Москву потом? Да и зачем?.. Совсем рядом с нами — стадион «Автомобилист». Стали бы у края футбольного поля, прищипорили коней... Или для разгона не хватит?.. Что же им, нужна взлетная полоса, как для аэробуса? Или это все казачья гордыня: подай им, видишь ли, аэропорт Внуково!.. До Шереметьева от нас, кстати, может, и не ближе, но дорога туда наверняка поспокойней... «Покажите, а дальше спросим!»

Мне припомнился известный анекдот о белом лайнере

и о жалкой посудине, знаете? Как лайнер горделиво покачивается на волнах, а тут подваливает эта крохотная посуда, и слышится с нее тонкий голос: «Эй, на лайнере!.. Как плыть до Сан-Франциско?» Кэп, весь в белом, не вынув из рта трубки, небрежно бросает вниз: «Зюйд-зюйд-вест — триста двадцать!» Ну, или как они там? Чтобы не врать... А с угла суденьшка тонкий крик: «Не-е!.. Ты рукой покажи!»

Так и тут.

О, эта гордыня, что переплелась в нас с полной беспомощностью!

Их ведь целая серия, второй к ним тоже подходит: как снизу, с углаго-то суденьшка, тонкий крик: «Эй, на лайнере!.. Щец не осталось?» И кэп, не вынимая трубки, бросает вниз: «Пшел на фиг!» И от суденьшка еле слышно доносится: «По-олный впере-ед!..»

А все туда, все туда же!..

Или щец бы они не попросили?.. Пожалуй, нет. С голоду бы померли — побираться не стали. Гордость бы не позволила. И откуда она в них?.. Сколько доставалось из-за нее во все времена, сколько бед терпеть приходилось: и от польского двора, и от турков. И от тех, кто уже в наше время вдруг взялся их «рассказывать» и скольких сбил с панталыку, скольких натравил брат на брата!

Этот с ними дедок с Георгиевскими крестами, прикрытыми древней бородой, — может, и его тогда в Маньчжурии в разведку водил подесаул Миронов, герой японской войны, награжденный за храбрость орденами Святой Анны третьей и четвертой степени, третьей степени «Станиславом» и «Владимиром» с мечами и бантом?

Когда проезжали они вчера по Новослободской мимо универмага «Молодость» рядом с мебельной фабрикой «Люкс», — это от нашего дома совсем близко, три автобусные остановки, — не потянуло ли вдруг старика глянуть на каменную лестницу, которая теперь еле видна в проеме между магазином и фабрикой?.. По этим ступенькам поднимался в двадцать первом бывший боевой командарм, главный инспектор всей красной кавалерии Миронов, — из-за горячего характера не раз приговоренный и за боевые заслуги помилованный потом не раз, но теперь уже победивший неправду, получивший за то, что вышвырнул Врангеля из Крыма, золотое революционное оружие. Приехавший к Ленину для самого главного разговора, по приказу Троцкого с вокзала он попал тогда не в гостиницу... Сюда уже везли бумагу от Ильича, и он знал об этом, он снова думал, что скажет в Кремле, когда во время его прогулки во дворе Бутырской тюрьмы проснували в щель в ограде наган, из которого вылетела эсеровская, говорят, пуля... Позавидуем читателям исторических романов будущего, до которого мы-то с вами, конечно же, не доживем: пылливый взгляд наших исторических романистов вплотную подошел пока только к Екатерине с Потемкиным!

...А они потом в трудный для Отечества час шашки, сунутые в стрехи в гражданскую, вынули, как из ножен, и за родину, за Россию — на танки. И от той эсеровской черного-белого цвета «Зеленой розы» — одна капуста.

— Пойдем, Квета, — сказал я своей большой собаке, обреченному жить на двенадцатом этаже и собирать грязь на улице добруму водолазу, спасателю по профессии — ньюфаундленду. — Пойдем, Нюх!.. Мне сегодня еще во Внуково.

План действий моих в аэропорту созрел еще дома. Я вспомнил, как наш Партизан, Казарцев, нам говорил, что никогда не стоит левою рукою чесать правое ухо. И что самый короткий путь — это прямой путь. А я уже теперь старше, чем он был, когда это говорил. И что-то, наверное, было теперь во мне и от него, и от всех, кто его любил, и от Коробейникова Максима тоже.

Поэтому для начала я туда-сюда продефилировал вдоль здания аэропорта, выискивая глазами милиционеров, потом вошел внутрь, один за другим обследовал залы, снова присматриваясь только лишь к ним — больше ни к кому. По моему плану мне нужен был самый строгий и самый молодецватый из них — зачем бы мне тюхтя в помятых штанах, в кители с пятнами от яичного желтка на груди: глядя на та-

кого удалыца, всегда можно ясно определить, что в последние дни он ел утром, в обед и вечером...

Но вот он наконец, вот!

Не то чтобы совсем уж с плаката — но и твердо очерченные скулы, и жесткий прищур из-под лихо надвинутого козырька говорили, что этот ничего — паренек еще тот. Выправка такая, что глянуть приятно: и собран, и вместе совершенно раскован. Бывший какой-нибудь десантник, хорошо!

И я подошел и нарочно небрежно бросил пальцы к виску, под свой клетчатый кепарь, и формою и размерами очень похожий на знаменитый грузинский «аэродром». С полушутливой строгостью глядя ему в глаза, сделал вид, что хотел бы отчеканить, но не дано мне, нет, не дано, а потому не стану и пробовать, зачем?

— Таишч лейт-нант, честь имею: русский писатель! — сказал дружески. — Волей случая — отличник милиции.

— О-у! — как-то так это у него вышло, когда он взял под козырек — тоже строго, но как бы уже и чуть-чуть шутя. — И удостоверение есть?

Этого мне и надо было!

Расстегнул молнию на сумке-визитке, теперь уже молча подал ему.

Если кто вдруг каким-то образом захочет это проверить, чтобы и во всем остальном потом не сомневаться, — да ради Бога: удостоверение номер 123. Приказ по Министерству внутренних дел номер 409 от 27 июня 1968 года. Это — за роман «Пашка, моя милиция», который совсем недавно, спустя почти двадцать лет после того, как вышел, в одной газете на днях похвалили. Но милиция на то и милиция! Обнаружили тут же. Правда, у сотрудницы канцелярии, которая удостоверение выписывала, перед именем моим споткнулось-таки перо, и она в конце концов вывела: Георгий. Но я ее понимаю. Первая она, что ли?.. Зато и отчество, и фамилия — мои.

Выискивались, правда, порой ревнителю точности, которые отказывались верить, что Георгий — это все-таки я. Но, бывало, они свое получали!.. В молодости, когда таким признанием литературных моих успехов я очень гордился, особенно после гонорара или по большому празднику, жена пришила мне к подкладке пиджака большой карман — специально для книжки. И вслед за удостоверением отличника я тут же мог обнародовать и сам роман — вот оно, сложите вместе, пожалуйста! Это было как бомба, в которой критическая масса срабатывала, когда обе половины соединялись... Во всяком случае, неверующих тут же словно взрывом отбрасывало.

Потом-то, когда уже старше стал и купил наконец хороший костюм, «уродовать» его жена отказалась, роман с собою я носить перестал, но это и хорошо: без него и удостоверение лишний раз перестал показывать... После уж подумал: хорошо зная нашего брата, молодого писателя, может, они там специально с именами и путали, чтобы мы со своими «корочками» — не очень-то?..

Книжку я теперь все-таки захватил, но показывать ее мне не пришлось.

Лейтенант вдруг одним пальцем приподнял козырек и как-то уж очень простосердечно сказал:

— Мамочки, да ведь вы — ветеран! Я таких книжечек и не видел — нынче уже другие!

И я вдруг обоим нас увидел как бы заново, как бы со стороны: какой он совсем еще молодой. И какой я... Нет-нет, есть еще порох, есть!

И я только чуть глубже натянул свой похожий на грузинский, большой кепарь, приосанился. А лейтенант подобрался и даже плечи расправил:

— Меня — Глеб Астахов. Чем помочь?

Без всяких этих я ему все изложил, и, пока говорил, странное что-то происходило с ним: вместо того чтобы задуматься, чтобы, может, и помрачнеть, чтобы глянуть на меня уже с недоверием — уж не с приветом ли ветеран? — он все больше светлел лицом и явно чему-то радовался.

Когда выслушал, совсем как Коробейников сказал:

— Та-ак!.. На ловца и зверь, как говорится! — И только тут слегка нахмурился: — Кто они вам? Родственники?

Я приподнял плечо:

— Земляки!

— Земляков своих любите? — И заторопил вдруг: — Ну, ну?

— Кого-то, естественно, не очень...

— Я — в целом! — предупредил он. — В целом!

— В целом — да, это вполне понятно...

Он как будто уже настаивал:

— Они вам — как братья? Так?

— В каком-то смысле...

— В самом прямом! — сказал он значительно. — Запомнили? Они вам — братья! — Он чуть отвернулся и крикнул кому-то, кого я сразу не различил в толпе: — Губайдулин! Побудешь тут — я у диспетчеров!

Тот проявился наконец, выскользнул из-за чьей-то спины, довольно развязно спросил:

— Опять?

Как-то очень тихо, будто исподволь, издалека, стал слышен сперва обманчиво-ласковый, но тут же медленно, неуклонно, неумолимо набирающий грозной власти, все нарастающий по громкости голос:

— Сер-жа-а-а-аны-ы-ы...

Пока он это растягивал, Губайдулин враз построжал, и смуглое лицо его даже чуть побледнело. Он успел выгнуться, пристукнуть каблучками, выдохнуть негромко, но выразительно: «Яснонько!»

И только тогда наконец лейтенант уже небрежно, словно устало усмехнувшись, растянул губы и вытолкнул последнее:

— ...т!

Потом я Губайдулина понял. Когда такой же молодой, как Глеб Астахов, диспетчер, вызванный лейтенантом в коридор, тут же прислонился спиной к стене и тоскливо спросил:

— Опять?

Синий его аэрофлотский пиджак был расстегнут, галстук на рубаше не то что ослаблен — сдернут вниз так, что узел висел на белой рубаше чуть выше солнечного сплетения. Он вынул изо рта сигарету, и рука с ней упала вниз, а когда он на одном месте переступил, показалось, что ноги у него сейчас подломятся, он начнет сползать по стене и так тут, под стеночкой, и усядется.

— Да ты пойми, пойми! — Глеб Астахов ткнул его пальцем в грудь, словно таким образом хотел хоть слегка подпереть. Заговорил он так горячо, что сразу стало ясно: эта встреча у них — далеко не первая. — Отмахнуться легче всего: не было, и все дела!.. Не взлетай лошади, нет!.. И вообще они не летают! И знать я ничего не хочу. Ну, хорошо!.. Ты не хочешь — и это дело, в общем, твое... хотя я и не совсем, Павел, не совсем!.. А человек вот, — тут он цапнул меня за руку, привлек поближе к себе, — человек хочет правду знать!.. Хочет в точности: что с ними стало? Куда делись? Потому что это — братья его! Ты понимаешь: братья-я!.. Имеет он право знать?.. А ты и ему станешь тут говорить, что они потом ускакали в ближние кусты... Пусть там ищет? Там, да?! Да я там все уже обыскал!.. Верно, так: они там долго стояли перед этим. Почти шесть часов. Расписание сбилось, и можно предположить: чего-то выжидали... Видно, проголодались, и один в буфет сбежал, Галя из буфета внизу подтвердила: он, говорит, кефира набрал — бутылоч восемь, а то и десять, а карманы пирожками заняты... Я, мол, ему и говорю: а вот в эти карманчики, что на груди у вас, для карандашей, они не влезут?.. Хотела пошутить. Так что ты!.. Там такой крик был! Это для патронов, кричит, это газыри, а не карманчики!.. Грохнул, говорит, кефир на стойку, одна бутылка даже разбилась, деньги обратно не взял, ушел... А один из них толкался у справочной, это я тоже выяснил, и только к остальным прибежал, как тут же они и поднялись... А видели четверо, остальные по разным причинам в счет не идут... Я, когда увидел, сразу сказал себе: да, было!.. С собой-то чего темнить?..

Я, Павлик, в отличие от тебя — сторонник фактов. Какими бы странными они порой ни были. Другое дело: почему? зачем?.. Вопросов возникает тысячи — это естественно! О том же земном притяжении, например, в первую очередь... Так и давайте думать! А не утешать себя: мол, помешалось!.. С Иркутском я связался. Перед вашим носом, говорю, видели?.. Первый пилот: еще бы!.. Доказательств никаких представить не может, но вот вернется борт — попросим с «черного ящика» снять пломбочку. Он говорит, я еще второму сказал: «Смотри, Виталик, вот как надо взлетать! Где они, интересно, съедут?.. Хотел бы я посмотреть, какая будет у них глиссада!» Водителю, которого ты же и попросил шугануть их с полосы, ему это, предположим, выгодно: был, мол, так потрясен, что по тормозам ударил и тут-то и заглох. То же выяснял: на самом деле у него просто бензин кончился. Пришлось потом — на буксир. Но подкова, подкова, а?! Она не свалилась у него с крыши, она застряла во вмятине!.. Эксперт мне уже сказал, что такая вмятина могла остаться, если она летела в свободном падении с высоты сто восемьдесят — двести метров... и кто ее оттуда швырнул? Я?! Или ты, Павел? Может, ты?..

Ах да, ты у нас ничего не видел — у-ди-ви-тель-но! Такое чрезвычайное, можно сказать, событие, и никому нет дела — только и того, что звонили из экологической комиссии при районном управлении торговли: это что, мол, за безобразие!.. Это что еще у вас там, кроме самолетов, взлетает!.. Окружающую среду раните, — я им, Павел, покажу еще окружающую среду: для них окружающая среда — это их дачи вокруг Внукова! Вот освобожусь — я их еще тряхну!.. Но ты, Павлик, ты?!

Чего и говорить, этот молодой лейтенант, строгий сторонник фактов, какими бы странными они порой ни были, наверняка бывший десантник, нравился мне все больше — тем более теперь, когда он поделился ближайшими, так сказать, творческими планами в отношении окружающей среды вокруг Внукова... Не то что этот припертый к стене диспетчер!

Сигарета у него уже догорела, уже небось пальцы жгла, а он все только перекаладывая подбородок с одного плеча на другое, отворачивался, все только страдальчески морщился.

— Да ты пойми наконец! — проговорил чуть не плача. — Я и лошадей-то никогда вблизи не видал. Я на Арбате вырос! Ну?.. Поэтому я сперва и подумал...

И палец лейтенанта Глеба Астахова тут же хищно спикировал ему на грудь:

— Что ты подумал?.. Что?!

Диспетчер впервые улыбнулся — как ребенок, беспомощно:

— Не скажу что.

И мне стало жаль беднягу диспетчера. В самом деле!.. Откуда он в свои годы, тем более если рос в самом центре большого города, может в точности знать: летают лошади или не летают? Сначала, когда еще не ходил в школу и ему прочитали «Конька-Горбунка», он был убежден, что, конечно же, да; после об этом просто не думал, зачем. Сам это увидал, сперва не очень-то удивился, а когда над ним вдруг стали смеяться... И вот теперь, конечно, пройдет не год и не два, когда он снова однажды поймет, что лошади летают, да еще как: бывает, быстрее самых скоростных лайнеров...

Глеб Астахов снова завелся, тоже помянул Арбат и сказал что-то такое, из чего я понял, что они росли вместе и дружили, но тут мне пришлось в голову: выходит, все это случилось перед носом у пилотов с иркутского рейса. Перед ним. Но после какого?

— Вслед за краснодарским! — быстро ответил мне Глеб, снова винчывающий свой непримиримый палец в грудь дружка детства.

А мне уже больше ничего и не надо было: теперь я понял, что никакой это не форс, никакая, в общем-то, не гордыня, они вовсе и не думали фасон держать — решили просто пристроиться вслед за самолетом на Краснодар, чтобы тот указал им самую прямую дорогу к дому... Разве не надоело им болтаться вдалеке? Столько лет. По всему свету!

И пролетели над тихим оденью Подмосковьем, над теми, может, звенигородскими местами возле Ершова, где отцы их и старшие братья ломали настывшие шапки о ледяную броню и падали под гусеницы на раздавленный снег морозной зимою сорок первого; над тихими дубовыми лесами вокруг Воронежа, над тихими теперь в любую погоду сильно пообмелевшим Доном; над прегретьми несильным солнышком зелеными за станцией Куцеской, где стоит теперь большой белый памятник погибшим в жарком августе кровавого сорок второго...

И станут жить наконец дома и опять овечек пасти, сеять хлеб, чтобы нас всех кормить, детишек своих растить, песни петь, разговоры разговаривать, отворачиваться на улице, как встарь от сатаны отворачивались, от тех, кто уже четвертый дом строит да потом продает; от тех, кто горячо и яростно пока убежден, что лучшего в жизни места, чем за прилавком ювелирного отдела в районном универмаге, нет и не может быть.

Только мы так не договаривались. Ведь нет?

И будет праздник еще и на нашей небогатой улице. Будет.

11

Теперь-то это и правда совершенно безнадежное дело — доказывать, что так оно в то утро и было: собирался заняться одним сюжетом, как тут вдруг начал «прокручиваться» другой, как произошел во мне этот странный внутренний сбой. Но я потом все сложил и все понял. И есть человек, который твердо скажет, когда это и прочтет, что так оно все наверняка и случилось, — Коробейников.

В то утро он позвонил мне без четверти восемь.

— И как поживаем? — сразу спросил, не поздоровавшись.

И голос его я узнал, и тон его сразу принял.

— Вашими молитвами! — ответил насмешливо.

Но тут вдруг и начал соображать...

— Стоп! — перебил его. — Ты когда обо мне подумал? Вот нынче? Прежде, чем позвонить?

— Пятнадцать минут назад, — сказал он. — Проснулся и подумал: надо его набрать, пока телефон не отключил.

— А в шесть утра?.. В шесть ты спал?

— В шесть я спал, и ты мне приснился...

Не люблю я, признаться, всех этих штук — кому и как я приснился... Толя Ябров, мой старый друг, вместе с которм в многотиражке работали, однажды из Новокузнецка большое письмо мне прислал: рассказывал в подробностях, что ему обо мне приснилось, что он утром подумал, как ему жена этот сон растолковала. Ну и спрашивал: что, мол, на самом-то деле произошло?.. А если нет пока — прошу, мол, тебя: поберегись!

Бывает ведь: и без того из последних сил держишься, а тут еще такие знаки внимания... Письмо это настолько меня по сердцу ударило, что даже на работе это заметили, хоть я туда, как правило, никогда с собой не несую того, что перед этим со мной случилось: это — только мое. А тут Оля Маркова, редактор, с которой добрые отношения, и спрашивает: чем-то расстроен?.. Что с тобой? Вот, письмо ей протягиваю: читай! Она прочитала и говорит: нарисуй немедленно кукиш и отправь своему дружку. Это старый обычай... А мы с ней всегда — и о травках, и обо всем таком прочем. И я тут же и в самом деле изобразил, как мог, хорошенький шиш и приписал внизу: извини, Толя, но этого, мол, народный обычай требует. И товарища своего в следующий раз такими письмами не дергай. Ну тебя с твоими снами, знаешь, куда?

Не люблю чужих снов. Со своими бы разобраться.

Но тут-то другое дело: уж больно странное совпадение!

— Давай, — говорю. — Рассказывай. Вали все, как было.

А он там очень спокойно:

— А ничего и не было. Очень хороший сон. Будто сидим мы с тобой на берегу Томи, за дробфабрикой — ну, там, где большую шуку поймали... И у нас пиво чешское и раки.

Пьем потихоньку, и я тебе рассказываю, что тут со мной произошло...

— Но почему ты знаешь, что это — в шесть?

— Говорю тебе: пили пиво. Проснулся я и пошел, извини меня, в галлон. Глянул на часы в коридоре: ровно шесть.

— Ты понимаешь! — говорю. — А я в это время работу отложу... ну, которой заниматься хотел. И вспомнил о тебе, да все так живо... с таким напором вдруг, ты понимаешь?

— О, это вполне! — рассмеялся Коробейников. — Слышал бы ты на самом деле, с каким жаром я тебе все во сне излагал.

Тут что-то у него с трубкой случилось: замолчал, и стало слышно, как он ее там на столе или на тумбочке с боку на бок переворачивает. Когда голос возник в ней снова, я укорил:

— Чего там с трубкой играешься? Куда пропал?

— Я не играюсь, она, понимаешь, выпала...

— Руки после пива трясутся?

— Нет! — сказал он. — Они у меня, понимаешь, в лубке.

Трудно держать.

— Как в лубке! Обе?

По голосу стало ясно, как он там невесело усмехнулся:

— Обе, да.

— А ты откуда звонишь?

— Из больницы. Из ординаторской. Вчера в Москву привезли.

— Да что случилось? И молчит!

— Длинная история. Приедешь — расскажу... А пока так: сколько у тебя на книжке?

— Ты можешь в двух словах?

— Приедешь, все равно ведь придется рассказывать. Потерпи. А то, знаешь, я тут вялся сперва переживать да рассказывать, и меня на этом чуть не закинуло... как старую пластинку с «утомленным солнцем», которое «нежно в море спускалось», — заело, и все!.. Наоборот: пытаюсь отвлечь себя. Только во сне вот дал себе волю — уж там-то я перед тобой выступал! Давай пока о другом. Сколько, значит? На книжке?

— На сберегательной, что ли?

— Ну, естественно.

Я сказал, и он там громко вздохнул:

— Мало, слушай!

Я не удержался:

— А тебе много надо?.. Ты что, прибыл сюда храм Христа Спасителя восстанавливать?

— Не валяй дурака, я серьезно. А если бы ты обратился к друзьям: сколько б вы могли наскрести?

— Да неоткуда им скрести! Так, по мелочи.

— Опять не с теми дружишь?

— Ну, извини.

Снова трубку уронил, и пока подбирал ее и тоже чем-то там по ней скреб, а я в недоумении дергался, невольно вдруг вспомнилось: сидели на днях за столиком в Доме литераторов, говорили, и тут подошел один малознакомый молодой поэт, и фамилии не знаю, потом сказали, но забыл. Подошел и начал всем по очереди паспорт показывать: «Видишь, откуда я родом, шеф?.. Видишь, командир?! Видишь, начальник?.. Из села Пе-ре-кат!» Спросили, естественно: ну и что, мол, из этого? А он сказал с гордостью: «Голь перекатная — это про нас!.. Из Переката!»

Горькая шутка, если вдуматься: для него-то и мы, вчера еще на одной картошке сидевшие, уже чуть ли не банкиры! Что ни машин, ни дач, ни мало-мальски серьезной службы — это уже другое дело. Выходят книги!.. А ему-то и совсем пока худо, а парень способный наверняка: есть чувство слова, есть — может, далеко пойдет, если работать будет, а не только по нижнему залу с раскрытым паспортом шастать.

И все «командиры» и «начальники» невольно вспомнили, пожалуй, себя и стали, посмеиваясь, скидываться...

— Так! — сказал Коробейников. — Я ее прижал башкой к спинке кресла, это будет лучше. Значит, сколько, говоришь?

— Давай потом! Приеду — и все обсудим. Все-таки ничего страшного?

— Оно уже позади.

— В каком смысле?

— Это тоже потом.

— Где ты находишься?

— Ты сегодня не отключай телефон, — сказал он. — Тебе скоро Сидорин позвонит, Сидорина помнишь? Потом заедет за тобой. В одиннадцать я вас жду.

— У нас по понедельникам в одиннадцать — директорский час...

— Побоку директорский час!.. Ты мне нужен. Понимаешь? На этот раз — крепко. — Голос у него прозвучал настойчивей обычного, но он еще и спросил: — Повторить?

— Нет, все!

— Ну давай, а то у меня и плечо что-то...

Хотелось как-то подбодрить его, я заторопился:

— Держись давай!.. Держись, слышишь? Наконец-то время твое пришло, а ты вдруг вздумал...

— Потому я и здесь, что оно пришло!

И я невольно споткнулся:

— То есть?

— Не знаешь диалектики?.. Что старое так просто не сдается... что все сломать... за это бьют по рукам!

— Хочешь сказать — в прямом смысле?

— Со мною вышло в прямом. Так получилось. Конечно, это надо уметь — искать приключений на свою задницу. Но ты знаешь: я это умею.

— Да, таких мастеров поискать!

— Все!

— Все, — сказал я, — пока!

— погоди! — приказал он. — Тут как раз сестричка пришла... красивые девчата, слушай, выросли!.. Сейчас она мне трубку поможет... Поможешь, дочка? Одну минутку! — Голос его, совсем было там растаявший, пока комплименты говорил, снова крепости набрал: — Ты мне вот что. Сам о времени начал. Тогда скажи!.. Ты понимаешь?.. Всем нужен! И — никому! Вот и скажи: неужели все это в самом деле напрасно? Если бы не было дочки рядом, я бы тебе сказал о современнике!.. Еще секунду, дочка!.. Слушай, какие девчата выросли! — заворковал было, но снова вдруг перешел на крик, и послышалось в нем такое отчаяние, словно кричал о главной своей заботе: — Где мужики им ровень, где они, скажи, где?!

— Ты хоть там не кричи! Это «напряженка» твоя, что ли?.. Это она тебя подвела?

— Дурашка! — сказал он. — «Напряженка» — то, что нас губит. Всех. Или ты до этого еще не дошел? Как в Минздраве. Который теперь на пачке сигарет пишет, что курение для моего здоровья опасно. А то, что меня разрушает не курево, а эта разница — между словом и делом?!

— «Совмещенка»! — вспомнил я. — Извини.

— И не подвела, имей в виду. Как раз и убедился, что тут — порядок... ладно! Об этом тоже потом.

Шумно выдохнул, и голос у него переменялся:

— Вообще-то я для тебя тут песню одну старинную записал... Казачью!.. У одного нашего механика дома были, с прадедом его разговорился, тот запел, а я ему: а ну-ка, отец, а ну! Там такие слова... прикрой дверь, дочка! — И вдруг он и в самом деле громко запел:

То-от, кто первый н-на з-завалы!..

И смолк.

Он начал было с дурашливой лихостью, но тут же вдруг, словно не захотел валять дурака, голос его зазвучал строго и чисто, с такой интонацией, что меня прямо-таки кольнуло.

То-о-от, кто первый н-на з-завалы по-па-дет!..

Та-му сла-ва, и «Ге-о-орг-гий»!.. и па-чет!

Плохо ему там! Подбадривает себя. Утешает. Знать, есть причина утешать.

— Еду! — сказал я. — Держись, Максим!

— А что нам еще остается?!

— Ну, пока!

Он прямо-таки рявкнул там: «До!..»

И как-то так оно на этот раз прозвучало... Как будто на завале из бревен, куда его вынес конь, и в самом деле в грудь ему стволы глянули, и терять уже нечего, и ничто уже не спасет, но зато есть за что помирать.

Теперь, когда трубку положил, я и совсем разволновался: в какую опять влип историю? Для чего ему деньги?.. И уж больно необычно он это сказал: «На этот раз — крепко!» Зачем ему нужен?.. Смогу помочь или нет? Что все-таки случилось?.. Вытолкнул водителя, сам баранку схватил? Это с ним уже было. Во время пуска куда-то сунулся — этот ведь не будет стоять, как же — на все руки мастер!.. Но разве это в самом деле не так? На иного лентяя полусонного глянешь — руки словно для того ему и даны, чтобы, если хорошенько не рассмотрел, так еще и пощупал бы. На этом вся его бурная деятельность по переустройству мира в основном и заканчивается... А у Максима всегда: зыркнул глаз — и рука уже напряглась, уже делает. Слава Богу, есть в России мастера. У великой страны есть великие работники!.. С ним-то рядом побыть — подзарядиться. С ним вообще побыть рядом, плечом потереться — сил наберешься... Хоть насмешничает — считает соратником. Он-то хорошо знает, что твое дело — слово. И что молвится оно нелегко... Но норов, конечно, норов! За ним не заржавеет, уж сколько раз на этом горел — купи ему теперь, видишь ли, школьную форму! Да только как и тут его не понять?.. Одного ли его всю жизнь поучали, наставляли, одергивали, заставляли на черное — белое говорить? Он уже давно в горячем поту, задыхаясь от натуги, тащил главный воз, и от тяжести лопались гужи, а его отрывали от дела и вызывали в те или другие инстанции, чтобы подсказать, посоветовать и с озабоченным видом поправить шоры...

Будущий историк напишет когда-либо о нас обо всех: как иногда бывает с теми, кто участвовал в жестокой войне, кое-кто из старшего поколения перепутал вечную славу павших со своею прижизненной, легко поверил в собственное бессмертие и слишком долго держал их за мальчиков — многих из них так в школьной форме и хоронили, и полевыми цветами прикрывали обтрепанные обшлаги, из которых торчали крупные, изработанные руки... Но как знать, может, в силу этого они и действительно очень долго оставались мальчиками в душе — и это, пожалуй, самое лучшее, что было в том поколении. Война, которая их ранила детьми, научила их сострадать, а их обездоленные матери завещали им последнее отдавать калекам и нищим и заступаться за сирот и обиженных. Их часто сбивали с толку, но они всегда верили — часто грубые, циничные иногда, в этом смысле были они как цветы, скажут им: «Весна пришла!» — и тут же посреди снега доверчиво зацветут. Героями их были мушкетеры и рыцари, отважные капитаны и бесстрашные охотники, не дававшие в обиду слабых и обездоленных; были воины Святослава, Евпатия Коловрата и Дмитрия Донского, сподвижники Ермака и Разина, Минин с Пожарским, хранящие честь русские офицеры всех времен, бесстрашные казаки и рядовые пехотинцы, которым некуда было отступать... И они яростно ненавидели фальшь. Сквозь гром оваций они различили шепот собственной совести. Хватало среди них и ранних приспособленцев, и лизунов, которые, когда в моду вошли вдруг усы, тоже их — под настоящих-то мужиков — отпустили, но нюх у мальчиков был в порядке, они чуяли за версту, что от холерной растительности лизунов потягивает старой помойкой. Они рано поняли цену высоким чинам, дутым званиям, слишком щедрым наградам, и они плевали на них и были счастливы работой и превыше всего ставили товарищество и верность идеалам своей скудной юности...

Но что Коробейников, этот безродный Вася Буслаев?

Драчка тогда будь здоров вокруг него завязалась. Этот матерый волк — действительно волк! — Сидорин взял сперва неделю в счет отпуска — ту самую неделю, которую брал всегда для осенней охоты, — и вплотную занялся де-

лом Коробейникова, а когда времени не хватило, стал отпрашиваться у своего большого, спасибо ему, начальства, чтобы сопроводить Максима в очередную инстанцию... Он усмехался и говорил, что просто ну не может доставить Коробейникову такого удовольствия — открывать ногой дверь, на том якобы вполне законном основании, что руки у него переломаны. Он сам звонил, заказывал пропуск, они приезжали, и Сидорин доставал из кармана у Максима бумаги.

Секретарши в приемных терлились, глядя на эту необычную пару: в новеньком английском пиджаке с распоротыми рукавами, с гипсовыми конечностями на бинтах через шею — Коробейников и рядом с ним загадочно молчащий, но явно оберегающий непримиримым взглядом каждое движение своего подшефного подтянутый, стройный, как мальчик, генерал.

В кабинете он нарочно печатал шаг, громко и строго представлялся, потом пододвигал Коробейникову стул, прямой, как струнка, сидел в стороне и замирал, изображая глазами ежесекундную готовность не только прийти на помощь Максиму, но, в случае чего, также выполнить и любое поручение хозяина кабинета: мол, вдруг?.. Когда его спрашивали иной раз: «П-позвольте... а вы?» — он вскакивал, расправлял плечи и задирал подбородок:

— В данное время секундант на этой дуэли. Пока представляю интересы пострадавшей стороны. — И считал нужным тут же поправиться: — П о к а пострадавшей!

В машине, обсуждая очередную задушевную беседу Коробейникова, они, случилось, ржали, как молодые жеребцы, и этот смех вначале был для Максима почти единственным утешением, но пошли потом потихоньку дела, пошли... Сидорин стал даже уверять, что охотой на этот раз он доволен больше, чем когда-либо прежде, что он, признаюсь, даже не ожидал, что можно столько взять на подсадную, если она — даже такой жалкий подранок, как Максим Коробейников.

Я был у них на подхвате и все пытался собрать деньги — до тех пор, правда, пока приехавший из Кишинева Тауб, который подарил мне еще одну кружевную салфетку, не сказал у меня дома: «Послушайте, не делайте мне смешно!.. Может, вам будет легче достать пару билетов мне в оперетку?»

Но самое главное для меня во всей этой последней истории, что Коробейников был в ней, как прежде, в хорошей бойцовой форме — может быть, в лучшей на этот раз. Такие, как он, всегда в порядке — покуда дышат.

Но что с ним там было — это уже отдельный рассказ. Суждено будет — постараюсь.

А пока пусть меня простит Максим, что его цитирую: до!..

Если будем живы — как говаривал русский классик.

Если мы будем живы.

ПОСЛЕДНЕЕ РЫЦАРСТВО

1

Историю эту я знал с детства, но мало придавал ей значения — до тех пор, пока не понял наконец, что такое в л а с т ь п р о ш л о г о... Скорее всего, что близко к сердцу воспримут ее те, кто тоже над этим уже задумывался. Но у всякого ли была такая возможность?.. Имею в виду не собственное воображение, а путь, которым идею: меня, спасибо судьбе, он то и дело пока возвращал в родную станцию...

Тронешь калитку, и, отработывая свой хлеб с честностью старого провинциала, тут же лаем залетает дворовый пес, но не так скоро выйдет совсем уже пожилая женщина в накинутом на плечи теплом платке... Близоруко сощури-

ся и узнает, и тебе не надо будет долго объяснять, зачем ты пришел: ведь и себе самому не мог объяснить этого с точностью.

— Взглянуть? — догадывается она. — Ну, пройди, сыночек... Там, правда, не убрано... да чего его теперь-то и убирать?.. То кукурузку от дождя спрячу, а то тыклуши сложу, Стоит себе как сарай — пусть стоит... а кем же он был тебе, дедушка Жук?.. От сколько воды с тех пор: пра-пра-дед?

Какие богатыри, ты думаешь, были!

А обитали вот в этой низенькой, вросшей в землю хатенке... с другой-то стороны: а что им тут было делать? Разве погреться у печурки зимой? А жили-то они на зеленом да на голубом просторе вокруг — почти вселенском!

Хотя считалось: в одном кутке. Через дорогу, что называется. Вся родня.

В восемнадцатом году, когда в станицу в очередной раз ворвались белые, мой прадедушка, Иосиф Филиппович Мазеев, паровой механик, из «иногородних», не спеша пошел сюда: пересидеть неровный час у именитой родни, у казаков... Прабабушка сперва поторопилась его словом, а потом подтолкнула вслед за ним старшую свою дочь: «Поглянь, Стеша: чи папаша успел до дедушки?»

Стеша, ей было тогда двадцать четыре года, родная моя бабушка, которой я так никогда и не видал, шагнула к плетню, перегнулась и закричала от ужаса: увидала, как всадник на скаку срубил шашкой человека посреди улицы, решила — ее отца... Упала без чувств.

Тут же приехавший на ходке фельдшер Гречухин, который жил потом почти до ста лет и лечил — уже после Отечественной войны — и нас всех, детишек, определил у бабушки Стеши «разрыв сердца» и сказал, что спасти ее все равно не удастся, а потому не надо; бедную, тормозить и ни в коем случае нельзя над ней плакать: она все слышит и будет мучиться. Единственно чем стоит помочь — ласково поговорить с ней, как можно успокоить, утешить перед самой дальней дорогой... Она лежала на тулупе под яблоней, а вся родня стояла на коленях вокруг. «Живой я, Стеша, — глотая слезы, говорил ее отец. — Зря ты волновалась, доча, — живой!» «Добежал он, Стеша, а как жить? — глядила ее по вискам прабабушка Таня. — Это ктой-то чужой упал, а у нас все хорошо — все остались!..»

Я об этом только рассказываю — вязала узелки жизнь: в эти самые минуты разгоряченного коня остановил у ворот вернувшийся с белыми в станицу бабушки-Стешин муж — Мирон Лизогуб: «Чи уже и не ждали казака?!» Ему тут же все с плачем в сторонке рассказали, он пригорнул к себе четырехлетнего сынка Георгия и шестилетнюю дочь Антонину — будущую мою маму. Все вместе они склонились над бабушкой. «Счастливые мы с тобой, Стеша, — каких хороших детишек нам дал Господь! — нарочно весело кричал совсем еще молодой дед. — Думал: живой останусь, никуда больше от вас не пойду, никогда детишек не брошу!»

Говорят, пожилой священник потом сказал, что он еще не видел людей, которые умирали бы с такой счастливой улыбкой на лице, как у нашей бабушки Стеши...

Через тридцать лет дедушка Мирон неожиданно приехал в станицу из Баку: перед операцией, которая могла плохо кончиться, за все попросить у нашей мамы прощения... Помню только, как она замкнула нас в доме и как хлопнула ставни в окнах на улицу — чтобы мы его не увидели... Во двор своего отца она не пустила... Было-таки за что?

В восемнадцатом, после сороковин бабушки Стеши, из Владикавказа приехала красивая молодая женщина... Чтобы ей поверили, подробно обрисовала нашим, какие серьги должен был привезти жене Мирон Лизогуб, несколько месяцев живший во Владикавказе с командой из Хоперского, «второго комплекта» полка — в этих серьгах бабушку потом схоронили...

Мирон не сказал, чей это подарок?.. Серьги она просила передать — от чистого сердца. У нее растет маленькая дочь, сестричка этих полусирот, — может, Господь решит теперь объединить их в одной семье?..

Но плохо, видно, тогда Мирон Иович Лизогуб слушался

Господа... Якобы оскорбленный недоверием, он тут же предпочел уйти из дома и ни разу потом не дал на воспитание детей ни копейки... Не «чистые» казаки, говорил иногда в шинке, — их не жалко!.. Когда мама подросла, прабабушку Таню научили подать иск, и суд обязал Мирона Иовича купить для дочери швейную машинку: чтобы сирота научилась шить и в дальнейшем смогла себя обеспечить... Как она этим потом гордилась, мама! Что «не разгибалась» несколько лет, пока на рабфаке в Краснодаре учился мой будущий отец — вступивший за нее на суде народный заседатель, «делегаткин сын», один из первых комсомольцев в станице. Воистину: любовь и ненависть. Отец на долгие годы как бы прикрыл нас всех, казачье отродье. Кроме нас, детишек, еще и младшего ее братца, которого сперва досрочно демобилизовали из армии, где был воспитанником при духовом оркестре, потом уволили со строительства Сталинградского тракторного завода, потом — с завода в Москве: все за его, казачье происхождение... С «происхождением» наконец было покончено в тридцать седьмом, когда десять лет он получил как окончательного сформировавшийся враг народа: был Магадан, знаменитая Серпантинка, побег из-под расстрела, чудесное спасение в женском лагере, где ему вдруг было приказано: подготовительный оркестр. Первый женский на Кольме. Но — смотри!.. А какой умница он был, наш дядя Жора! Какой симпатяга. С каким голосом! Как пел... потом, когда он уже совсем спился в станице и после трех лет паралича умер, а был сентябрь — все «на свекле» да «на картошке», ни музыкантов тебе, ни плотника — и хоронили его в «реквизитном» гробу, оставшемся после съемок «моего» фильма о нашей станице: его и обмывали, брили, гримировали и принаряживали почти такие же профессиональные алкаши, такие же бедолаги, как он, — из Киевской, теперь уже зарубежной студии... «Да какой жищ красавец! — громко заплакала вдруг старая соседка. — Лежить — как президент Соединенных Штатов Америки!..»

«Ты про такого писателя, про Аксенова слышал? — спросил у меня Николай Прокофьевич Смирнов, приехавший на похороны дяди-Жорин дружок, наш, отрядненский, вместе с ним отбывавший на Кольме — за то же самое. — Мне двухтомник прислали на днях, мать его написала, Гинзбург, она теперь в Израиле уехала... Тот же лагерь, но про Жору там, жалко, нет — она приехала позже, когда самое страшное уже позади было, — добрые люди ее «дураковать» в больницу пристроили, и она все про тех, что после, а кто до нее — про тех она, видать, не спрашивала... жалко!.. Слышал ты про такого писателя: Аксенов?..»

А тогда, когда у дяди Жоры кончался срок, знакомые летчики пообещали вывезти его на материк: за матрас денег, из которого он должен был отобрать потом «сколько рука захватит» — на дорогу до дома... Сестра его, наша мама, уже ждала его со дня на день... и тут вдруг объявляется наконец-таки решивший у них прощения просить беспутный отец: а не из-за него ли всю жизнь страдали?

Размышляю и в минуты, когда об этом пишу, может — упорно, как никогда еще: разве не должен был этот миг когда-нибудь наступить?.. Мне кажется, что нынче-то как раз я и понял причину прямо-таки необычайной жестокости Мирона Иовича: он не верил в бедность Мазеевых, вот в чем дело!.. Но тут начинается другая история: Иосиф Филиппович был человек известный, налаживал и чинил все машины в округе... Россия тогда работала на совесть, Кубань — тем более, жить они стали хорошо, и прадед позволил себе приобрести фазтон с кожаным верхом — ездить по э к о н о м и я м... Кони были... что теперь пытаться угадать, какие то были кони!.. Но когда через год после смерти бабушки Стеши из станицы уходили белые, Мазеевы снова обратились к Жуковым: с просьбой сохранить лошадей с фазтоном — на этот раз... Старший брат прабабушки Тани — Иван Алексеевич позвал своего младшего сына, тоже Ивана: «Возьми и отведи в кукурузу: переждешь, пока наши отойдут — чтоб не забрали... За коней

головой отвечаешь!» Суров был! Уж лучше бы так не говорило...

Шестнадцатилетний Иван запрыгнул в фазтон: только его и видели!.. Помню фразу, которую любила повторять его сестра тетя Дара: они с мамой искренне любили друг дружку и до конца роднились... Так вот, тетя Дара все говорила: «Так хлеба не ищут, как наши Ваню тогда искали!» Но так и не нашли. Пропал — как сквозь землю. Но ведь считалось-то, хочешь или не хочешь: из-за Мазеевых лошадей. Из-за Мазеева фазтона... Стыдно ворошить это, Господи!.. Как бы в некий счет хоть такого покрытия бесконечного своего горя Жуковы не отдали сестре ее добро, закопанное у них в саду: у казаков, опять же. Вступали в станицу красные — и Жуковы бежали к Мазеевым. Вступали белые — Мазеевы, от греха, снова скрывались у Жуковых. Но добро — добро лежало в спрятанном у казаков: так, считали тогда, надежней... но вот не отдали ни метра из тех отрезков, что ночами относил к ним прабабушка Таня — и наши разом остались голые: мама всю жизнь потом вспоминала до крови раздиравшую тело свою юбку — из крапивоного мешка... Но я-то — спустя уже столько лет! — вдруг сложил это все из вздохов, из причитаний, из терпеливых молитв выросшей не только нашу маму — еще и нас всех прабабушку нашу Таню...

Только в конце жизни, когда ей было далеко за восемьдесят и когда она — мудрено ли после всего ею пережитого — стала впадать в забытьё, она вдруг заговорила прямо, что называется теперь, текстом: обо всем, что было и как, но тогда это у меня, приехавшего домой погостить с комсомольской сибирской стройки и еще не знавшего, не подозревавшего в себе, что только потому и торчу там, что я — то самое, по-прежнему ищущее вольницы казачье отродье — тогда это вызывало у меня только печальную, всепонимающую улыбку... Мирон Иович не слышал ни тихих бабушки-Таниных молитв, ни громких ее откровений в конце жизни: к этому времени его уже не было в живых... И он так и не узнал, куда подевался всем нашим принесший в конце концов столько несчастий фазтон... ох, далеко он завез шестнадцатилетнего казачка Ивана Жукова, далеко!

Письмо от него, проездом брошенное кем-то в Армави-ре, получили только через тридцать семь лет — уже в пятьдесят пятом году... Но тут начинается сюжет, о котором мне уже приходилось писать, давно, двадцать с лишком лет назад — рассказ тогда так и назывался: «Ф а з т о н».

После его публикации меня разыскал и один кинорежиссер, и другой, все хотели поставить фильм, и это, конечно же, был еще один толчок к размышлению, еще один росток на этом дереве сознания, кто я и что я, которое постоянно во мне развивалось, ведь я уже сказал: мне везло... До фильма дело так и не дошло, зато какими реальными подробностями наполнилась почти фантастическая история Ивана Жукова!.. Но вот что любопытно: общая картина той самой станичной жизни в «одном кутке», от которого все наши рано или поздно по разным причинам оторвались, складывается в моем сознании только теперь, когда наступил момент горький: наконец-то я готов все понять и с умом начать спрашивать, да не у кого больше спросить, нет!

В том первом своем письме, пришедшем спустя почти сорок лет после того, как он пропал, Иван Иванович писал: «Дорогие папаша и мамаша Вы до сих пор наверно не знаете что потом было. Пошел дождь и я поднял у фазтона кожаный верх и тут меня с дороги заметили, подсажали, хотели отнять, но я не отдал сказал папаша голову оторвет и тогда они сказали повезешь нас до Армавира...» Потом он вез и х — то кого-то из раненых, то сестер милосердия, то офицеров — сперва до Майкопа, потом — до Екатеринодара, до Новороссийска. А тут фазтон украли цыгане, и молодые казаки, которые над ним все смеялись, теперь стали искренне сочувствовать: как же, мол, теперь без фазтона — домой?.. Может, айда с нами?.. С такими ли лошадьми потом вернемся!

И. Б. Дурция, была Югославия, а писал он уже из

Бельгии, из маленького городка (под Брюсселем, из Фарсена, где он «28 лет и три месяца как один день» проработал на шахте...

Помню, я был как раз на каникулах, когда наши «мотались» по станице — у всех добрых знакомых одалживали серебряные да золотые побрякушки... Когда пришли к фотографу, чего только на себя не навешали!.. И каждый, ясное дело, как бы между прочим отставлял локоток с часами на запястье... «Живем тоже хорошо, потому что все в колхозе работаем», писали в ответном письме в Бельгию.

Я в это время учился на факультете журналистики в Московском университете и кое-что знал о дезинформации, но такой наглой брехни... не было среди нас колхозников. Ни одного!.. Попробовал возмутиться, но «папаша» нашего бельгийца, Иван Алексеевич — мать Ивана Ивановича к тому времени давно уже умерла — глянул на меня «как солдат на вошь»: «В носе у тебя еще не кругло, студент!.. А то давно Жора с Колымы вернулся?.. Хочешь, чтобы загребли теперь всех?!»

Ему в это время было далеко за восемьдесят, но он продолжал работать в кузнице в самом центре станицы, и ни одного футбольного матча — стадион был тогда в том же «кутке» — не начинали, пока не приходил он с высоким табуретом в руке... Может, у них какая примета была, у футболистов?.. Но всякий раз слышалось: «Пришел дед Жук?..» — «Уже сидит — вонь!» — «Ну, начинай давай — можно!»

Давно уже нет «деда Жука», давно уже нет тети Дары, которая когда-то отдала мне эти бельгийские письма, — Иван Иванович так и не выбрался в станицу, хоть только этим и жил последние годы... как застилали глаза когда-то слезы ему, когда писал он письма, так смахиваю и я невольную слезу, когда их нынче перечитываю — хоть и не мне они предназначались... Вот самая близкая моя «ниточка» — всего лишь: «Дорогая Даша ты пишешь что старшая папашина сестра Татьяна А. еще жива вот это я никогда не думала сколько же ей лет и чи живы ее внучки Жоржык и Тоня?..» Но, может быть, — это письма всем нам?

«Ты пишешь, что не знаешь, как мне попасть на родину. Я не за это спрашиваю. Я спрашиваю что мне будет когда я приеду. Если бы я знал что когда я приеду меня никто не тронет. Ты сама знаешь что я никакого преступления не сделал а просто по глупости ушел потому что был с детским умом. А как хотел бы видеть вас всех в особенности папашу старичка я лично до таких лет, как он не доживу, шахта на здоровье очень влияет и сильная тоска. Теперь не работаю уже почти два года, получаю пенсион жить вдвоем помалу можно да я ведь еще писал тебе выиграл 1 миллион франков на лотерею Конго белж. Но забота одна, детей у нас нет а состояние довольно хорошее два дома да и вообще всего полно в доме а хто это заберет хто будет нашим добром пользоваться... Вот это почему так тянет домой может чем помочь, но ведь знаешь какие слухи здесь. Одни говорят так, другие иначе, туда поедешь обратно не пустят и кто говорит свои же русские которые во время войны служили в немецкой армии, а их здесь очень много в особенности украинцев... Ты пишешь у вас зима была теплая, а у нас еще сегодня мороз вода замерзла хотя помалу начинаем готовиться к Пасхе. Ты забыла про семечки тыклуши положи обязательно в конверт. Я хотел бы чтобы мне хоть кто либо писал еще письма потому что каждый день стою часами жду почталена хотя и знаю письма не будет но сердце не выдерживает».

Разве не мог бы я ему написать?.. Но его письма мне передали уже после его смерти и пишу ему я только сейчас. А в тот год я поехал «на целину»... но погодите-ка, погодите, дайте мне когда-либо рассказать, что такое и сибирская стройка и что такое эта самая целина — разве как раз там-то и не укрывалась тогда молодая казачья вольница?

«Дорогая сестричка ты пишешь 8 марта тебе исполнилось пятьдесят лет. Так поздравляю тебя и желаю жить еще 100 лет. А я вот так даже не знаю день моего рождения. Когда получал паспорт и меня спрашивали то я сказал 12 мая 1902 года но мне припоминается как мама гладит по

голове и говорит что родился зимою в декабре. Ты написала что с Болгарии пришел Михаил Белоусов ето что ж Нюркин брат што ли если он то я его знал был такой же неудалого как и меньший Арсюха. А еще что ты спроси своего мужа Н. И. Он хорошо знал в детстве Старцевых Прокопия и Костика ето были голубятники как и твой Коля. Чи не вернулись они домой с Югославии интересно бы знать так как Прокофий Старцев по несчастному делу прострелил сына полковника Беломестнова они жили на углу около церкви наш папаша их знал. Что интересно сию как-то слушаю радива Москву вдруг спикер говорит, что на Кубани в станице Отрадной еще несколько лет назад построили иликтрическую станцию на рыке Уруп и еще что-то строят но что я уже не мог разобрать залился с радости слезами как услышал за родимый Уруп я так часто плаваю в нем во сне... Дорогая сестричка когда либо я начну тебе описывать с первого дня моего несчастного скитания но мне все еще не хотится портить отношения папаша с его братом А. А. потому что было много его вины мне много пришлось страдать по его причинам...»

А. А. — Афанасий Алексеевич, самый младший брат нашей прабабушки Тани... Как же все перепугалось и что там между ними произошло и — где, где?

Афанасий Алексеевич тогда уже был урядник, к морю он прорывался через Красную поляну с теми несколькими сотнями казаков, которые буквально прорубали себе коридор через отряды красноармейцев... По семейной, шепотом рассказываемой тогда легенде уходил он с «годовалой Лидкой», с маленькой дочкой — она висела у него за спиной в «кожаной сумке», и к дяде Афоне специально приставили пятерых рубах, чтобы они «защищали дите» — не давали ударить сзади... И они ушли в Турцию, но в Турции девочка стала болеть и гадалка сказала, что помрет, если дядя Афоня не вернется на родину... вернулся! Скрывался потом тоже в Баку: многих тогда приютил этот город... В Отрадной он был потом единственный раз, сразу после немцев, в сорок третьем: меня, семилетку, помню, поразило, что его, бородатого, наша прабабушка купала в стоящей на полу ванне — точно так же, как нас, своих правнуков... А тетя Лида не раз приезжала потом в гости из Ленинграда и из Баку... не странно ли, в самом деле? Или так оно и должно было случиться: урядник с шашкой сходил в Турцию и обратно — как к себе домой. И затаился потом, и выжил. А мальчишку как завезли тогда «Мазеевы кони»!

«Дорогая сестричка я получил твое письмо из которого узнал очень плохие для меня новости. Сестра папаша Татьяна А. умерла. Ну а как же ето так что наш отец старик не мог поладить с Мишей ето меня очень удивило и я думаю что значит он хороший сынок. Вот у него нет своих детей но он не мог приютить старыка. Вчера с 9 на 10-е сентября мне снились папаша и покойница мама. Папаша обнимал меня целовал и прощался со мной. И я так крепко плакал во сне что когда проснулся сердце хотело выскочить как голуб с груди. А мама наоборот приснилась как мы с ней очень сильно дрались. И я сегодня думаю целый день что это значит. Не случилось ли с ним что. Со старыком. Привет папаше низкий поклон и всем знакомым. Пиши ответ срочно и новости неужели я так вас не увижу. И. И. Жуков».

Факт из истории отечественного голубеводства: в 1920 году барон Врангель, покидая Крым, увез с собой почти всю голубиную русскую элиту — три тысячи птиц. В Германии эти голуби были проданы. Но через три года все они — за очень немногим исключением — вернулись в родные голубятни в Россию.

2

Было несколько лет назад в родной станице: задержался у однокашника, которого проводывал в больницу, и быстро потом спускался с пятого этажа... Уже на площадке между вторым и первым в уголок торопливо отступили, испуганно прижались к стеночке две древние старушки, и я,

несмотря на то, что опаздывал, невольно остановился: «Да что же вы, миленькие мои, так шарахнулись?.. Неужели я так уж похож на человека, который с ног собьет?»

Дружелюбно и ласково одна начала:

— Вы-то как раз не собьете — мы знаем... Но вы ж бегите? А раньше было: если казак куда-то бежит...

— У-у! — подхватила вторая ей в тон. — Страшное дело — если казак бежит!

— Это нонче: может, ему на бутылку не хватило, дак он троячку ищет.

— А раньше?.. Или война началась, или скот азиаты угнали... но если казак побежал!

Да милые вы мои бабушки, и правда: вот урок! Мне, давно седому... А может, они подсмеивались не только над теми, кто «троячку ищет», но так вот — чересчур уважительно — заодно надо мной?.. Какой я, в самом деле, казак? Что осталось во мне казачьего?.. Из того, твердого, как гранит, вырубленного... но стоп, стоп! Начнешь вот так — и рука задрмет над строкой. У кого-кого, а у казака он, ведь и верно, в ы р у б а л с я. Характер... Шашкою!

Три десятка лет назад, когда жил в любимом своем Новокузнецке, пришлось однажды очень крупно поговорить с секретарем горкома комсомола соседнего, тоже не менее знаменитого теперь, начавшего шахтерские забастовки Междуреченска... Ох и схлестнулись мы тогда с Колей Бурьмом! Оба нынче живем в Москве, но, когда соберемся, случается, вспоминаем не только Сибирь и Кузбасс: еще и мою родную Кубань, и его родной Терек. Размышляя вместе над некоторыми казачьими загадками, дошли мы кое до чего любопытного. Часто вспоминает Николай Андреевич давно уже умершего отца, и из рассказов его складывается не только портрет удивительного человека — картина странного, не сравнимого ни с чем времени. Бурым-старший рос круглым сиротой, но станицею брошен не был — по тем строгим правилам растило его все «общество»... Поэтому-то и задал он станичникам задачу, когда пошел с красными: как же, с сукиным котом, быть?.. Несколько раз возвозили за станицу расстреливать и всякий раз давали возможность уйти... «Я только потом это понял! — скажет Николаю отец. — Они любовались, как я прыгал на лошадь, как уносился сбоку или под брюхом... понимаешь: они из меня специально растили орла!» Но вот беда: мешал орел станичникам жить, как веками жили до этого, сильно мешал! Когда установил-таки — чуть ли не единолично — советскую власть, порядки пошли такие: днем он, пока казаки, бывало, работали в поле либо в лесу, увещанный оружием ходил по станице, а к вечеру они возвращались к женонам. Первым делом интересовались: «Успел Андрюха на колокольню?» С пулеметом, разумеется... «Успел! — успокаивали женщины. — Успел!» — «Ну, пускай ему перескажут, чтоб не забыл: завтра выходной — до десяти с колокольни нехай не слазит!» Они тогда и близко предположить не могли, чем все это для Родины кончится...

Еще до начала Отечественной войны жизнь сильно потрепала и самого Андрея Бурьма, но, выходит, так ничему и не научила... Уже в Берлине его вызвал к себе один известный полководец и за плотно прикрытыми дверями негромко спросил: «Когда кончишь дурака валять — в анкетах писать что — казак?.. Ни звания не повысит, ни орден дать — ты сдурел?!»

Так вот, это отец Николай размышлял над строгими заветами стариков: «Настоящие-то рубаки только зыркнут друг на дружку издалека: чтоб отличить... Ну, могут шашками только поздороваться и тут же разъедутся. Джигит джигита никогда не станет рубить — рубют «капусту»!»

Не самый, конечно, милосердный вариант «естественного отбора»... Но сколько зависит от тебя самого!

Старший Бурьм уже после войны, уже будучи в возрасте, против молодца с шашкой выезжал в кавалерийском училище с биллиардным кием и на скаку вышибал его из седла... Какой я казак?.. Из меня — по старой поговорке казак — как из дерьма пуля!

Но вот старший мой сын, капитан-ракетчик, собирает

по дому все, какие только нашел, казачьи причиндалы... На бурке, которую когда-то по случаю купил в станице «на ярманке», у черкесов, я валялся потом в подмосковной деревеньке под яблоней с газетой в руке — он и бурку унес. Справил себе черкеску, бешмет, надел папаху и мне говорит уже как бы даже и свысока: «А почему бы тебе, батя, форму тоже не сшить?» — «Сынок! — говорю. — Мне бы с содержанием разобраться. Этого самого в о з р о ж д е н и я... А тебя прошу: ты хоть бурку не носи, не будь чучелом!»

И вдруг он однажды приезжает: до-во-ле-ен!.. «Вот, — говорит, — батя, ты все не велел бурку носить... А она мне, между прочим, жизнь спасла!» — «Это каким же, — интересуюсь, — образом?»

Рассказывает: приехал он в Москву — служит рядом, — чтобы получить на складе гимнастерки для своих казаков. Сам — по полной форме. Казачьей на этот раз. А дело было зимой, потому поверх черкески еще и бурка. На складе ему отказали, хотя перед этим обещали, он огорчился, но решил не сдаваться — со складом прямым ходом в Министерство обороны... Там какой-то молодой-зеленый офицерик на посту обомлел — пропустил его. Иду я, говорит, по коридору — ты бы это зрелище видел!.. Один руку — под козырек, смеется дружески: «Что, наши пришли?..» Другой пальцем возле виска вертит, а третий отворачивается с таким презрением, что лучше бы тоже повертел пальцем... И вдруг, рассказывает, вырастает передо мной генерал-полковник, спрашивает, едва не задохнувшись: «Ты кто такой?!» Я ему четко отвечаю: «Кубанский казак, товарищ генерал-полковник!» — «Ты?! — Он переспрашивает. — Кубанский казак?.. А ну-ка, пойдём со мной!» Схватил, говорит, за руку, втащил в кабинет и с такой силой в угол швырнул, что только бурка меня и спасла: не упал, а спланировал без всяких последствий... А генерал-полковник — на одну кнопку жмет, приказывает кому-то: «Зайди ко мне!» На другую: «Зайди ко мне!» На третью — опять: зайди!.. Входят, говорит, один за другим три генерал-лейтенанта, становятся с генерал-полковником рядом, смотрят на меня во все глаза. И тут он мне и кричит: «Эт-то — мы!.. Кубанские казаки!.. Ты-то, ты кто такой?! Казаки — мы!» Жива память! Потом и чаем напоили, и полтора часа не отпускали — об этом самом в о з р о ж д е н и я и расспрашивали.

Что он мог им ответить? Кто вообще ответит?.. Другое дело, можно горячо верить: твои надежды не расходятся на этот раз с Божьим промыслом.

Сказано в Евангелии, что у Господа один день — как тысяча лет и тысяча лет — как один день... Созданный по образу Его и подобно, дерзнешь тысячелетнюю историю казачества представить до предела спрессованною и ощутишь вдруг энергетический ступок такой силы, что тебе уже не покажется удивительною тайна, над разгадкой которой ломают головы биологи: отчего рядом с мощами «честного казака» Ильи Муромца, которые лежат в пещерах Киево-Печерской лавры среди мощей других святых и героев, пшеничные зерна прорастают в три-четыре раза быстрее обычного... А ведь родословная казачества куда древнее былинных свидетельств о «заставе богатырской на тех на степях на Цицарских», где «податаманьем» у Муромца был «Добрыня Никитич млад, асаулум Алеша, поповский сын»... Как знать — не в память ли «черных клобуков», живших в добогатырскую эпоху, шьют нынче молодые казаки высокие свои бараны шапки?.. Не тени ли «бродников», державших когда-то переправы на всех главных реках будущего Дикого Поля, тревожат нынче станичников на обмелевшем Дону и на загубленной химией Кубани, по притокам да старицам которой рыбные косяки ломались когда-то так густо, что нарочным приходилось неделю-другую пережидать на берегу, дабы не быть сшибленным в реке — вместе с конем...

В приазовских, в причерноморских, в прикаспийских степях, замешанная на половецкой, казачья история навсегда осталась скоронившими бесстрашными мужей курганами, на которые глядят в немой тоске одинокие, от ожидания окаменевшие их жены... Было потом обособленное ор-

дынское житье уводимых с Руси в полон «данников крови» и татарское воинское искусство, впервые обернувшееся против учителей на Куликовом поле: воевода Дмитрий Боброк ходил в атаманах, а донские казаки, по преданию, пришли на помощь князю Димитрию с иконою Гребневской Божией Матери.

Порвав с ордой, казаки растеклись по городам и весям, поднимая ратный дух просыпающейся от долгого смирения Руси, и казацкая удаль стала заковской народного характера на юге и на севере, а умение служить не щадя живота своего во многом определило прочность государственного устройства и будущую державность России. В одна тысяча шестьсот тринадцатом году, после смуты, выборный донских казаков атаман Межаков «крикнул» на царство Михаила Романова, прикрыв записку с его именем своею саблей — в знак твердой решимости постоять за претendente на престол, но это потом нисколько не убавило вольницы на местах... Поистине одно из самых главных противоречий казачьего характера: жадное желание сильной власти и упорное сопротивление ей при малейшем подозрении о посягательстве на свободу, почти бескрайною — еще и по причине необъятности пространств, в то время еще немеренных... Не по горькой ли иронии судьбы отречение от престола последний из Романовых, Николай Александрович, подпisał, будучи одет в черкеску кубанских пластунов?.. Триста лет дома Романовых — золотой век казачества, и тысяча серебрянных труб, ровно тысяча, специально к этой дате изготовленных и подаренных потом на память о великом юбилее каждому из участников оркестра, эта тысяча пела славу, конечно же, и им, казакам. Еще одна печальная улыбка истории: через пять лет — всего лишь — эти трубы играли сбор в разных станах, и немногим трубачам удалось потом выжить, уйти за границу; на совесть — как, может быть, уже ничто потом — сработанные инструменты звучали на митингах, на партистках и трудвоскресниках, а главным репертуаром их на долгие годы стал «Интернационал»... вернемся, однако, в иное время, к иным символам. Триста лет дома Романовых — золотой век казачества, и триединство, впервые заявленное на флажках и знаках народного ополчения в 1812 году — «За веру, царя, Отечество» — как ничто другое соответствовало его вольному, но склонному к самодисциплине и самоограничению строгому духу...

Есть основания полагать, что христианство казаки приняли куда раньше Киева, и приняли, что называется, из первых рук: ведь именно по их местам прошел один из первоосвятителей — Андрей Первозванный. Как есть свидетельств Геродота о многочисленных магах и кудесниках Скифии, умевших вызывать — еще одна насмешка истории — людской э н т у з и а з м, это так и называлось, при помощи поджариваемых на кострах семян конопли, — так путешественники пятого и шестого веков рассказывали уже о походных христианских церквях. Сохранились они внутри орды и где только не побывали потом — с печальными всепонимающими батюшками, многим из которых всю жизнь приходилось только отпевать и ни разу — крестить младенца... Жестокое время, жестокие нравы, но высшая цена была жертвенной готовности отдать жизнь «за други своя». На утлых чайках, десятками тонувших во время неожиданных бурь, теряя товарищей в кровавых стычках с хорошо оснащенными многопушечными кораблями, плыли казаки в Стамбул, чтобы вырчить из плена «христианскую душу» — бывало, одну-единственную... Духовное родство всегда было для казака выше кровного. И оно было бессмертно, и каждым поколением накапливалось, и оставалось всегда тем мощно заряженным энергетическим полем, которое грело и поддерживало казака, пока мал, и которому отдавал он все — когда уходил... А чтобы подсоединиться к этому полю, чтобы подпитаться от него в трудный час либо набраться сил в роковой миг, достаточно было рвануть на груди рубаху и с неколебимой верою крикнуть: «Братцы!..» Поэтому что «братцы» для казака — не только те, кто в эту минуту рядом либо поодаль, но также все, кто жил когда-либо

до него на земле или будет жить после: они не выдадут. Они помогут. Всегда! И только вера давала им силы вести не совсем пристойные, но весьма высокодуховные диспуты с оппонентом, когда висели у него на кованом крюке, подобно легендарному запорожцу Байде, либо сидели на колу... А что хранили их, что вело во время бесконечных скитаний, переселений, странствий?..

Разборные деревянные церкви все дольше стояли на одном месте и постепенно заменялись каменными, но неизменно высокой оставалась доля отдаваемой на храм военной добычи: сперва — Господу, после — семьям погибших, сиротам, только потом — себе... Может, потому-то Царица Небесная, любимица казаков и первая их Заступница, общая Мать всех сирых и обездоленных, отвечала им тем же? После многочисленного «Азовского сидения» с иконой Ее, которую нес единственный оставшийся в живых мальчик, израненные и бесконечно усталые от осады, они вышли из остатков крепости на верную смерть, и Она вдруг даровала им победу над турецким войском, столь сильным и многочисленным, что сама мысль об этом казалась невероятной, а память об Азовской победе веками потом будет укреплять веру и спасать погибающих...

На невольничьих рынках Малой Азии самая низкая цена была крепкому запорожцу с его неизменным оседлем на макушке: все равно убежит. Такому, казалось бы, сам черт не брат. Но вот запорожцы переселились на Кубань, и соседи — черкесы — почти тут же прозвали их «баткатль»: б а т ь к и н ы л ю д и. По той причине, что постоянно слышали за рекой: батька велел!.. Батька приказал. Надо у него, у батьки, спросить... Где батька?.. Разумеется, батька-атаман. Тобю на круге выбранный. От которого теперь зависело все: пример ума и урок мужества. Которому ты доверил свою свободу и саму жизнь. И в роли которого ты сам завтра можешь оказаться... не ошибись! Ни сегодня, ни завтра.

Совсем недавно получил письмо из Уфы от башкирского студента Камилля Рахимова, казачьего сотника, замышляющего конный поход из своего родного Зауралья к Бородинскому полю... В 1814 году башкирские конные полки первыми входили в поверженный Париж — может, еще и оттого-то так сильна заданная — именно тогда! — высочайшим императорским решением память о братстве по оружию?.. Вот последние строки этого письма: «Я надеюсь, Аллах поможет нам преодолеть все трудности, и мы оседлаем своих выносливых низкорослых лошадок и двинем к Москве дорогою предков, которые спешили когда-то на выручку нашему «бачке-государю»... Б а т ь к е!

Тонкая ниточка из прошлого в настоящее — такая слабая и вместе с тем такая живучая. Сколько она собою соединяет!.. В том числе и битву под Лейпцигом в 1813 году, когда Наполеону уже доложили, что осталось последнее — взять в плен вместе с другими союзными монархами наблюдавшего с холма за исходом сражения русского императора... Но рядом с ними был учрежденный всего два года назад казачий конвой, силу и храбрость которого и предстояло узнать французам в тот роковой для них день. Связывает нас эта еле видная ниточка и с новомучеником российским цесаревичем Алексеем, тринадцатилетним мальчиком, бывшим Атаманом всех казачьих войск... Не странное ли дело?.. Казаки — единственные из всей русской армии, чей именованный командир, официальный Шеф был сразу же расстрелян, но они же — единственные, кто вывез с собой все до одного документы и все реликвии и развез их потом в музей по обе стороны океана: Донской лейб-гвардии казачий полк в Париже и Брюсселе и Кубанская Рада — в Лейквуде, штат Нью-Джерси... Случайность?.. Или можем считать, что царь для казака, царь-г о с у д а р ь, был прежде всего воплощением державного нравственного начала, он для него — символ Закона и символ Права.

Что же касается Отечества... Как только их на все на это хватило! Одни еще освобождали от турков Новороссийск, а другие прошли до океана в другом конце почти необъятного

материка, присоединили Сибирь, уже приглядывались к Аляске и видели за нею Калифорнию, куда наконец-таки дошли тогда тоже... Ведь нынешняя эмигрантская колония в Сан-Франциско — всего лишь замочек на казачьем кольце, обогнувшем мир с двух сторон. З е м н о й ш а р.

Еще одно отступление: на Первом конгрессе соотечественников в прошлом году американский профессор истории Владимир Григорьевич Улитин, девятнострелетний донской казак, который все сожалел, что не попал на родину десять лет назад, когда он «столькое бы смог не только рассказать — показать», заговорил вдруг о том, что казачья трагедия — горькое рассеяние по всему миру — имеет как бы и обратную сторону: «Кто бы в мире узнал, что такое — настоящий казак, а, станичник?.. Если бы гражданская война не выплеснула казачество, если хотите, в большой мир, который он тоже, поверьте, покорил. Уже одним тем, что не уронил казачьей марки, вы понимаете?.. Казак прошел проверку белым светом... на белый свет... как это будет совсем по-нашему, по-русски, вы понимаете?»

Как не понять, дорогой профессор. Милый, дай Вам Господь здоровья, Владимир Григорьевич — так далекий от нас станичник. Понимаю Вас: от казачьего круга — к казачьему шару. И это не план захвата, это философия спасения. Не без помощи лошадки, которая из любой беды вывезет. В том числе из кризиса нравственного. Из глобальных экологических бед...

...Оттуда до них еще было далеко: как стремительно прокатились они по всей будущей России, которую уже без былой гордости, уже как бы даже с презрением именуем о д н о ю ш е с т о й вселенской суши... Как расположились по границам эти двенадцать казачеств: Терское, Кубанское, Донское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Енисейское, Забайкальское, Уссурийское, Амурское... Двенадцать позвонков хребта державной России. С нервными их, а потому и самыми чуткими, и самыми безошибочно, честными окончаниями по всему многонациональному образованию, которое не хочется называть телом, потому что оно было больше — Д у х, и кроме объявшего все православия его составляли мусульмане — башкиры и татары, буддисты — калмыки и буряты, и язычники якуты, имевшие свой отдельный казачий полк, и протестанты — немцы...

Из двенадцати казачеств больше всего славы досталось Дону... Вы слышите: это как колокол — Д-дон!.. Д-дон!

Еще древние греки — из-за обилия тут курганов, древних захоронений, всех этих почти циклопических памятников умершим считали, что именно в этих местах находится вход в загробное царство, в иной мир, и потому-то эти места обладают особою, разнообразно проявляемой мистической силой... Сперва это может показаться чистою воды выдумкой, и тем не менее: одно из самых последних чудес произошло тут в двадцатые годы нашего столетия, когда именно тут был приостановлен геноцид, грозивший покончить с казачеством уже навсегда... Когда спорят о художественных достоинствах «Тихого Дона», невольно думаешь: в этом ли дело? Главное: эта книга страницами своими, словно стальными латами, прикрыла целый народ... Когда спорят об авторстве, печально улыбаешься: поклонники «Чайки по имени Джонатан Ливингстон» американца Ричарда Баха восторженно млеют перед мыслью о том, что повесть эту на Атлантическом побережье наговорил автору одному ему слышный голос с небес. Почему же в таком случае не допустить, что молодому человеку в другой части света — на Тихом Дону — тоже помогла Царица Небесная?

Отдадим дань мужеству и неустранимости донцов: «русский воздушный казак Вердена» Василий Федоров за шестнадцать дней в девяти боях сбил восемь немецких аэропланов и получил все высшие боевые награды Франции. Генералиссимус Жоффри в приказе от 7 ноября 1918 года, обращаясь к летчику, заявлял: «Вы удвоили славу, покрывшую знамена Верденской армии. От имени этой армии благодарю Вас за услугу, оказанную Франции».

Не надо относить это за счет старых, которые всегда

есть между соседями счетов между донцами и кубанцами, но только перед войною четырнадцатого года военные профессионалы официально считали, что... впрочем, стоят они друг друга, стоят: донская и кубанская сотня, особенно, конечно — теперь... Родная Кубань! Нынче в августе отметила славный двухсотлетний юбилей высадки первых твоих сынов в Тамани... Что это были за торжества! К подножию памятника атаману Антону Головатому кладу листок всего лишь с несколькими строчками...

Двести лет назад, в Приднестровье, убажывая казаков, граф Потемкин, уже принявший в то время сам звание великого гетмана, произвел первые назначения: кого пожаловал званием секунд-майора, кого — полковника... Одного из новоиспеченных секунд-майоров казаки тут же высекли. «Как вы могли?!» — возмутился гетман. «Действительно, было трудно, ваше сиятельство, — ответили ему со смиренным вздохом. — Вчетвером держать пришлось!» — «Но звание, звание!» — настаивал Потемкин. «Не беспокойтесь, ваше сиятельство, — ответствовали ему, — звание мы не тронули!»

Простодушные лукавцы и великие мудрецы!.. Через век они искренне и горячо гордились дворянством, полученным от государя за Балканы, за помощь братьям болгарам, а после посчитали за высший долг броситься на помощь утопающим в крови христианами-армянам — в Турции... В Белом войсковом соборе Екатеринодара хранился подаренный императором Александром II его мундир и его шапка. Особым приказом для кубанцев было сделано исключение: им разрешалось идти на службу с дедовскими кинжалами... Но они тоже умели не только мчаться в лаве. В 1911 году на одном из пустырей на окраине Екатеринодара Кубанское войско выстроилось в просторное каре, и посередине его приземлился прилетевший из Крыма, из Качи самолет казака Вячеслава Ткачева — одного из блестящей плеяды первых русских летчиков... Что говорить о твоих урожаях, Кубань, о тучных твоих стадах, о твоём богатстве, о твоей былой славе — для меня куда важнее другое. Вот отрывок из школьного сочинения, написанного в 1868 году казачком Пантелеем Сирсильным из станицы Удобной бывшего Баталпашинского отдела — наш Баталпашинский отдел считался тогда самым диким и самым захолустным на Кубани: «Добросовестного человека редко могут поколебать перемены счастья, или, по крайней мере, насильно привести его в коңечное отчаяние, ибо он находит и поддержку, и утешение в добродетели своей». Это из станичного музея: на сочинении стоит оценка — «хорошо».

Что сказать о терцах, оставшихся русскими, как, может быть, никто: именно потому, что почти неразделимо сплывили себя с осетинами — православными и мусульманами... Что — об оренбуржцах, среди которых было наибольшее число дворян и которые при переселении калмыков, потомков ветеранов войны 1812 года, из безводных степей принимали их в станицах с памятными для всех названиями: Париж, Вена, Берлин, Варшавская... Что — об уральцах, слывавших и нынче — несмотря ни на что — ревнителями старообрядческой чистоты и твердости... Что — обо всех других казачествах, которые очнулись нынче и пробуют поднять голову — после долгой, почти смертельной летаргии?

Издавна говорили, будто Кавказ — наборный пояс России. А на Кавказе знатоки могут рассказать о других поясах. Был такой: пояс-клинок. По старинным рецептам сваренная из стали высих проб шапка в мягком кожаном чехле стягивалась на пояс — ручка шапки служила для этого своеобразным замком... Представим, что это была за сталь. Что это была за шапка. Что это был за джигит, который налегке, только с такою шапкой на бедрах отправлялся в дальние чужие края... Так вот, русский зигун, конечно же, был подпоясан такой удалою шапкой уже казачьей, кованной из лучшего материала, гретого в самом жарком горниле, каленного в самых студеных водах. Недаром звали казаков, рыцарями славянства.

Не было у них достойных противников, нет!

Только казаки с казаками и могли справиться...

Есть старая легенда о том, как в королевском замке два бесстрашных рыцаря поспорили из-за цвета щита, висевшего посреди зала для турниров. Первый говорил, что щит — белый. Второй утверждал: красный. И только когда они убили друг друга, кто-то из свиты, сам не умевший стоять мечом и спокойно наблюдавший за поединком со стороны, с улыбкой обратил внимание государя на то, что оба рыцаря были правы: одна сторона щита, и в самом деле, была красной, другая, и точно, — белой. Просто рыцари стояли по разные стороны от щита.

3

Осенью прошлого года я ждал приезда кубанского казака, который жил в Бельгии, и попросил старшего сына помочь мне — на Белорусский вокзал приехать в черкеске. Интуиция подсказывала, что гостя, знакомого только по телефонным переговорам, это должно растрогать... Что ж; пусть встреча с родиной предков начнется для него с радостного толчка сердца.

Сын позвал с собой приятелей, и, когда они высадились из «жигуленка», я невольно улыбнулся: целый конвой!.. Что-то полузабытое, но будто очень знакомое в прошлом шевельнулось в душе, я вдруг построжал, подтянулся... Может быть, когда они станут старше, генетическая память проснется и в них?.. Или в них — теперь уже никогда? Конвой наш тут же отстал от меня и растянулся по перрону. Поезд уже притормаживал, а один из них все еще любезничал с девчатами, другой продолжал стоять возле парней с гитарой, третий никак не мог уйти от любопытных носильщиков...

Сошедший с поезда наш гость и в самом деле растрогался до слез, но тут же как будто устыдился их, взгляд его сделался не то чтобы цепче — словно придирчивей. Несмотря на искреннюю благожелательность гостя, я ощущал это все ясней, начал спереживать ему, и он тут же заметил это и все понял, но это только усилило во мне ощущение вины — в том числе и моей вины, личной.

Потом, когда уже сидели за столом, пятидесятирехлетний Михаил Антонович Жданов, сын хорунжего из станицы Упорной Лабинского отдела, ушедшего в гражданскую с генералом Шкуро, нет-нет да и произносил непонятное мне слово «аталик», всякий раз поминая при этом какого-то «осетина Мистулова», и я, считавший себя хоть в какой-то мере знатоком кубанской жизни и старых обычаев, все помалкивал, сам пытаюсь докопаться до сути: что это может быть за «аталик»? При чем тут этот Мистулов? И вдруг уже ночью, когда впечатления дня тихонько гасли и уже замирали перед сном, сознание мое вдруг пробила догадка: да это ведь, он непривычно, «не по-нашему» произносит знакомое слово: а т а л ы к — воспитатель! Тот, кто берет в свой дом совсем маленького мальчика и после, когда в шестнадцать лет возвращает его отцу настоящим джигитом, получает все права кровного родственника... вот оно что!

Тут, на родине, я уехал в Сибирь на стройку, и мама чуть не силой — «нечего дитю в палатке мерзнуть из-за дурных родителей!» — оставила нашего старшего у себя: в станице рос потом «как трава»... А они на дальней сторонке, в чужой Франции, соблюли один из самых древних обычаев! Жданов с детства учился не только крепко сидеть в седле, но и шить, сапожничать, ковать лошадей, делать наборные пояса, уздечки, седла, кинжалы... На нем и нынче был сшитый собственными руками бешмет, перехваченный легким, с косяными концами, кавказским поясом — тоже своей работы, и собственной работы была трость с набалдашником из черного серебра... В кожаной сумочке на боку у него имелся набор миниатюрных инструментов и крошечный фонарик: захлопнулась дверь в квартире, и мне не пришлось звать слесаря — насмешница надо мною, открыл тут же. Потом, когда во время нашего путешествия в Екатеринодаре у меня не взяли в срочный ремонт башмак, Жданов починил его сам — с помощью мудреного перочинного

ножичка да лежавшего под ногами «оружия пролетарията» — булыжника... ох, не в ту сторону летело в свое время это оружие, не в ту!

Уже сам, в завершение обучения у «аталика», Жданов-старший преподавал сыну кое-что из жестокой науки гражданской войны, обучил кое-каким казачьим приемам да старым хитростям и благословил на службу в алжирском экспедиционном корпусе: крошье отблагодарить Францию за ее не одних Ждановых спасшее гостеприимство... В Алжире он начинал с «грязного русского», но отцовская школа не подвела — уже через три месяца офицеры говорили ему: «Что скажешь, шеф? Будем наступать или еще денек выждем?»

В один из первых его дней в России, на родине, я попробовал извиниться, когда в кафе нам дали не очень чистые стаканы, но он весело утешил меня: «О, в Алжире это было бы счастьем!» При виде всякой грязи с тех пор или какого бытового неудобства либо неустройства мы с Михаилом Антоновичем, посмеиваясь, поминали Алжир... часто же, к несчастью родины, мы его за время путешествия поминали!

А тогда в родительский дом он вернулся с орденом, но в том душевном состоянии, когда орден этот не радовал, и тут-то отец, мечтавший сделать из него инженера либо врача, завел однажды в комнату, где на просторной кровати лежала распластанная новенькая черкеска и вся остальная казачья справа и коротко сказал: «Джигитуй — с Богом!»

«Мы работали на ипподроме или на стадионе, а главный из нашей группы, наш джигитский атаман, стоял с плеткой в руке... Не прощай нам ни халтуры, ни понта, какой принят в Европе у наездников-циркачей... как это? Показуха, да. Так вот первая плеть была — за показуху. Все — как у казаков, как в бою, — то и дело зажигался теперь воспоминаниями Жданов. — А знаете, как он заработок делил, наш атаман?.. Все высыпали деньги в одну кучку, и он перемешивал ее шашкой, а потом отделял на глаз — шашкой опять — большую часть: это лошадам, а остальное делите поровну!»

Не одна симпатия к моему гостю говорит во мне, когда пишу эти строки о нем, нет... Может быть, — и он, думаю, поймет это и этому обрадуется — больше подталкивает меня тоска по тому казачьему образцу... о б р а з у, который тысячелетия был полнокровной, одухотворенной реальностью, а нынче видится почти как фантастический...

«Для меня это будет слишком много — нет-нет! — говорит человек пятидесяти трех лет, прикрывая рюмку ладонью. — Отец разрешил только раз в году, на Пасху, — один маленький стаканчик!»

А «конвой» наш рад был случаю под сурдинку выпить бутылочку, уже расслабился и, конечно же, вальяжно развалившись на диване, перекуривал... Гость, продолжая говорить с ними, привстал, но никто из них не только не вскочил тут же — даже не пошевелился... Что повсеместный «Алжир», затопивший наше Отечество! Куда печальней этот поселившийся в нас беспорядок внутренний... Не моя ли в нем тоже, и в самом деле, вина? Или это все — последствие безмолвного взмаха шашки, который не только лишил жизни мою родную бабушку Стешу и разбил уже тогда наши судьбы, но и рассек тысячелетнюю историю, навсегда разделил не только некогда единый, сильный народ, но и оставил незаживающую рану в душе у каждого?

Мы со Ждановым подгадали верно: приезд его совпал не только с изумительной октябрьской погодой на общей нашей родине, в Отраденском да Лабинском предгорье, но и со временем проведения второго съезда Кубанской Рады — накануне Покрова Божией Матери, самого признанного по всему миру казачьего праздника... В Екатеринодаре поднимались с ним по ступенькам бывшего дома политпросвещения и на бетонном пятачке перед входом носом к носу, что называется, столкнулись с Юрием Черныченко — главою, значит, крестьянской партии. Знакомы с ним давно, еще с сибирских моих времен, когда я сопровождал его, уже столичного в то время газетчика, по нашей Богом забытой тогда «ударной» стройке. «Это что же, Юра? — спро-

сил его теперь. — Наш пострел везде поспел, что ли?» — «Стараюсь бывать на всех экзотических мероприятиях!» — очень бодро отозвался наш ведущий аграрий.

Жданов даже слегка отшатнулся и потом, когда входили в большой зал, наполовину заполненный казаками в черных, темно-синих, серых черкесках с алыми башлыками, негромко и расстроено спрашивал у меня: «Это — э к з о т и к а ?.. Тут, на Кубани?! Я думал, экзотика это — там. В Испании, где я джигитовал. В Швейцарии. В Голландии и в Норвегии... или теперь и тут, уже и тут?!»

Сорокалетний атаман Рады Владимир Громов, кандидат исторических наук, недавно вернувшийся из Соединенных Штатов, где гостил у кубанских казаков, говорил негромко, иногда поправлял очки, но избур-малиновая, с серыми ба-сонами черкеска, сшитая в одной из заокеанских станиц, очень шла ему, держался он уверенно и с достоинством. Мне довелось быть на первом, учредительном, так сказать, съезде Рады, я радовался теперь явным переменам и в самом атамане, и в общем настроении собравшихся — атмосфера была и более братской, и в то же время более деловой... Но Жданов слушал доклад, по-моему, внимательнее всех, и в конце, когда по «совдеповской» старинке в зале ударили в ладоши, он стремительно приподнялся, забыв оставить в ногах свою трость, растроганно сказал: «Это — по-казачьи!»

Таким же кратким образом комментировал он потом все, что происходило здесь до вечера и весь следующий день. Один ясно и четко говорил о службе в армии по земляческому принципу, основанному на коллективной ответственности перед своими станичниками — за каждого, кто призывался вместе с тобой, и «алжирец» наш невольно приподнимал свою трость: «Это — по-казачьи!» Другой вдруг начинал о пустяках, но выражался витиевато и паузу выдерживал, кажется, только для того, чтобы взглядеться в зал: все ли одобряют его бешмет и новенький, только из Дагестана, кинжал на кавказском поясе или есть — кто против?.. И Жданов потухал и со вздохом бормотал под нос: «Не по-казачьи!»

После горячих речей о традиционном самоуправлении зашла речь о земле, снова вспыхнули споры, пожалуй, самые жаркие, и мне вдруг показалось, что Михаил Антонович тоже рванулся к микрофону, я даже отодвинул колени, давая ему пройти... «За ключок кубанской земли я отдам последние деньги, но у меня их немного! — горько сказал, сцепляясь руками в ручки кресла. — Если начнут продавать — землю купят, у кого теперь деньги, а не те, у кого — тут!» И положил руку на сердце, и провел ею и раз, и другой, и третий, словно разглаживая на груди свой темно-синий, самим им сшитый бешмет.

Рада прошла, как я понял, все-таки «по-казачьи», и к этому мы возвращались потом не раз, когда ехали по степным да горным дорогам... Ко многому он уже привык и не просил больше остановить машину, чтобы подобрать на дороге упавшую с грузовика свежину либо початок кукурузы: нужна ведь целая автоколонна, чтобы осенью все это на Кубани подобрать!.. Но когда я попросил водителя остановить «Ниву» перед станицей Бесстрашной и мы взошли на высокий холм, откуда хорошо было видать и белоснежную цепочку Кавказских гор справа, и удивительной красоты долину под нами внизу, он вдруг растопыренной пятерней стал водить по верхушкам высоких трав и в недоумении спросил: «Почему это не скошено?.. Такую траву для своих лошадей я бы согласился срывать руками!» Смотрел потом на горы, и на щеке его медленно удлинялась влажная бородачка... лошади, его лошади! Я уже хорошо представлял, что они в его жизни значили...

У него было шесть высокопородных, хорошо обученных лошадей, с которыми он ездил по сопредельным с Францией странам: трюки для кино, джигитовка, престижный, не для бедного человека, конный туризм по немногим еще относительно диким уголкам... И ездил бы, может, до сих пор, если бы на одной из улиц Парижа пьяный водитель не припечатал его бампером к стоящей у тротуара машине... Тра-

гическая нелепица: чуть ли не ежедневно человек сознательно рискует собой — такая профессия! — и однажды вдруг оказывается выбитым из седла совершенно неожиданным ударом судьбы. Пять лет он выживал в госпитале, пять лет расправлялся женой о лошадей, и она пять лет часами рассказывала ему о каждой. После травмы физической последовала глубокая душевная: он понял наконец, что коней давно нет — жена продала их, чтобы обеспечить ему достойное лечение. Она же, фламандка, перевезла его, еще полуживого, в Брюссель, в родные ей стены, как говорится. «В квартире на восьмом этаже зимой умираю дважды в день!» — сказал он однажды очень печально.

Но вот он, по-прежнему крепко сбитый теперь еще и оставленными в костях стальными да пластмассовыми штырями, — с черной повязкой через левый глаз, деликатный и грустный человек, стоял на одном из некошеных холмов своей некогда великой родины и смотрел на белоснежную цепочку поднебесных гор... Родина должна была его подпитать своим гордым духом, дать силы жить дальше в чужом многоликом городе... даст? Подпитает ли?

Когда ехали по станице, я попросил обождать нас у клуба, и мы со Ждановым обошли его, остановились у торца, по которому большими красными буквами шла видная издалека надпись: «Дорогие земляки! Как нам в а не х в а т а е т!» Ниже расположились столбцами цифры — год и количество жителей в Бесстрашной: «1913 — 7780, 1917 — 4563, 1989 — 0990». Печальная эта, похожая на поминальный плач статистика появилась тут два года назад, когда праздновали столетие со дня основания станицы... «Почему такой резкий спад уже в семнадцатом? — взялся тогда рассказывать Иван Петрович Брунько, коренной бесстрашнец, перебивавший тут на всех, какие только есть, руководящих должностях: люди постоянно выбирали — райком снимал. — С Константином Дмитриевичем Еременко, учителем истории, в архивах откопали недавно, что только в германскую тут появилось больше двадцати георгиевских кавалеров... А сколько погибли?.. Станица так называется ведь недаром — оправдывали название. А потом... потом, — и обернулся, позвал стоящую неподалеку женщину в старинном казачьем костюме. — Надежда Дмитриевна!.. Расскажи-ка писателю, где наши земляки...»

Она сперва задумалась, помолчала — только головою покачивала, словно настраивая себя. Потом начала рассказывать — как напевать:

— Муж военный был, жили на Севере, в Архангельской области... Вот один раз заболели у меня зубы, я в город собираюсь, а старый знакомый и говорит: познакомись в «зубном» с девочкой. С землячкой нашей. Я сперва не поняла... Девочка и девочка, ладно. Приехала, очередь заняла — первая!.. А к восьми часам карточек — много-много. Приходит вдруг старая старушка — и так высокая да еще на высоких каблуках. В древней какой-то шляпке, вся в черном, но как у школьницы — бант... Усмежнулась и карточки перемешала, как карты, — не будете, мол, хитрить!.. Я чуть не заплакала: издалека приехала, а главное ведь, болит, болит зуб! Стала ей что-то объяснять, и каким-то боком про Кубань вырвалось: или она спросила, откуда я родом, или я почему-то вспомнила... Взяла меня за руку, отвела к врачу, а когда уже с кресла встала, она мне и говорит: походите пока по городу или в приемной посидите — вы мне нужны! Зачем? — думаю. Но жду, — строгая!.. Выходит наконец: поедете со мною на кладбище. Я говорю: зачем?.. Она говорит: так надо. Потом поймете, зачем. А пока быстренько — я спешу... Приехали — огромное кладбище. Старое, заросшее, почти не видно могил. Она говорит: земляки ваши. И мои тоже. Кубанцы и ставропольцы. Из лагеря, где мой муж был. Из женского, где сама... Якобы кулаки. Золотые наши работники! Видите? — говорит. За день не обойти!.. Я не выдержала: на колени упала и заплакала — такое жуткое кладбище, как будто бы без конца и без края! А старуха опять — строго так: еще побудете?.. Уже одна? Или со мной поедете? На работу спешу. Я ей: вы же, говорю, сегодня уже

закончили?.. А она: в зубном у меня — до двух. До восьми потом — поликлиника. А потом — ночное дежурство в больнице. У меня, у глупой, ума не хватило, спрашиваю: а куда ж вы деньги деваете?.. А она: вы что, ничего не поняли?.. Тут работники лежат наши. Тут!.. Обратно в часть вернулась, знакомый спрашивает: ну, видела «девочку»? Землячку нашу?.. Видела, отвечаю. Только вот с ее работой — не совсем поняла. В трех местах деньги получаю, а без латок на ней — один бантик. Все остальное штопаноперештопано... А он перестал улыбаться и говорит: да надо было тебя предупредить — может, тоже что из одежды или обуви ей отвезла бы?.. Люди ее и одевают, и обувают. А кто и кормит... А всю до копейки зарплату она до сих пор, — по госпиталям да по детским домам рассылает...»

— Может, простим им нескошенную траву? — сказал я теперь Жданову. — Это с чабанами-гордами да с русской бездомовщиной, со с к и р д я т н и к а м и — для кого скирда — дом родной, другого нет — девятьсот девяносто. А на самом деле — семьсот шестьдесят восемь. У меня друг отсюда — он плачет над этой цифрой...

— Да! — горячо сказал Жданов. — Да! — Голос его вдруг надломился. — А меня «не хватает» в Упорной, откуда уходил мой отец...

Куда только они, и в самом деле, не уходили!

Осенью сорок первого, когда многие из лучших уже успели сложить головы, на Кубани объявили о создании добровольного казачьего корпуса. В него шли парубки, не достигшие призывного возраста, шли пожилые казачки и шли девчата. Уже совсем недавно, когда ехал из своей станицы в Екатеринодар, во время остановки автобуса в Тихорецке услышал разговор двух очень пожилых женщин и понял вдруг, что одной из них пришлось воевать тогда в легендарном корпусе. Она как раз на минуту отлучилась, и я с соседкой заговорил: виноват, мол, — невольно подслушал. Уж такая моя профессия — особый слух... Это правда? Что ваша попутчица во время войны ходила в сабельные атаки?

Как о чем-то очень обычном моя случайная собеседница ответила:

— Да она еще и после была — ох джигитка! Носовые платки, было, на май по выгону раскидают, а она их зубами на скаку соберет!

Вернулась наша «джигитка», уже совсем старенькая, и я начал, торопясь:

— Ваша подруга только что рассказала, как вы носовые платки подбирали зубами на скаку...

Она беззаботно отмахнулась:

— Тю на вас... чи это на ее?.. Скажет еще! Да кто ж платки зубами собирает?

Я слегка опешил: «А как?» И она улыбнулась: «Зубы ж можно разбить... Они для этого не приспособленные — губами надо!»

Меня уже искали мои станичники — водитель сигналил, автобус наш трогался... Я сел на свое место и вдруг почти до боли смежил веки и зубами сдвинул губу: то, что я терял в суеде какое-то знание, которого у меня не было раньше, терял наверняка удивительную историю — все это ладно... Неужели, подумал я, история моего Отечества так и потеряет эти героические характеры уже навсегда — в очередях у иностранных посольств, в давке за зарубежным паспортом, среди бесстыдства рок-музыки и безобразия конкурсов красоты... А тогда они, тоже в семнадцать — восемнадцать, шли добровольцами в этот казачий корпус. И шли в него старики. «Куда собрался, отец?» — спрашивали в военкомате у очень уж пожилого казака. А он вдруг укорял: «Не тяните, сынки, резину — неудобно!.. Там в коридоре люди постарше ждуть!» Уже погибли под Москвою их внуки из четвертого армавирского эскадрона, по казачьей старой традиции отпустившие лошадей перед смертельным поединком с двумя батальонами немецких танков... С шашками — иногда самодельными, на лошадах, чуть не вчера только выпряженных из колхозных бричек, в августе сорок второго нестроевые казаки с женщинами-казачками стали под станицей Куцевской на острие вражеского прорыва. Это тогда

они почти целиком вырубил знаменитый стрелково-егерский полк «Зеленая роза». Последнее в истории войн кавалерийское сражение такого масштаба... «Сверкая клинками, они внезапно обрушились на немцев и рубили их три часа сорок минут», — это из книги американца Мориса Хиндуса «Казачи». Из беседы — в 1944 году — с генералом Н. Кириченко, командовавшим корпусом добровольцев под командой Куцевского: «Вой холодным оружием... был яростный и беспощадный». Впоследствии Кириченко, описывая его, сказал мне: «Немцам потребовалось восемь суток, чтобы похоронить убитых».

А по немецким фронтам кочевал казачий корпус генерала Гельмута фон Панвица, с гордостью и достоинством честного солдата сказавшего потом, что самой большой его военной удачей была эта: служить с казаками рядом. Сбитые с толку в конце войны уже окончательно, они неожиданным рейдом взяли Прагу: златоглавая чешская столица должна была стать залогом успешных переговоров с родиной... Но в это время шли уже другие переговоры, и итогом их стала выдача англичанами собранных союзниками в лагере под австрийским Лиенцем казаков вместе с женами и детьми...

Факт, мало пока известный: в тридцать четвертом году один из приехавших с Шолоховым стариков, вручая Сталину в Кремле пшеничный каравай, неожиданно завел речь о том, что «отец народов» — казак вылитый. Молотов и Ворошилов бросились осаживать зарвавшегося станичника, но Сталин вдруг сказал: «А почему бы мне не стать казаком?.. Но надо, чтобы меня официально приняли». И вскоре в Кремль пришел необычный протокол: вождо сообщали, что на одном из станичных кругов под Вешенской ему крикнули старинное «любо!». Традицию, правда, слегка нарушили: «принимали» заочно. Ну да ведь вполне понятное дело: не гулял будущий казак, занят был, приехать не смог.

Теперь, в сорок пятом, приписной казак Джугашвили Иосиф, десять лет уже носивший полушаровары-полугалифе с донскими лампасами, выторговал у союзников тридцать тысяч казаков родовых — из самых разных земель. Многих из них расстреляли тут же, за Дравой, остальные погибли в северных лагерях. После полутора лет допросов с пристрастием были повешены подбородком на крюк генералы Краснов, Шкуро, Долманов и Клыч Султан-Гирей, стасший в сорок втором в родной Адыгее русских от возможной резни... Дата выдачи англичанами казаков — 1 июня — отмечается нынче повсеместно по всему казачьему миру.

В этом году в самом начале мая дома у меня раздался телефонный звонок. Человек с заметным французским акцентом весело сказал, что говорит со мной Пьер Пахомов, потомок донских казаков, «последний, — так он дословно представился, — в Париже русский джигит». Номер телефона дал ему мой друг, «осетинский циркач Ирбек Кантемиров», который находится как раз на гастролях во Франции. Может, у меня есть проблемы? Пьер Пахомов готов мне помочь. Естественно, я сперва, посмеиваясь, поблагодарил, а потом уже серьезно спросил: а нет ли в Москве проблем у «последнего из могикан» — чем, как говорится, могу?.. Нет проблем! — ответил он все так же весело. Кроме одной: и хотел бы увидеться, да кагебе не обратится этому — торопит ехать домой. При чем кагебе?.. А вот: раньше у них были трения потому, что кагебе очень любил Л е н и н. А Пьер Пахомов его не любил. Теперь все наоборот: кагебе уже не любит Л е н и н. А Пьер Пахомов наконец-то проникся к нему величайшей благодарностью... «За что? — удивился я. — За что же?» — «За то, что вышвырнул нас из России во Францию!» — рассмеялся «последний русский джигит». Он ведь только что с Дона, из родных мест — увидел, как живут его земляки... Пьер Пахомов, спасибо Л е н и н, живет чуть получше них!

Мне вспомнился стоящий на холме посреди нескошенной травы бельгиец Мишель Жданофф. Мой друг Михаил Антонович. Антонович... Миша. Вспомнил, как он грустно говорил: в брюссельской своей квартире умирает зимою

дважды в день. В том числе — от тоски по родине, куда собирался непременно вернуться его отец, у которого всегда готов был собранный, тщательно уложенный для этого случая чемодан. И который завещал потом перед смертью сыну привезти на его могилу во Франции кладбищенской земли из родной станицы Упорной...

И вспоминалась мне старая легенда о птицах с одним крылом... Кто смог с птицею такое сотворить: живую разделить надвое?.. Не бездумная ли казачья шашка и тут была виновата? Та самая, да.

Но только с тех пор, чтобы взлететь и подняться высоко над землей, однокрылые птицы непременно должны собираться по двое и плотно прижиматься одна к другой...

Удастся ли нынче это казачеству?

Ощутить прежнее, некогда такое надежное братское тепло и взлететь.

Над почти погубленной своею землей.

Чтобы спасти ее.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАШИХ

«Наши больше никогда не придут» — очерк под таким названием я написал два года назад, перед самыми выборами в Верховный Совет России.

Тогда уже стало о ч е в и д н о, по крайней мере, в Москве, что вся эта болтовня о правах человека и демократии — очередной обман, еще одна ловушка, из которой всем миром долго потом не выберемся и в очередной раз будем в кровь друг дружку топтать, пытаясь выжить.

В те дни по улицам столицы разезжали юркие «жигульки», в которых сидели сильно похожие на марксов немытые бородачи с «дипломатами» на джинсовых коленях — «отстегивали» крикунам да пикетчикам, срывавшим и без того редкие предвыборные плакатки «шовинистов» да «черносотенцев» — «патриотов», одним словом...

Перед этим случай свел меня с молодым розовощеким американцем, основателем международной организации «Союз встречи на Эльбе». Так и не добившись от него достаточно внятного объяснения, почему эту организацию основал именно он, родившийся после войны и не имевший к тому же предков, которые бы в ней участвовали, сам я тем не менее надолго погрузился в воспоминания моего военного детства... Все вдруг снова очень живо припомнилось: и поездка в кузове полуторки с газогенераторным, который надо было подтапливать чурками, мотором из станицы Тбилисской, почти из-под немцев, до Армавира, и попытка матери пешком уйти с нами, двумя ребятами, из Отрадной, и оккупация потом с ее голодом и страхами, и приход наших... нет-нет, хватит, нет!.. Потому что опять, как вспомнишь, слезы навертываются: как мы их, мальчишки, встречали!

И разве это, и в самом деле, не парадокс, что победное возвращение тогда, в сорок третьем, как бы предопределило поражение моего поколения после, спустя почти полвека... Ведь страшная война с Гитлером — всего лишь эпизод куда более кровавой, жестоко планомерной войны, которая идет против нас вот уже на протяжении сотни с лишком лет. Но мы это поздно поняли!

«Мы слишком горячо всегда верили в то, что в трудный час наши непременно придут, и выручат, и спасут... Мы были слишком беззаботны, и вот она, расплата, — за это за все, вот оно горькое осознание, что такое и в самом деле случается лишь однажды: и страшная война, и освобождение, и — победа.

...Так вот, никогда они больше не придут. Наши.

И хватит эйфории, в которой мы пребывали десятилетиями: н а р о д — п о б е д и т е л ь.

Мы — обманутый народ.

П р е д а н ы й.

Разве это не главное для нас — ясно осознать свое положение?

Половина дела, как говорится.

Каким бы грустным положение ни было.

Но Бог не выдаст, как наши предки говаривали.

Вместе — не пропадем.

Наши никогда больше не придут...

Выше голову, братья!»

Так заканчивалась эта моя работа, написанная два года назад.

И вот что за нею последовало...

Прошлым летом мы снимали на Кубани документальный фильм о казаках — первый из цикла «Последнее рыцарство». Несмотря на многие трудности, работа шла временами лихо, но мне все казалось, что эта лихость — та самая, с которой лилипуты пытались совладать с Гулливером... Стремительно переезжала группа с места на место и почти так же стремительно ссорилась вдруг из-за денег, а в вышине, будто тени прошлого, не торопясь плыли величавые облака... О, Родина моя, как мне бывает стыдно перед тобой, когда, желая сохранить свой образ для тех, кто далеко от дома либо придет в наши места уже после нас, я привожу с собой людей, по манере напоминающих городских «щипачей» — карманников, скорее нагло, нежели ловко «работающих» словно в битком набитом автобусе... Как писал историк Ключевский, «русская интеллигенция — листья, оторвавшиеся от своего дерева: они могут пожалеть о своем дереве, но дерево не пожалеет о них, потому что вырастит другие листья».

Когда оно вырастит их, когда?!

И как одиноко, как холодно, как бесприютно бывает биться на юру, когда, попытавшись было и тебя увлечь, самонадеянная стая срывается в очередной раз, ожидая, что попутный ветер если не сразу перенесет ее за океан, то опустит где-либо в благословенной Европе... Пожалуйста, не кривитесь насмешливо: половина бывшего союза кинематографистов снимает нынче фильмы о казаках, чтобы прибархалиться где-либо у казачьих могил за рубежом: в Лиенце, в Париже, а то уже в Штатах либо в Австралии.

Меня, пока мы снимали на моей родине, грело вот что: в Патриархии в Москве шли переговоры об участии казаков в переносе мощей преподобного Серафима Саровского — из Богоявленского собора, где они пока находились в Москве, в дивеевский Свято-Троицкий храм.

Тут было такое радостное для души совпадение: вся зима прошла для меня как бы под знаком Преподобного... Живший в голицынской Доме творчества в комнате рядом писатель Юрий Калинин дал мне почитать старинный томик Сергея Нилуса, и мы потом часто и подолгу беседовали о «саровском чудотворце». Бывает же так, я словно готовился услышать о том, что мощи найдутся, в новью обретенны будут, и, когда услышал, чуть ли не сказал себе: так и должно было случиться — вот оно, вот!.. Трижды ходил потом в собор, в Елоховскую церковь, на торжественные молебны, дожидаясь очереди у раки с мощами... Приобрел в храме иконку Преподобного на деревянной основе — досталась последняя! — и несколько картонных раздал домочадцам и друзьям... И вот новое: и неожиданное, и такое вроде бы должданное! Ведь в торжествах по случаю явления мощей в 1903 году участвовали два казачьих полка в полном составе.

Повторится ли почетная — и такая ответственная теперь! — казацья служба?

Но вот из станиц и городов слетелись кубанцы в Екатеринодар, вот уже выстроились на просторном дворе Рады, и батька Громов, атаман, обходит торжественно замершие ряды: «Вы отдаете себе отчет, казаки, к какому святому делу предстоит вам приблизиться?..»

Пожилый казак Николай Петрович Авдеев, возрастом чуть ли не вдвое старше Громова, половину жизни пробывший каторжником в Норильске, ест меня глазами, нарочно поднимает брови под край косматой своей белой папахи,

бездолжно спрашивает: «Замолвил перед батькой словечко?.. Не откажут деду Авдею?.. Несмотря на сердце — возьмут?!»

В Москве, куда приехали всего лишь на денек, «перезарядиться», киногруппе не повезло: вглухую запил водитель... А казаки уже шли вслед за ракою с мощами Преподобного, уже мелькнули в программе «Время» серые черкески ставропольцев. Потом случилось несчастье с близким родственником жены нашего режиссера, и он решил, что должен сопроводить ее на похороны... Поездка наша в Дивеево — уже без него — висела, что называется, на волоске, и, перед тем как лечь спать, я горячо просил Преподобного явить житейское чудо: помочь нам уехать с другой машиной.

Выехали мы рано, но незнакомая дорога съедала время, и «рафик» наш явно запаздывал... Миновав «владимирские проселки», уже по нижегородским к святым местам подъезжали около шести, белое от летнего зноя небо к вечеру сделалось голубей, и по пустынной дороге — все уже там, уже проехали! — машина наша постоянно держала на висевшем невдалеке маленькое розовое облачко, очень аккуратное, очень похожее на хлебную, от круглого каравай, горбушку... Почти что чудом, и правда — без бумаг на аккредитацию — удалось нам прорваться через «гаишные» заслоны прямо к воротам монастыря, потом, когда уже сквозь бесчисленную толпу пробивались к храму с камерой — потребовали вдруг документы омонковцы, но сразу за их цепочкой, как бы внутри, на главном месте стояли казаки, стояли свои, кубанцы, да что кубанцы — станичники!

— Гриша! — закричал я. — Григорий!

А правда: разве не чудо?

Четыре года назад в нашей Отрадной снимали фильм по моей повести «Брат, найди брата»: о том, как спивается казацья станица. И вот, пожалуйста: на роль алкашей кандидатов сколько угодно нашлось, киношники настоящей конкурс устроили, и свои, от р а д е н с к и е, играли потом не только в маесовках, да еще как неподдельно играли, правдиво как!.. А казаков... где ты их теперь, казаков?.. Днем с огнем!

Выручили, естественно, столичные каскадеры да несколько человек из местных, кого можно по пальцам пересчитать — последние эти могикане, кто еще и действительно, не только на словах не забыл, что — казак... Среди них был, спасибо ему, и Гриша Овчаренко, но с тех пор мы долго не виделись, встретились вдруг уже тогда, во дворе Кубанской Рады. «Леонтьевич! — обнял меня Гриша, сказал радостно: — Меня в Дивеево кашеваром на полевую кухню назначили: не отбивайся от земляков — не пропадешь!..»

Но пока Гриша в охране, в этой живой цепочке, в которой над новенькими черкесками замерли косматые горские папахи кубанцев. Руки у всех напряженно вытянуты, каждая с соседской — в замок, но Гриша рядом со своими соседями как старший брат смотрится: наградила матушка-Кубань ростом, наградила!

— Гриша!.. Станичник, выручай!

Напирает сзади толпа, не слышит Гриша... разве не чудо: не могли по району, по о т д е л у, как раньше-то говорили, и двух десятков казаков наскрести, а тут вон — две шеренги от ворот монастыря до самого входа в храм: какие богатыри да красавцы, и сколько знакомых, таких теперь родных лиц!

— Андрей!.. Алеша!

Отраднский атаман Алексей Емцев показывает наконец свой пышный ус, косит глазом и тут же начинает быстро кивать: погодите-ка, мол, — сейчас, сейчас!

К моменту, когда из храма торжественно вышел Святейший, Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II, с высокочинными иерархами, мы с оператором Сашей Мещеряковым стояли уже на самом удобном месте... прости мне, батюшка Серафим, совсем недавний грех осуждения молодых, направь их и научи наконец любить многострадальное Отечество!

Потом, уже совсем поздним вечером, когда мы все, что

смогли, сняли и я уже побывал в Троицком храме возле раки с мощами, когда люди от храма слегка отхлынули и почти равномерно рассеялись по двору — кто стоял на пятачке перед церковью, кто сидел на каменных приступках, а кто и неподалеку — на земле, — настала как бы такая тихая минута неторопливого размышления надо всем тут происходящим — именно в эту самую тихую минуту, сейчас...

Это сколько же лет назад упреждал чудотворец, умерший в своей келейке во время молитвы в 1833 году: «Плотью в Дивееве лягу». И вот оно: только произошло!.. Еще он говорил: «Саров — рукав, Дивеево — целая шуба». Чем ему суждено стать в людских душах?.. Чему тут, в этом сельце-городишке с таким удивительным названием суждено, выходит, еще произойти? Не то что знать — хоть слегка бы догадываться, чтобы чуть легче, может, дальше жилось: чем у?

Сокровенные минуты тихого вечера, когда словно доступнее сделались тайны мироздания: сиди себе, умиротворенно глядя на венчающий церкви крест, с которого только что сошли закаты отблески... размышляй!

Именно в эту минуту подошел ко мне невысокий худенький человек примерно моего возраста, с виноватой улыбкой назвал вдруг мою фамилию:

— Ведь это вы, правильно?

Как это бывает, когда не узнаешь знакомого, мне сделалось неловко:

— А вы, значит? Где мы с вами могли...

— В Сибири на стройке! — сказал он все так же негромко и даже как бы с ноткой вины в голосе. — На Антоновской площадке.

Я откликнулся радостно:

— На Антоновке?!

— Нас с вами в партию принимали вместе... в один день. На Запсибе. Ну, вы, конечно, забыли меня... не помните?

Есть у меня старый добрый знакомый: Николай Андреевич Бурый, Коля. Судьба свела нас еще давно, тоже в Кузбассе: он тогда работал секретарем горкома комсомола в славном не меньше нынешнего Междуреченске, а я, молодой писатель, приезжал к ним в город из соседнего своего Новокузнецка с друзьями, ну, и проблемы ему, видите ли, иногда создавал...

Теперь он тоже давно живет в Москве, и вот два года назад я сказал ему: мол, понимаешь? Какую странную штуку со мной устроила жизнь?.. Столько лет писал романы о сибиряках, о ребятах со стройки, о сталеварах, о доменщиках — ну, что делать? У меня предки кузнецы были, люблю это огненное дело!.. Вот и писал о Кузбассе, где молодость прошла, а нынче судьба распорядилась так, что я занялся казачеством и не могу бросить... ты-то наверняка знаешь это чувство: словно не имеешь права, пока не подойдет кто-то другой. Пока смена не придет, да... Но эти творческие ножницы, так сказать, — они меня режут, поверь, они меня, и правда, очень заботят!

«Да откуда ты их взял, эти ножницы? — совершенно искренне удивился Бурый — сам потомок терских казаков, да еще каких, каких! — И тогда, и нынче занимаешься одним делом, так считаю. Я уж не говорю, кто эту крепость — сколько там лет назад, скоро четверста? — в твоём любимом Новокузнецке поставил — тогда в Кузнецке... Но кто эти шахты в Кузбассе бил?.. Да наши ссыльные казаки! Кто домы строил?.. Да они же! Разве ты до этого еще тогда не дошел?.. Я своему батьке говорю как-то в Междуреченске: отец, почему бы тебе, и в самом деле, в Прокопьевск к брату не съездить — уже столько лет зовут!.. Ну их! — отмахивается. В который раз, понимаешь?.. Да почему, почему? Там, говорит, слишком много кубанцев, да и донцы — такие заядлые. Опять небось соображают очередное восстание — еще погорюшь с ними! Ни за что ни про что...»

«Это в каком же году?» — спрашиваю.

«Уже при Брежневе!.. А ты не думал, почему так и не удалось тех же прокопчан... или киселевцев в «хрущобы» загнать? Будет каждый день пятнадцать километров переть

пехом, но жить зато останется в собственной завалухе на краю выработки... в собственной!.. Вместо коня — «ижак» с люлькой. Корова Зорька и псина — метр в холке, только на Кузнецком комбинате и льют цепи, чтобы такое выдержать. Да кроме него еще небось гончак либо лаечка — для души. Для охоты на зверя...»

«Коля, милый! — остановил я его растроганно и даже как бы чуть северно, потому что в те минуты, пока шел наш с ним разговор, на многое я успел взглянуть как бы заново, многое, включая и старые, над которыми годами бился, загадки, мне тут же открылось, а что-то давно привычное стало приобретать совсем другой — словно бы главный и словно бы изначальный, первородный свой смысл... Все вдруг волшебным поменялось!.. Как в этом утешении послевоенного детства — в калейдоскопе, где осколки цветного стекла все те же, но вот рисунок — рисунок совсем иной!.. Что же это: непременно идущий в нас поиск истины?.. Магия приближения к тайне? Но набирала силы внутренняя работа, и дали вдруг открылись такие!.. — Ты знаешь: и в самом деле, все припомнил... я все сложил!..»

«То-то же! — сказал мой добрый знакомый нарочно чуть свысока: учишь, мол, вас, писателей, учишь, а что толку? — Как молодежь нынче выражается: догнал?.. Мысль...»

«Д о г н а л! — радовался я. — Спасибо тебе: догнал!»

...И вот теперь, в Дивееве, я, казалось мне, этим как раз и занимаюсь: будто сшиваю нарочно разорванное кем-то свое прошлое с настоящим... Или все это не только мое: н а ш е?.. И не я этим занимаюсь... ой, не я!

Кончалась к вечеру главная казачья служба в Троицком храме бывшей Серафимо-Дивеевской обители, и «рафик» наш тут же уходил в Арзамас, группа уезжала в гостиницу, где тогда жили многие из приехавших на торжества москвичей.

Я оставался в Дивееве и, пока ужинали казаки, пока оставляли ночных дежурных да уточняли что-то назавтра, перед тем как уйти на ночлег в палаточный лагерь, мы с Алексеем Петровичем Земсковым, с которым нас в один день на сибирской стройке в партию принимали, усаживались на теплой от дневного солнца каменной оградке и снова принимались мирно беседовать... Скольких общих товарищей мы уже вспомнили! Сколько перебрали знакомых подробностей!

Припоминали фамилии парней, которые и тогда говорили о себе с гордостью: казак!.. Знаменитые тогда на всю страну монтажники Николай Шевченко и его тезка Тертышников; председатель поселкового совета Иван Забей-Ворота, один из героев Балтики — бывший подводник; бригадир путейцев Николай Змеев; первый на стройке милиционер, недавно демобилизованный пограничник Павел Луценко, обходивший, бывало, стройку вместе с хромою овчаркой; многие-многие другие...

Возвращались потом к этим, «дивеевским», казакам, и Алексей чистосердечно вздыхал:

— А я вот гляжу на них, Леонтьич... и я им завидую!

— Это почему? — начал было я насмешничать. — Черески красивые? Папахи?.. Давай, так и быть, попросим...

— Завидую, как молятся! — сказал он очень серьезно, с тронувшей меня беззащитностью. — Как уже перед храмом креститься начинают... какие у них глаза. А я вот никак не могу перекреститься, ты понимаешь?.. Н-ну как-то... а я ведь верю, верю! Ты понимаешь: ведь я родился тут... и с детства знал многое, и уважал... и чтобы сделать зла — никогда! Наоборот, старался... и из партии я ведь давно вышел. Если там, где мы с тобой жили, хоть какая-то справедливость еще была... ведь была?

— Да уж больше, чем в других местах, — уверенно соглашался я. — В Сибири-то — ну, еще бы!

— А тут-то ее — днем с огнем... и я вышел, давно уже! Но вот перекреститься... ты понимаешь? Чтобы перед людьми нестыдно. У меня как раз есть совесть... ну, хочется думать, что есть. А тут-то они скажут, люди: откуда она у

него? Вчера еще у него — партбилет, а нынче — глянь: стоит крестится...

И у него слезы блеснули на глазах... жива наша Русь, жива! Жива наша бедная, так жестоко обманутая Родина!

Я наклонился к нему поближе, говорил чуть не в самое ухо:

— Ну, что нам делать теперь, Петрович?.. Почему мы должны стесняться того, в чем нас только спекулянты и упрекнули: ведь искренний человек сначала присмотрится... Ну, такая у нас получилась судьба, такая нам вышла доля... разве ты, когда в партию вступал, искал выгоды?

Он снова почти испуганно отстранился:

— Я?.. Выгоды?! Какая ж там у нас, на стройке, была выгода?.. Когда мороз за сорок — работать?

— Сам вот говоришь... ну, так случилось: и с тобой, и со мной, со сколькими еще нашими — разве нет?.. Ты вот еще когда, говоришь, из партии вышел... А я им еще когда кровь портил. А они мне... хотя бывало и наоборот. Ты помнишь Паренченко?

— Секретарем в Новокузнецке был?.. Строгий этот... с таким голосом.

— Да там не голос, там труба... глотка! А встретил меня потом в Кемерово — уже на пенсии был. На шею бросился — чуть не задушил: ну, говорит, спасибо тебе! Хотя ты нам дух поддерживал. Хоть ты веселил. Закинуть не давал. Бывало, как на бюро тебя разбирать — у нас в горькоме праздник!

Сколько мне еще хотелось ему сказать!

О том самом: марксизм не переделал Россию — это она его переделала... В том числе и мы, мы с ним, а как же — мы!.. И одно дело — уехать в Мюнхен и учить родину оттуда: не такая, скажу вам, пыльная работенка!.. А у нас тут болела душа, кричала криком — как будто одна большая русская рана затягивалась. И в самом деле — медленно. И — больно. Как пулю под сердцем человеческого организм «осумковывает», так мы все вместе «осумковали» это бессердечное учение, поборол в нем последние яды, совсем обезвредили, сколько для себя приспособили!.. Мы с тобой тогда не крестились, Алеша, не осеяли себя крестным знаменем, как говорят-то полагаются, но ведь нашими бабушками крещены были... В храм ходили только по случаю, бывало, из любопытства, бывало — и в дружину по большим церковным праздникам, но ведь кто-то же беспрестанно обращался к Господу с молитвой о нашем спасении, просил за нас — чтобы не очерствели наши души. Опять они — наши бабушки, у кого были живы на земле. Наши предки: над нею...

— Вот видишь, ты как-то преодолел это в себе... и к храму пришел, — говорил Алексей почти завистливо. — Недаром же ты сюда приехал!

— Тебе не стыдно, Петрович?

Он снова искренне пугался:

— За что?!

— За то, что так говоришь?.. Может, давай-ка думать, что ты недаром родился тут!.. В Дивеево, а?.. Может, так?

Он сосредоточенно притих, сказал еле слышно:

— Иногда мне, конечно... ну, хочется думать так, понимаешь?

— Может, как раз ты живую ниточку отсюда, из Дивеева, протянул... понимаешь? На безбожную нашу стройку, а?

— Ла-адно тебе, Леонтьич... ладно!

— Да почему же нет, Петрович?.. Ну почему?!

— Зато ты, вот видишь, — ты не стесняешься перекреститься...

О многом мы с Алексеем уже успели поговорить до того... Может, как никому и как никогда просто мне было ему сказать тут, в Дивеево, перед храмом: это судьба, Алеша, это — судьба... Я бы умер с горя, не выдержал, погиб сам, когда погиб мой семилетний сынок, либо давно бы спился — тоже погиб... И встретил меня старый знакомый. И сказал сочувственно: поезжай в Лавру. Подойди к мощам преподобного Сергия Радонежского. Попроси помочь тебе.

Он нам помогает, наш спаситель и чудотворец. Всем. Всей нашей пока несчастной святой Руси...

Другому бы я не стал обо всем об этом рассказывать, Алеша, это — тебе.

Я все пытался и его утешить как мог, и что-то главное уяснить для себя:

— Ты помнишь, что я сразу сказал?.. Когда ты только подошел?

— Что это — знак?

— Да, конечно!.. И не только нам с тобой — всем!.. Всем нашим, кому теперь говорят: мол, напрасно прожили жизнь... зря старались! Все эти ваши стройки... да нет, брат!.. Мы ведь с тобой не ломали, как нынче шахтеры, земляки наши, по просьбе Ельцина да Попова ломают родину... половина коксовых печей на нашем Запсибе уже стоит!.. А мы — строили!.. И что мы тут встретились с тобой в самый первый день — конечно же, знак!.. Скорее всего, что батюшка Серафим прощает нам наше прошлое, но хочет, чтобы оно обрело для нас новый смысл: давай о нем размышлять!.. И давай рассказывать о нашей встрече общим нашим товарищам: чтобы и они размышляли. У нас есть казачий священник в Москве: отец Михаил. Дронов Михаил Александрович, донской казак. Как-то он сказал нам в одной из проповедей: все 'вы находитесь пока между крестом и партбилетом. Это трудное дело: определяйтесь!.. Но не спешите: вглядывайтесь в себя. Прислушайтесь к себе. Искренне просите Отца Небесного помочь вам...

Меня окликали земляки, предупреждали, что казаки вот-вот тронутся в палаточный лагерь.

Мы прощались до следующего дня, и Алексей уже не звал при этом к себе: понимал, что мне надо побыть с кубанцами в городке для паломников.

Поздний вечер давал о себе знать сразу же, как только отходили от хорошо освещенной Серафимо-Дивеевской обители... Темь как будто глушила строевой шаг, который нарочно печатали не желающие поддаваться усталости казаки... Посередине улицы — сначала безмолвно — покачивались плотные тени, но какая-то скрытая пока от глаз жизнь ощущалась и по сторонам: шепоток доносясь от скамеек у ворот, негромкие голоса и смех, потом девичий голос вдруг звонко выкрикивал: «Ну, чего же вы молча?.. Спели бы, казаки!»

И оживала, оживала наша казачья «служба»:

— Смотри-ка: кто-то не спит еще!

— А кто ж там, интересно, сидит: неужели девчата?

— Они вроде!

— А что ж вам, девчата, спеть?

— Заказывайте, девчата!

— Пока можно, да...

— Да тута не токо девчата, тута и старушки: тоже хотим, чтоб вы спели! И мужики наши просют... правда, ребята?

Вступал прокуренный басок:

— Спойте, казаки, спойте!

Девчата «заказывали»:

— Вот вы вчера «Галю» пели, сегодня можете?

— Мы все можем!

— Давайте тогда «Галю»!

Вот, значит: уже, как эта самая Галя из песни, почти готовы, чтобы их тоже «пидманулы, забрали с собой»?

Растаял, растаял лед. Ушел страх...

Но кто же это делает, кто сеет его между людьми, если, и в самом деле, не сатана? Кто тогда, кто?!

Перед самым приездом казаков по Дивееву вдруг пронесся слух: будут ловить маленьких детишек, брать кровь, чтобы окропить дорогу перед ракою с мощами — у казаков так принято! С кинжалами приедут — увидите...

Приехали с кинжалами. Как раз кубанцы, которых было больше, других: за сотню.

И наглухо позапирались ворота, позахлопывались двери.

Когда в одном дворе случилось несчастье, сгорела изба, и казаки наутро пришли чуть не всей сотней, люди покреп-

че сжали топоры да выдерги. Недобро спросили: зачем пришли?

— Как это — зачем?... Головешки будем растаскивать, новую избу ставить. У нас по станицам так... это называется «пбмочь».

Но помогли они, как это бывает в таких случаях, больше всего себе: казакам поверили. И казаков полюбили.

Кинжал — лучший из всех, какие у них только были — они преподнесли в дар Святейшему, когда тот был еще в Арзамасе. Передавая его по просьбе казаков, священник Кубанской Рады отец Сергей Овчинников сказал: «Ваше Святейшество, по обычаю Запорожской Сечи, казаки, участвовавшие в богослужении, во время чтения Евангелия до половины обнажали свои сабли в знак того, что готовы жизнь свою положить за православную веру. Примите от нас этот образ духовного меча во свидетельство того, что сегодня, как вчера, казачество готово служить вере и Отечеству, не щадя ни сил, ни жизни своей...»

И Патриарх, которому перед этим кое-кто пытался внушить, что в том случае, если в охране будут участвовать казаки, «профессионалы», мол, «снимают с себя ответственность», воздел руку, благословляя на службу казаков...

Это правда: и крестным знаменем в виду храма они себя осеяли истово, и радостно спешили под благословление Пастырей, которых им приходилось потом оберегать не только от духовного пыла, подвижнически принесенного паломниками из всех концов Руси, но и, конечно же, от излишнего любопытства человеческого...

Благодаря общительному своему — кубанской закваски да сибирской закалки — характеру к этому времени я уже успел, конечно же, и с «профессионалами» несколькими словами перекинуться. Глава нижегородских омововцев полковник Павел Желтов, чей мужественно-подтянутый и в то же время простосердечно-российский вид не вызывал сомнения в искренности, сказал мне, дружелюбно посмеиваясь: «Если это, и в самом деле, не переодетый наш брат, как тут еще недавно многие уверяли друг дружку, то н-ничего... н-ничего ребятки!»

— Запевай! — сам себе командует теперь Гриша.

Не знаю, какой варил бы он в походной кухне кулещ, — не удалось попробовать, так же как самому Грише — покашеварить... Но что «Галья» у него выходит уж больно задушевно и хорошо — это правда!

Еще недавно чуть не падали от усталости, а теперь вся эта мощно колыхающаяся колонна прямо-таки оторвалась от земли, уже не идет по дороге — летит над нею вместе со своею песней... И уже совсем в другом конце улицы, уже на окраине Дивеева, слышится из темноты сестрински-доверчивое:

— Казаки!.. От вы — молодцы!

В палаточной городке, где дежурные давно уже развели костры, Алексей Емцев, пышноусый отрядненский атаман, снимает возле нашей палатки черкеску, проходится по ней пятерней и, посмеиваясь, протягивает мне:

— Пощупай, Леонтьевич!

На спине, на плечах она, и в самом деле, хоть выжми.

— Недаром говорят: сто потов?

Емцев улыбается устало, но явно счастливо:

— Нынче давили, как никогда еще... Мы друг друга под руки, а ладони сцепили. Ногами уперся в пятак этот, на котором Патриарх ведет службу: хоть бы не сдвинуть, думаю!.. Гляжу, на другой стороне ребята тоже ногами в это самое возвышение, на котором священники стоят, упираются: значит, и с той стороны хорошо дают! Значит, не поедет — можно и мне... А ноги, представляешь, уже дрожат. Или они не выдержат, или спину сейчас сломают... и Патриарх заметил, ты знаешь, Леонтьевич!.. По-нашему говоря, какая сложная процедура, молебен этот торжественный, мы же видим, как священникам нелегко при таком скоплении в храме, а все равно — понял... Приблизился и тихонько так говорит: «Вы уж не очень напрягайтесь, казачки!.. Поберегите себя, поберегите!» Только угнул, чтобы хоть пот с лица плечом утереть, а тут опять как нажали! Вдох-

нул он... Святейший-то, Святейший... и тихонько шепчет: держитесь!

Пока Емцев говорил, все пытался поудобней определить для просушки свою одежду, сунул было руку в башлык, чтобы вывернуть его, и вдруг удивился:

— Ого, что это тут?

Достал небольшую серебряную серьгу:

— Бра-атцы, представляете?.. У джо-то из уха выпала, а она и не заметила!

— Кто, кто?

— Да кто ж его теперь знает — кто?!

Серьга пошла из рук в руки:

— Ну, вот тебе, Алеша: награда за службу.

— Память будет — красивая серьга!

— А может, еще можно найти, чья она?

— Как ты тут найдешь — столько миру!

Я даже пятерню к сердцу приложил, провел по груди: р о д н а я р е ч ь! Недаром же — станичники. Кубанцы. Это у нас всегда: никто не скажет «много народу». Непременно: миру-то, миру!

Андрей Стрюков из станицы Надежной, тоже снимавшийся в фильме «Брат, найди брата», где алкашей, к несчастью, было больше, чем казаков, сказал вдруг по-хозяйски:

— О, надо у себя в башлычке глянуть!

Его тут же взялись подначивать:

— Ка-ак же, тебе надо серебро: когда свадьба?

— Сказал, сразу, как вернется!.. Там уже ее родители столы накрывают!

— Дак а нас хуть ждут?

— С палкой небось... слышь, Андрей?

Он вынырнул из темноты с башлыком в одной руке и с несколькими цветками в другой:

— У меня там целый букет, ребята!

Земляки — все в основном постарше Андрея, — заулыбались:

— Ну, правильно — как раз к свадьбе!

— А серебро наживете, лишь бы жинка, и в самом деле, попалась хорошая...

— Да смотрел небось, когда выбирал! Как, Андрей?

С полотенцем на плече и с прозрачной — явно с бельишком — сумкой появился Гриша:

— Ну, кто со мной к ручью: бешметы стирать?.. А то не выдохнут к утру.

На нем самом бешмет словно оторочен ярко-алую тканью: по краям рукавов да снизу. Остальное цветом куда темней: тоже весь мокрый. В станице бы сказали: к а к х л ю щ.

— Далеко, Гриша, — говорит кто-то неуверенно. — И спать хочется...

У Гриши в голосе куда делась песенная разудалость — спрашивает с осуждением:

— И что же ты: в нестираном — в храм?

В палатке, когда ворочались перед сном, атаман станицы Спокойной Валерий Лысиков, почти такой же, как Гриша, богатырь, только характером не в него, даже с виду застенчивый, спрашивает негромко:

— Так разбудить вас, Леонтьевич, если что? Я ночью охрану буду менять. Облачко появится — разбудить?

И почему я не остался с ними тут в день приезда?.. Вместе с группой уехал ночевать в Арзамас.

А они, чуть ли не весь лагерь, почти полночи разглядывали загадочное розовое облачко, висевшее не очень высоко в темном небе: как раз над Свято-Троицким храмом... Только после многочисленных — с горящими глазами — рассказов понял теперь, что по пути в Дивеево именно его я и видел — розовое, похожее на горбушку, облако — да только, торопясь, поглядывал без внимания... вот как оно выходит! Готовясь встретиться с чем-то очень дорогим душе, можно многое и не разглядеть в суете.

Ночью я опять часто просыпался: то менял бок, то пробовал согреться лежа на спине, но острый холодок тянул и снизу, от земли, и пробирался через неплотное одеяло: надо было, конечно, устать, как устали во время своей

службы они, чтобы так богатырски, так непобедимо похрывать!

Я выходил погреться у костра, разговаривал с дежурными и все поглядывал вверх, но в эту ночь розовое облачко так и не появилось...

Утром, стоя у палатки, я сперва долго рассматривал стоявший на далеком отсюда холме, постепенно, словно корабль, выходящий из дымки Свято-Троицкий храм, потом обернулся на наш лагерь. Вид двадцатиместных, стоявших за рядом ряд, палаток с темными боками и тускло блестящими от росы пологам и будил воображение, и словно тревожил душу давними и оттого туманными воспоминаниями... Студенческие военные лагеря в «дворцовой» Таманской дивизии?.. Алтайская «целина»?.. Или это уже наша с Алексеем Земсковым Сибирь — палаточный городок на Антоновской площадке, на Записибе?

— Казаки-и! — донеслось издалека. — ...молитву!.. Стройсь!..

По причине гражданской своей одежды, с шерстяною вязанной станичными мастерицами кофтой в левой руке последним потом стоял в длинной шеренге одетых в черески кубанцев и ставропольцев да в полевую защитного цвета форму — донцов с забайкальцами, глядел на отца Сергия Овчинникова, читавшего молитву под трехцветным знаменем Рады — красный — казачий цвет; синий — славянство вообще; зеленый — мусульманский — и сердце опять пошевельвали настойчивые воспоминания — как бы не со мною бывшего, но такого, что всем нам должно непременно знать и помнить... и вдруг, когда поднес ко лбу сложенные в троеперстии пальцы, словно задержал их над переносицей, и глаза вдруг сильно щипнуло: ну конечно же!.. Палаточный казачий лагерь на Лемносе, на этом греческом острове, куда они уходили из Крыма на последних судах, принадлежавших еще белой армии... Лемнос, все правильно, тот самый Л о м н о с, где голодали-холодали, где помирали от тоски по родным куреням, по оставшимся за двумя морями — Черным и Эгейским — станицам... Сперва боялись лишней раз войти в воду искупаться, потому что в кубанском лагере ходили слухи: громадный осьминог утащил двух донцов. В донском лагере рассказывали: утащил двух кубанцев... А потом в чем мать родила, только с нательным крестом да обнаженной шашкой в руке, и там, и там начали выходить охотиться на осьминогов: пусть они казаков боятся!

«От пауза» ели сами и продавали грекам, те заказывали, когда приходили в построенный из того, что нашлось под руками, русский храм — послушать пение... Как пели казаки! Как просили Господа помочь им вернуть себе родину!.. Как — в готовности и в надежде — кричали «славу» делавшим им смотр атаманам войск и главнокомандующему, барону Врангелю, уже отдавшему их под защиту, под покровительство союзной Франции.

И на много, на много лет: иностранный легион в Африке, делянка сельвы, на которой надо вырастить пшеничку, — в Бразилии, строительство дороги в Югославии — она так и называется с тех пор: Русская дорога... Через какие страдания пролегла!

Казачьи офицеры, чье положение, по российским законам, приравнялось к дворянскому, джигитовали на цирковых аренах Берлина и Парижа, георгиевские кавалеры дублировали не слишком уверенно сидящих в седле голливудских знаменитостей в бесконечных фильмах про индейцев да про ковбоев — это было лучшее, что им выпало, это была удача, подарок судьбы... Счастье!

А сколько делалось потной, грязной и действительно опасной работы, за которую не брались ни ковбои, ни индейцы, ни негры...

Любопытное дело: считают, что донцов больше осталось в Европе, в Старом Свете, кубанцы ушли в основном за океан — в Новый Свет... Может, и тут сказались так и не растратенная еще с запорожских времен страсть к далеким походам... Хотя — как ты лишишь ее донцов?... Удивительное дело, загадочное, таинственное: пройдя Урал и Сибирь, присоединив к России Дальний Восток, Аляску и

добравшись до Калифорнии, переместив русские рубежи за край земли, казаки потом остались без родины... Некого винить?

Настолько раздвинули пределы империи, что она стала распадаться, как некогда Рим, по причине необъятности своей?..

Или где же, как не тут, в Дивееве, и сказать, что дело совсем в другом: в отступничестве от веры предков, от их заветов, обычаев. В предательстве Государя, которого когда-то сопровождали сюда два казачьих полка... представляю, какие то были полки!.. Но вот опять казаки начинают на пепелище. Одно утешение: в тысячелетней своей истории — не впервой.

И пусть в брезентовом этом городке вместе с паломниками, пришедшими и приехавшими сюда со всех концов разоренной Родины, они и правда что нынче, как на острове, казаки... Но остров это особенный, ибо возник он в океане безверия... Спасительный остров!

Утренний ветерок тихонько шевельнул полотнище трехцветного кубанского знамени. Слышнее стал голос «войскового» священника отца Сергия Овчинникова — совсем еще молодого, но уже вознесенного казаками к высокой степени почитания:

— Будем это помнить, братья: «аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущие его...»

Прости художнику грех отвлечения от проповеди и от молитвы, батюшка Сергей, — опять мне вспомнилась одна не столь давняя картина: Владикавказ. Малый круг Терского казачества... Зал почти на тысячу мест, набитый битком. И — одно дыхание в этом зале и, кажется, — единое биение сердца...

Я сижу рядом с пожилым, но почти по-юношески подвижным атаманом станицы Архонской Николаем Александровичем Левченко: подполковник кавалерии, он в черкеске, в которой закончил войну, при всех регалиях, при орденах, при оружии... Нет-нет да и поправит на боку шашку — чтобы не помешала, чего доброго, сидящему слева от него архимандриту Александру... Рыжебородый, с горящими глазами архимандрит, только что сказавший проникновенную речь, в которой историю казачества справедливо начал с «честного атамана Ильи Муромца» и «податаманья» Добрыни Никитича, чуть приподнимал и иногда перекладывал на плече свой длинный посох, и я, наклоняясь, то и дело искося поглядывал на этих двоих — в синей черкеске и в черной монашеской рясе — и сердце мне и в самом деле щемило: и тревожно, и счастливо... Нагнувшись за спиной Левченко, негромко сказал архимандриту: «Давно они не были рядом, отец Александр!.. Посох наставника и шашка бойца...»

Он встрепенулся, отозвался горячим шепотом: «Да, да — они разлучены были: в этом наша трагедия!..»

Вернется, и в самом деле, высокий, горный дух тех времен, когда казачество, гордясь, называло себя христоролюбивым, а то и просто Христовым воинством?..

Когда, надев португепю с ремнями крест-накрест на спине, казак ясным умом понимал и глубокой душой чувствовал, что тем самым он поднял, чтобы до конца дней бесстрашно и безропотно нести его на плечах, свой крест — прообраз креста Господня?

«О, пречудный отец Серафиме!.. Вознеси о нас благомошную твою молитву ко Господу сил!..»

Молитву о воинстве, которое кается нынче в столь многих своих грехах и снова горячо желает стать Христовым...

«Созиждет» ли Господь этот «дом», вокруг которого снова загомонят одинокие пока курени и радостно оживут все еще спящие в глубокой летаргии станицы?..

Из Дивеева я привез медальоны и крестики, а также несколько цветных литографий на хорошей плотной бумаге — житие Преподобного и виды обители. Поясная иконка Чу-

дотворца на деревянной основе была у меня одна: снова осталась в лавке последняя, обещали принести утром, но ранним-рано мы уже спешили в Москву...

Иконка была в голубовато-белых, как бы напоминающих о фаворском свете, и золотистых тонах, добрые глаза у батюшки Серафима светились не только умиротворением, но и отеческой откровенной любовью, и выражение лица будто оправдывало изначальное значение греческого: Серафим — значит, пылкий.

Расхаживая во время работы по крошечному своему кабинету — четыре шага в одну сторону, четыре — обратно, — я то и дело останавливался напротив иконки и подолгу глядел на нее: образок словно напоминал мне о розовом облачке, висевшем в день перенесения мощей над Троицким храмом.

Первым делом обратил на него внимание и Петр Иванович Величко-Роман, когда осматривался в московской нашей квартире. Русский американец из Сан-Франциско, по корням кубанский казак, он только что вернулся из станции Передовой, расположенной в сорока километрах от моей Отрадной — нашел там родню, выкупил у чужих людей отцовский дом, договорился насчет ремонта... Отец его был адъютантом у генерала Шкуро и, пройдя потом по этой самой «русской дороге», осел в Белграде: младший Величко заканчивал там кадетское училище. Оказалось, что шашкой можно не только головку лука — так, чтобы она при этом не развалилась — отшпинковать, можно также умело скроить джинсы: еще недавно Петр Иванович был директором-распорядителем фирмы «Левис», но теперь открыл собственное дело, оно, слава Богу, процветало, его фирма уже имела отделения во многих странах. Величко считался одним из самых влиятельных людей в казачьем деловом мире за рубежом, и определенный налет не только рационализма, но даже как бы расчетливой скупости прямо-таки бросался в глаза при первом знакомстве, но стоило этому жесткому бизнесмену улыбнуться...

Потом я уже не раз думал: может, как раз он-то и давал пример полностью раскрывшихся особенностей лучшего, что имелось всегда в казачьем характере: энергии, ума, обаяния, строгой деликатности и вместе с тем — простоты, но вовсе не той, что «хуже воровства», нет... Он был и явный дипломат, и наверняка большой хитрован, но в то же время поэт в душе, а р т и с т, как говорят за рубежом, когда в одном понятии объединяют всех обладателей натур художественных, будь то музыкант либо живописец. Он и собирал картины, и пробовал писать прозу, то есть как — пробовал?.. Специально пехал в Иерусалим, чтобы на Пасху увидеть сошествие Святого огня на гроб Господень, и это повторяющееся из года в год великое таинство так его вдохновило, что просто не мог не взяться за перо — это чувствовалось и по взволнованному его тексту... Непоказная, ненарочитая, но явно глубокая религиозность Петра Ивановича трогала и словно ждала отклика... как горячо и как искренне расспрашивал он о дивеевских торжествах!

Перед этим я извинился за беспорядок в тесной комнате, сплошь заваленной книгами, бумагами, кипами газет, и Величко простодушно посочувствовал: «Тут уж ничего с нами не поделаешь, Гурка!.. У меня кабинет — семь на восемь метров, но точно так же нет свободного уголка — это ничего!» И когда он перекрестился на мою дивеевскую иконку и замер перед нею, умиленно глядя на лик батюшки Серафима, у меня мелькнуло: и как все-таки не упросил тогда группу последний раз заехать в Дивеево?.. Подарил бы теперь гостю такую иконку!

— Ах, как обидно, что я не смог на этом великом празднике побывать! — искренне огорчился Петр Иванович. — Ты ведь там это увидел, Гурка, что это в е л и к и й наш праздник, тем более охрану несли казаки... какая славная иконка! У Чудотворца тут такое благостное и в то же время... ты, Гурка, не находишь? — особенное выражение лица, удивительное!

И я потянулся к иконе, снял ее, протянул Петру: «Пусть она поселится в Сан-Франциско!.. Пусть батюшка Серафим

и собирает, и объединяет казаков... вообще русских людей — где бы они сегодня ни жили!»

На другой день я послал Алексею Петровичу Земскову телеграфный перевод и в коротеньком тексте попросил срочно купить четыре иконки Преподобного и оставить пока у себя — до okazji... Он дозвонился, когда меня не было дома: иконки купил, будут храниться у него.

Я все собирался в Дивеево — хоть на денек! — но так и не смог вырваться.

Зимой концертом в Колонном зале должен был начаться большой казачий праздник, смотр народного искусства России... Решили, что отрезом его общим выходом участников с казачьими иконами, но где они теперь, наши иконы?..

Это стало прямо-таки преследовать меня: получи я каким-то образом подарок из Дивеева — и все было бы в порядке, и очень важный для всего казачества праздник наверняка удался бы, все бы пошло на лад... До концерта в Колонном оставалась ровно неделя, а дел впереди было — не переделата, препятствий вдруг возникло — не одолеть!.. То вдруг телевидение наотрез отказалось снимать праздник, то вдруг за автобус заломили такую цену!.. Чуть ли не в последний день уплыла вдруг гостиница Центрального Дома Советской Армии: на эти же дни — 15 и 16 января — было назначено всеармейское совещание... серьезное дело, у-у!.. Те самые «наши», на которых мое поколение всегда так надеялось, решили теперь собраться, чтобы, и в самом деле, выяснить хотя бы для себя: а «наши» ли они, в самом деле?.. Или давно уж «не наши»?.. Некогда доблестная армия теперь стала превращаться в один большой кооператив, в один базар, в один большой — от Восточной Германии до Курил — маркитантский лагерь, и, конечно же, только лишние летчики и могли нынче ею руководить и всеми командовать — как иначе утром продать одно на Востоке, а в тот же вечер другое — уже на Западе?.. Уникальное, конечно же, в истории войн явление: проиграв не ею задуманную войну в Афганистане, пристыженная «м и р о в ы м и с о о б щ н и к а м и», Россия добровольно и даже как будто охотно капитулировала теперь на собственной территории... но это дело историков и политиков, а я нынче — вовсе не о том... Для меня самого это совпавшее с казачьим концертом в Колонном зале всеармейское совещание стало всего лишь одним из доказательств того, что «наши» придут не из воинских частей, не из военных лагерей, вовсе не из казарм либо капоныров — нет!

В один из последних дней перед началом казачьего смотра, который по нашему замыслу должен был дать новый толчок всему движению, я пришел домой уже поздним вечером совершенно без сил и в полном отчаянии: неужели-таки сорвется наш вечер либо, начавшись, с треском провалится?!

«Тебя просил позвонить какой-то Слава Корчагин, — сказала жена. — Телефон я записала — лежит на тумбочке. Он сам москвич, но мама у него живет в Дивеево. Говорит, приехала к нему погостить и у нее...»

Она не успела договорить, а я набирал номер незнакомого мне Славы Корчагина... Мама привезла мне иконы, да. Где живут?.. Далековато, конечно, — в Ясенево. А что, иконы мне нужны именно сегодня? До завтра можно обождать?.. Он, Станислав, работает водителем в автобазе, которая находится в районе Красной Пресни: захватит дивеевскую передачу завтра с собой и первым делом потом заскочит ко мне на Бутырскую — это недалеко и будет ему почти по пути.

Корчагин неторопливо записал мой адрес, потом предупредил: «Я буду на такой большой машине, на «МАЗе». Представляете, какая она?.. Вы когда-нибудь «МАЗ» в глаза видели?»

Меня окатило полузабытой радостью прошлых, сибирских моих времен — выпалил как мальчишка:

— Да у меня есть о мазистах роман!.. Я же на стройке двенадцать лет жил. Там для нас, считай, главный транспорт был — «МАЗ»!

Спал я, что называется, счастливым сном и проснулся в

том радостном настроении, о котором говорим: о жидании счастья. Странное, полузабытое в этом сумасшедшем городе состояние... какое счастье? Откуда?!

За пять минут до назначенного срока, до восьми тридцати, бросился к лифту и, выходя из-под арки на улицу, уже тянул шею: где он тут, «МАЗок», где?

Ночью выпал обильный снег, вокруг еще было белым-бело, и картина открылась сказочная: приткнувшаяся к обочине голубая машина стояла среди высоких прямо-таки ослепительно сияющих под утренним солнцем сугробов... Еще издалека я увидел, какая она новенькая, какая чистенькая... Но, может, таким и должен быть символ, явившийся из почти бесплотного теперь прошлого?

Водителя не было — он, видно, решил подняться на этаж и обогнул наш дом с другой стороны — мы разминувшись... Идти за ним? Нет уж: побуду около «МАЗка»!.. Дверца, конечно же, замкнута — хозяин! Трос аккуратно заплетен восьмерками на передних крюках... Как он все-таки непохож, этот голубой «МАЗ», на наших вечно грязных, разбитых, разболтанных, со «сверчками» в кабинках, неопределенно-серого цвета — от пыли, севшей на соларку, — трудяк!

Почему роман мой назывался «Тихая музыка победы»?.. Да потому что мы сделали, за что брались, мы построили громадный этот завод, мы победили, но слишком дорого досталась эта победа... А особенно тяжело и безрадостно было сознавать, что нас предали... Мы знали это! Уже тогда. Но вот что удивительно: кто говорит нынче, что наша жизнь чуть ли не зря прожита, — тот предаст нас еще раз. Продаст. И уже — совсем по дешевке...

В романе есть такой эпизод: один из главных персонажей Валентин Нестеров, крепко друживший с водителями-мазистами сотрудник новостроечной газетенки, бросается за баранку начавшей падать с насыпи тяжело груженной машины, из которой уже выскочил шофер... Нестеров хочет спасти стоящих внизу малышей, делает, что называется, отчаянную попытку, но поздно: разбивается сам, с тяжелой черепной травмой привозят его в больницу, и до конца книги так и не известно, чем еще дело кончится... Я тогда все думал: зачем об этом пишу?.. Имею ли право на этот литературный ход — ведь роман местами автобиографичен, Нестеров во многом был — моя копия...

Может быть, меня, размышляя, гнетет невольная вина перед теми, с кем это на самом деле, как с Женей Подчасовым, старым другом, случилось?.. Бульдозер столкнул в котлован, в котором тот, прораб «Стальконструкции», осматривал сварочные швы, тяжелую деревянную катушку из-под кабеля, и Женя еле выгнулся после перелома основания черепа, но навсегда остался инвалидом... какой парень, с каким чувством справедливости, с каким высоким сознанием, какой умница! Стройка сбила его, как птицу, на лету, об этом тоже было в романе — зачем же еще эта придуманная трагедия, о которой я тогда все-таки написал: перо упрямо делало то, над чем страдала, чему, крича, сопротивлялась душа...

Только потом, уже спустя много лет, я понял, что это было предчувствие другой беды... Уже тут, в Москве, они шли из школы напротив нашего дома, несколько первачков, остановились перед мчащимся трамваем и, когда он пронесся, двое из них, взявшись за руки, кинулись через дорогу. А с другой стороны, не снижая скорости, пронесся встречный трамвай...

Работал я тогда неподалеку, в редакции «Смены», и, когда прибежал сюда, посреди запрудившей улицу толпы гигантский кран пытался приподнять вагон трамвая, чтобы можно было достать из-под колес второго мальчика... нашего Митю увезла «скорая». Уже навсегда.

Митю ушибло, отбросило на обочину — лежал потом среди цветов с ангельским белым личиком, с единственным синячком на лбу... Голубой «МАЗ» стоял теперь на Бутырской как раз напротив арки в другом конце дома, отсюда мне видать было и школу на параллельной улице, на Вятской, и перекресток, где все это произошло...

— А я уже успел на вашем этаже побывать! — весело кричал мне коренастый крепенький паренек, еще издали протягивая пакет в ярко-желтой обертке. — Узнали мою машину?.. Узнали? Вот оно — что наши дивеевцы передали вам...

Дома я развернул пакет, и снова на меня пахло тем далеким временем: все вместе иконки были завернуты в плакат по технике безопасности — на желтом поле светло-коричневое кольцо, внутри него еще одно такое же, как «МАЗ», голубое — а на белом фоне внутри круга — фигурки «сварных» в синих курточках, каждый с щитком и с держателем в руках, перед каждым оранжевая вспышка. «Электросварочные и газопламенные работы» крупно было написано сверху... Каждая из четырех иконок была в отдельной «рубашке», аккуратно склеенной из разрезанного на четыре части второго такого же плаката... милая стройка! Милый Алексей Петрович, которого судьба выбрала, чтобы соединить, казалось бы, несоединимое... как он там?.. «Приезжайте, — пишет в коротеньком письмеце, — в Дивеево, ждем вас — место всегда найдется».

Иконки были иные — он ведь не видал, Алеша, той, которую я тогда в монастыре приобрел... Очень хорошие иконки! Почти те же бело-голубые и светло-коричневые тона; поясной образ батушки Серафима в центре и шесть житийных сюжетов вокруг него: явление Божией Матери и ангелов, Преподобный с братией в храме, отшельничество, чудо с медведем, кончина Преподобного за святою молитвой... На спинке дивана я поставил рядком все четыре, а под ними лежали вызывавшие у меня и грустную, и трогательную улыбку бумажные «рубашки» из плаката по технике безопасности.

Первым делом позвонил Сергею Алексеевичу Беляеву, известному богослову и ученому археологу, работавшему прошлым летом в Дивеево. Рассказал ему о передаче оттуда, и он откликнулся — и радостно, и вместе с тем строго: «Понимаете, Гурий, что это помощь вам оттуда пришла?»

Еще бы не понимать!

Пришла помощь, и в самом деле — пришла!

Когда встретились вечером на маленьком деловом совете, Николай Шантаренков, один из основателей «Казачьего круга», любимого всеми мужского ансамбля, самый в нем старший по возрасту — патриарх, сказал вдруг чуть виновато:

— Я тут уже несколько дней веду переговоры... На софринской церковной фабрике я заказывал икону Донской Божией Матери — почти два года назад. Николай Москалюнов написал, один из лучших иконописцев. Короче: икона ждет!

И какая, какая икона!

Когда ее привезли в Донской монастырь, где на следующий день должны были в Михаило-Архангельской церкви освятить, вечером собрались перед ней все монастырские иереи... Старейший из них, отец Даниил, чье восьмидесятилетие только что торжественно отмечали в Богоявленском храме утром перед началом службы, сказал с радостным умилением: «Очень всем нашим понравилось, как писан образ... Одобрили и просили передать: может, казика, когда станут на ноги, и для нас такую же икону закажут?»

Пожалуй, это и в самом деле непросто: после портретов сварщиц, к которым тогда в Сибири привыкло мое перо, да работниц из мостопоезда, с тяжелыми ломами в руках страдалиц, под оранжевыми жилетами которых догорают столько несчастных судеб — по всей матушке-России... когда обожгут они, наконец, всеобщую нашу совесть?.. после задубевших от ветра, от солнца, от непосильного — как всюду в Отечестве — труда печальных лиц рано овдовевших, добровольно превративших себя в старух моих кубанских землячек — после всего этого, пожалуй, и в самом деле непросто обратиться к описанию лика Божией Матери, которая столько десятилетий все терпеливо ждет, когда к ней, наконец, придем с просьбой осознанно-искренней: Заступница, помоги!

Случилось так, что после нашего, на славу удавшегося праздника в Колонном зале икону некуда было — имею в виду постоянное место, помещение землячества, где как раз шел ремонт, — определить, и мы привезли ее в нашу квартиру, поставили на столе в бывшей детской... Сначала я считал дни, радовался каждому наступающему и с благодарностью провожал всякий прошедший, потом как-то вдруг к иконе привык — очень основательно, очень глубоко в душе, очень твердо... А после вдруг защемило: вот-вот настанет срок с ней расстаться — дом наверняка опустеет!

Как радостно, поверьте, стоять перед большой — размер ее восемьдесят на шестьдесят сантиметров, великолепно написанной иконой и вбирать не только глазами — вбирать душой красоту одухотворенного лика, в мягких чертах которого знание о возможном совершенстве мира так едино слито с печалью о том, как он пока далек, этот мир, от совершенства...

Понятное дело, что эта икона — гостья нашего дома, столь многое в нем уже преобразившая... И счастьем станет потом — коли буду жив — приходить туда, где найдет Она постоянное пристанище... может, это, и в самом деле, должен быть храм, а не землячество?.. Или перед этим ликом и там, в землячестве, если не все, то очень многое как бы волшебным образом переменится... воцарится истинное, а не показное братство и тихое милосердие... перестанут не только грубые слова бездумно говорить и торопливо закусывать, но остерегутся грубости и в молчаливых помышлениях?

А чем придется восполнить ее отсутствие в нашем доме? Каким образом? Неужели — лишь постоянной памятью о том, что Она тут была и с тех пор всегда незримо присутствует?

Но тогда она стояла перед алтарем в Михаило-Архангельском храме, шел торжественный молебен, рядом с нею ждали освящения разложенные на вышитом полотенце четыре иконки Преподобного, и тут уже готово было свершиться, уже свершалось первое, явленное через новую икону Донской Божией Матери чудо...

Конечно же, это увидел я уже внутренним взором — из дня нынешнего, когда сидел за рабочим столом над листками «Возвращения наших» либо вышагивал четыре свои шага, четыре — обратно... Будто старенький иеромонах отец Даниил, так и светившийся добротой и радостью оттого, что именно ему на склоне лет выпало освещать большую и благолепную видом казачью икону, и годами, и одухотворенным обликом походил на батюшку Серафима, который и должен был прислуживать Высокой Покровительнице своей при дивном Ее творении — недаром ведь во время одного из последних посещений Преподобного, во время многочасовой беседы с ним, уже призывая к себе, Она назвала его: «лю б и м и ч е М о й».

Впереди молящихся в тот час в Михаило-Архангельском храме стояли молодые казаки в форме донцов, почти мальчишки из 4-го Донского графа Платова полка, которые под началом сотника Ивана Стульнева, тоже почти мальчишки, вот уже несколько лет постоянно несли охрану здесь, в Донском монастыре, во время торжеств и вообще помогали всем, чем могли. За ними, тоже в основном в донской форме, держались казаки постарше — из московского землячества, из правления Союза. А за постоянными прихожанами, за старушками и пожилыми мужчинами, которые тут же поняли, что присутствуют при необычной службе, ожидали в притворе православного храма, у самых дверей двое молодых башкирских казаков, два студента из Уфы, два мусульманина: атаман Рустем Искужин и сотник Камиль Рахимов.

Они были с дороги — самолет из Уфы прибыл в подмосковный аэропорт около семи утра... Во сколько же нынче поднялись? Или не спали вообще?

Торжественный молебен все длился, и я поглядывал на башкир, а то и подходил к ним: мол, все в порядке?

Молодые казаки только строжили лицами.

Отец Даниил, когда начали ему объяснять, сперва ничего не понял: мусульмане в храме?! Отстояли службу и теперь хотят с ним поговорить? Но о чем, о чем?

Молвившийся вместе с казаками Сергей Алексеевич Беляев попросил у меня листки с машинописным текстом, которые я недавно взял у башкир, наклонился поближе к старенькому иеромонаху, поправил очки, стал негромко читать... И светлело, светлело сперва озабоченное лицо отца Даниила.

Может быть, дорогой соотечественник, и мы, слышащие нынче по радио и по телевизору одно и то же без конца — что тысячелетний российский наш дом обвят жестокой национальной враждой, — тоже просветлим свои души чтением этого старинного документа?

«1813 г. сентября 8 — Пожертвование 1000 рублей денег конниками 1-го Башкирского полка на восстановление исторического памятника в Москве — Донского монастыря, разрушенного французами.

Перевод письма с башкирского языка к графу Матвею Ивановичу Платову от 1-го Башкирского полка старшины Кутлугельдея Темировича.

Ваше сиятельство, милостивый государь, граф Матвей Иванович!

Уже с давних времен под скипетром августейших российских монархов с любезными своими семействами блаженствуем. Когда вздумали хищные французы напасть на Отечество наше, по воле всемогуществейшего нашего Государя призваны и мы на помощь для обороны нашей границы под начальством Вашего сиятельства. При всем нашем рвении не могли унять сих святотатцев, допустив до Москвы, где ограблены древние чудотворные храмы Божии, в чем считаем себя не менее виноватыми, что не укротили сволочь нечестивую и позволили ограбить святыню. Само Провидение наказало извергов за их бесчестный и безбожный поступок против святой Церкви.

А ныне услышали мы, что герои русские намерены возобновить благолепие Донского монастыря в Москве. Благоволите, Ваше сиятельство, и нам удостоиться, по возможности наших сил, участвовать в сем богоугодном деле. Мы прилагаем тысячу рублей ассигнациями к определенным даяниям в сие святилице. Хотя мы считаемся иноверцами, но Бог у всех народов один!.. Удостоя принять нашу просьбу, по гроб обяжете всех нас.

Сентября 8 дня 1813 года».

Отец Даниил, дослушав, вскинулся и властно повел рукою вглубь храма, где многие потихоньку шли к выходу, и прихожан догнал гомолодевший его голос:

— Вернитесь к нам, казаки, станьте с нами!.. Все пусть вернутся!

Подтянулись, подобрались под его преображенным нечаянной радостью взглядом молодые башкиры.

— Когда в вашем монастыре два месяца назад случился пожар, это наши предки напомнили нам, что надо делать, — негромко начал светловолосый и белолицый Рустем Искужин, в зеленой полевой форме чем-то очень похожий на крепкий пшеничный колосок. — Денег здесь не так много, как нам хотелось бы, батюшка, мы — студенты... Но это — искренний поступок, поверьте!

И смуглый, с темными глазами сотник Камиль Рахимов решительно кивнул, горячо соглашаясь со своим атаманом...

Дай Бог здоровья отцу Даниилу: какой вдохновенной кротостью светилось его лицо, когда он, воздев руку с серебряным крестом и осеня молодых башкир крестным знаменем, благодарил за сердечный дар и призывал благословение Божие и на них, мусульман, и на всех казаков-башкир, и на наших братьев башкир вообще: тоже — всех.

Сорокалетний забайкальский казак Николай Плющ ростом невысок, но широк в плечах, крепок и, как груздок в поре, ладен. Серовато-голубые глаза, густые светлые воло-

сы и такая же борода придают округлому, с правильными чертами лицу вид не только дружелюбный, но благостный... Познакомились мы в Дивеево, куда он, армейский прапорщик, явился чуть ли не на свой страх и риск. «Ладно тебе — самоволка! — утешали его на полушутке. — А почему не решить: воля Божья?.. Ты ведь не куда-нибудь подался — сюда!»

Увиделись потом в апреле на атаманском совете в Москве, и как о деле обоим вполне ясно я коротко спросил:

— Вспоминаешь?

Он даже вздохнул:

— Каждый день!

— А что запомнилось больше всего остального, Павлович?

Он мягко улыбнулся, глаза зажглись тихим светом:

— Со мною там такое произошло!.. Когда стояли в охране внутри храма, поймал вдруг себя на том, что забылся и вместе со всеми пою акафист Преподобному, представляете? Перед этим меня пытались научить под гитару петь — куда там! Полтора года дружок промучился, а после говорит: извини меня, Николай! Уж если медведь кому, и правда, на ухо наступил — так это тебе!.. А тут вдруг — пою! Да еще как, вы бы знали, как! Чуть не в полный голос, а главное, так хорошо выходит. Гляжу, старушки, которые неподалеку стоят, смотрят на меня, утирают слезы и кивают ласково, одна другой шепчет: от молодец!.. А меня вдруг прошибло: да откуда же я, кроме всего прочего, слова знаю — никогда перед этим слыхом не слыхал! И вот во мне: страх и радость!.. Неужели слова вдруг забуду?.. Или сорвется голос... петуха пушу — ведь слуха, и в самом деле, никогда не было... Верите, пережил: и мороз по коже, и сердце как не выскочит — ну, от такого счастья!.. Минут двадцать со всеми пел, эх, как я пел!.. Пока акафист не кончился... Ну, откуда во мне это вдруг взялось — ну, скажите?!

С летчиком Сашей Когут, Александром Станиславовичем, тоже подружился в Дивеево... И я не преувеличиваю это подружился с: истинную цену этим словам, поверьте, знаю. Но как бы объяснить? В Дивеево — там и взгляд у каждого делался намного добрей, и слова становились теплее, и сердце, вдруг понимал ты, — чище...

Гляжу: довольно молодой человек в аэрофлотовской форменке стоит, со всех сторон не то что зажатый, прямо-таки задавленный строгими пожилыми паломниками да богомольными старушками из местных, но вид у него такой дружелюбный, а улыбка такая открытая, будто об этом он только и мечтал всю жизнь: попасть в такую толчею, из которой — ну, никакой возможности выбраться. Мы снимали кино, мне волей-неволей приходилось пробираться через толпу, и возле него я невольно задержался, негромко спросил: «Откуда вдруг в этом степном краю — голубая кровь» аэрофлота?»

«Да я ведь батьку Громова привез! — радостно откликнулся он. — Из Екатеринодара восемь часов пилили против ветра на «кукурузнике», чуть не все ПВО всполошили — шли напрямую... Все наши — поездом, а он опаздывал, атаман!»

Саша Когут, первый летчик Кубанской Рады. Штатный первый пилот.

А сам батька Громов?

Да простит мне многоуважаемый митрополит Питирим: не однажды видел, Владыка, не только по телевизору, но и вживе собеседников Ваших — со счастливыми лицами уже оттого, что они стоят рядом и ловят каждое слово... Я художник, Владыка, у меня, что там ни говори, особое зрение: когда в Дивеево впереди следовавшей за Вами полукольцом казачьей охраны в «бичераховках», в черной полевой форме Вы, величественно как всегда, шли рядом с одетым в белый бешмет, невысоким, в неизменных очках кубанским атаманом, у Вас был воистину счастливый вид!.. Может, то была невольная радость от возвращения блудных — так

давно и так далеко заблудших! — сыновей к своей заждавшейся Православной Матери?

Но, если бы Вы знали, как эта счастливая Ваша улыбка была нужна в с е м н а м, не раз видевшим это, когда во время коротеньких перерывов Вы вместе с нашим батькой неторопливо беседовали. Нужна была наверняка и ему, кубанскому атаману, Владимиру Прокофьевичу Громову.

Я намного старше него, кое в чем — само собой — более сведущ, опыт мой намного грустней. Но, обращаясь к нему и при всех и наедине я произношу совершенно искренне: батька!..

Как раз потому, что не однажды раненым сердцем подмечаю: в отличие от многих других, надевших нынче казачью форму с золотыми генеральскими погонами, это было ему дано — понимание роли, отцовства в совершенно осиротевшем нашем народе, и оно заметно усилилось в нем и явно окрепло — после Дивеева...

Не так давно в Ставрополе атаман города Георгиевска Василий Дронов — его казакам первым вручили наградные кресты за памятное «Дивеевское служение» — дал мне посмотреть несколько уже порядком затертых, не раз переходивших из рук в руки писем: «Ну, вот и опустел наш городок без вас. Ни у кого нет сомнений, что ваш приезд сюда был для нас ну, просто большим праздником, хотя поездка ваша была по делу и очень нужной. Нам очень понравилось все вы: манера держаться, ваш казачий этикет, неторопливая речь, прямой взгляд, простота и в то же время какая-то негибкость ваша. Милые мои, как перед Богом скажу: самому мне выпала честь с вами увидеться и подружиться — с людьми, которые взялись за возрождение нашей России: она стонет от несправедливости и подлости, она тонет и умоляет о помощи, ждет ее от Вас, надежных людей... Трудно нам всем придется, но у казаков назад пути нет, держитесь, братья, мы с вами...»

Крепчает телевизионный геноцид, отрывающий от родных корней неопытную юность, отлучающую ее от своей истории, традиций, обычаев... Доморощенные демократы, надеявшиеся сделать Православную Церковь карманной, всеми способами пытаются теперь опорочить ее — именно потому, что Она такую не стала, а в это время чужие, которых мы не звали в дом, проповедники врываются в него уже не тихим ворьем, а громогласными, прости, Господи, шайками.

И теперь уже ясно, что не в том образе, в котором наивно ожидали их, вернутся наши: с красной звездой на пилотке, в плащ-накидке и с автоматом на груди... Наши — это православные святые и чудотворцы, радители и хранители земли русской; храбрые герои и бескорыстные защитники каждого из народов, бок о бок живущих на тепловой, как материнское молоко, общей нашей земле... Да и уходили они от нас?.. Или в гордыне своей так надолго ушли от них мы, а они все терпеливо ждут нашего возвращения, потому что хорошо знают: с ними мы станем непобедимы. Живою водою они омоют лица отчаявшихся и уставших и Святой Дух, как огонь, сходящий на гроб Господень, воспламенит сердца всех дотле разединенных и живущих в пол-ума и в половину души одним общим порывом братской любви.

«В чистоте соблюдая неуклонную веру Христову, — учит святой Ефрем Сирий в «Слове на пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово», — сделаем шаткою силу мучителя... Неотвратимый подвиг при дверях. Воспримем все щит веры».

Или как почти о том же на русский лад, совсем по-нашему сказал впадшему в глубокое уныние саровскому монаху явившийся к нему уже после окончания своих земных странствий Преподобный: «Радость моя! Я всегда с тобою. Мужайся, не унывай».

Это от него, «убогого служки Серафима», Великого Саровского Чудотворца — нам всем.

ДАЛЕКИЙ ПУТЬ К БЛИЖНЕМУ...

Признайся, соотечественник, не главным ли твоим ощущением двух-трех прошедших лет оставалось горькое чувство всеобъемлющего сиротства?.. Многие из тех, кто прежде был на слуху да на виду, стремительно, словно по волшебству, оборотились: генерал-охранитель сделался наипервейшим радикалом, идеолог-партаппаратчик перекинулся счастливым предпринимателем. Брокеры, астрологи, целители, потомки чародеев и отпрыски знатных фамилий — кто только не проявился вокруг в новом качестве. К дворянскому собранию, первое пристанище которого в центре Москвы находится в том же подъезде, что и редакция бывшего журнала «Коммунист» — нынче, само собой, это журнал «Свободная мысль» — очереди теперь выстраиваются почти такие же, как некогда — за израильским паспортом... И среди этого торжища, посреди ярмарочного шутовского веселья тащишься ты, угрюмый «совок», со своею серой, как солдатская шинель, биографией.

Когда-то отец любил рассказывать байку о мальчике из бедной семьи, который в ответ на хвастовство ровесников богатыми родительскими подарками снимал драный картуз и говорил с убеждающим превосходством: «А мене мамка подстриже!»

Только это нам и осталось?.. Эге!

И я взял книжку Викентия Викентьевича Вересаева «Гоголь в жизни» — в 1990 году ее переиздал «Московский рабочий». И принялся тщательно ее изучать.

На двадцать пятой странице в главе «Предки Гоголя» под номером пятым значится: «Афанасий, род. в 1738 г., секунд-майор. Жена его — Татьяна Семеновна Лизогуб».

Лизогуб — девичья фамилия моей мамы, родившейся в семье приписных казаков, бывших запорожцев, перебравшихся на Кубань с Украины... Вот так-то! — говорил я себе, прочитывая на двадцать седьмой странице строчку из очередного документа: «Лизогуб был, во-первых, родной внук гетмана Скоропадского...» А?!.. «Прадед поэта, Семен Лизогуб, происходил от генеральского обозного Якова Лизогуба, известного также в царствование Петра Великого и его преемников». А вы думали?!

И прямо-таки раздувался я от значительности и гордости: вот оно! Недаром же в моем кабинете дома столько достаточно точных шаржей, на которых я — Николай Васильевич вылитый... да что шаржи! Само-то письмо... Литературный слог. Разве не замечали раньше? Ни о чем таком не догадывались?!

Наслаждаюсь, что называется, отдыхая уставшей от распада дружеских связей, от бесконечного нынешнего отчуждения душой, добрался я до страницы сто первой: «В 1829 году, когда Яким Нимченко, слуга Гоголя, выехал с ним в Петербург, Яким было 26 лет».

Да что же это? — безмолвно воскликнул, еще не очень понимая, как последнее сообщение принимать. — Совсем обложился классика — и тут наши?

На странице 136, где приведен отрывок из письма Николая Васильевича к матери, можете, коли надумаете, прочесть: «Да, сделайте милость, выгоните вон Борисовича, и чем скорее, тем лучше: он выучил моего Якова пьянствовать. Теперь все мне открылось, когда они вместе, Яким с Яковом и Борисовичем, ходили за утками и пропадали три дня; это все они пьянствовали и были так мертвецки пьяны, что их чужие люди перенесли».

И здесь вдруг «все мне открылось», как пишет Николай Васильевич. Ровным счетом — все! Если в отношении родства с Гоголем дело кое в чем довольно сомнительное, то какие еще нужны доказательства, что мы — именно те Немченки, скажите мне, — ну какие?

Придется и в самом деле снять свой пролетарский кепарь и заявить сегодняшним нуворишам, что мама обещала

подстричь... Да только мамы уже нет в живых. Остался старшим в роду. Уже дед.

Вот биография, опубликованная «Роман-газетой» девять лет назад, когда здесь выходила книга «Проникающее ранение»: «Родился в 1936 году в станице Отрядной Краснодарского края. Детство, проведенное в этой старой казачьей станице, дало впоследствии материал для рассказов и повестей о благодатной кубанской земле, о сложных и трудных судьбах ее жителей в тяжелые военные и послевоенные годы.

Писать начал рано. Один из первых рассказов опубликовал в 1955 году в газете «Московский университет», когда был студентом факультета журналистики.

Первая книжка вышла в 1961 году в Кемерово. В это время работал сотрудником многотиражной газеты «Металлургстрой» на ударной комсомольской стройке Западно-Сибирского металлургического завода под Новокузнецком. Больше десятка лет, проведенных на этой стройке, надолго определили круг творческих интересов. О сибиряках написаны романы «Здравствуй, Галочкин!», «Пашка, моя милиция», «Тихая музыка победы». Сибирские рассказы и повести вошли в сборники «Конец первой серии», «Зимние вечера такие долги», «Я в Москве и хотел бы вас видеть», «Отец», «Красный петух плимутрок».

По некоторым из произведений поставлены кинофильмы.

Отдельные рассказы переводились за рубежом.

В 1980 году за сборник повестей «Скрытая работа» был удостоен премии ВЦСПС и СП СССР за лучшее произведение «на рабочем классе».

Нынче к этому можно добавить, во-первых, несколько новых книг: «Хоккей в сибирском городе», «Возвращение души», «Заступница», «Одинокое дело». Дотошному читателю-правдолюбцу — «чтоб разговоров не было» — обязан доложить, что в «период застоя» был-таки награжден орденом Знак почета, но в утешение доброжелателям своим и понимающим людям могу сказать о другом: с упорством, достойным, как говорится, лучшего применения, сибирские мои земляки трижды выдвигали меня на премию Ленинского комсомола, но премии я так и не получил. Зря их у нас тогда не давали. Но ведь и не давали — не зря!.. Так что все эти разговоры о рабской покорности оставим тем, кто их ведет: рассуждают они о себе.

С тех пор, как в 1964 году вступил в Союз писателей, всегда предпочитал «вольные хлеба», но только потом, уже в зрелом возрасте, понял, что это как раз и есть именно свободолобивое, казачье: даже с тою же самою, бытовавшею встарь формулировкой. Случалось, что шел, когда уж очень настойчиво звали, на службу, но служба, как правило была лишь временем накопления энергии для очередного броска на волю: чем дольше служба, тем стремительнее бросок... Неожиданно не только для тех, кто хорошо меня изучил, но даже для себя самого около семи лет отработал в крупнейшем тогда издательстве «Советский писатель», заведовал редакцией русской советской прозы — так это в ту пору называлось. Задержала скорее всего возможность хоть иногда восстанавливать справедливость по отношению к моему обойденному вниманию поколению, а главное — реально помогать молодым. И все же то было время, когда сквозь заманчивые запахи литературной кухни настойно пробивался смрад писательских нужников. Отвращение к литературным играм закрепилось во мне уже окончательно и окончательно же я пришел к выводу о предательской сущности, о той самой «подлости» большей части тех, кого по привычке величаем интеллигенцией.

Как раз в это время тяжело заболела мама, я уехал в станицу, и ежедневное общение с людьми, знавшими еще моих предков и отдававшими теперь, мне заработанное еще ими и так долго оставшееся невостребованным уважением, только добавляло соли на раны, растравленные новыми столичными реформаторами: о чем они пекутся?.. Ради кого?.. Как «хозяйничать» собираются?.. Неужто, и в самом

деле, по знаменитой формуле: **п р о д а д и м з е м л ю — к у п и м х л е б а ?**

В прежние годы я с гордостью говорил о себе, что демократ, и это значило: защитник слабых от сильных мира сего. Спорщик с большими: ради меньших. Но место Гриши Добросклонова опять заняла хорошо подготовленная в чужих краях шайка.

Жизнь моя и раньше состояла из бесконечных возвращений в станицу, в родной дом... Теперь, когда он опустел, душевная потребность в этом не только не отпала, но сделалась явно сильней. Бездельником никогда не был, и, скорее всего, чтобы внутренне оправдать эти свои приезды, пришлось придумывать себе работу. Сначала студия Довженко сняла в станице художественный фильм по моей повести «Брат, найди брата» — сценарий мы написали вместе с известным драматургом Анатолием Галиевым, — а потом с режиссером Игорем Икоевым с Северо-Осетинской киностудии в нашем Предгорье мы подряд сняли три документальных фильма: «Хранитель», «Где Ложкин прячет золото», «Казачий круг». Тогда же по Центральному телевидению прошли две полуторачасовых передачи из наших мест, и все это было — о прошлой казачьей славе, о трагической казачьей судьбе... Реакция на столичное двоедушие? Тоска по утерянному народному достоинству?.. Почти иллюзорная тогда надежда на неистребимую казачью закваску и на духовную основу казачества — православную веру?

Может быть, то было уже прецедентное близкое потрясение: одновременно я взялся переводить сложный и глубокий роман адыгейца Юнуса Чуюко «Сказание о Железном Волке» — мне казалось тогда и ясно видится нынче, что совместной нашей работой мы, два друга, два кунака, словно заново сшивали те вековые связи, которые так бездумно и так безжалостно обрывали оголтелые московские разрушители.

Когда на собрании московского землячества казаков три года назад меня вдруг выбрали атаманом, принял это как закономерный вызов судьбы: сбылись, мол, творческие твои чаяния... Тосковал по казакам — вот они!

Предыдущая жизнь временами теперь казалась мне всего лишь приговорением к сегодняшней: разве не для того я редактировал «самую европейскую в России газету «Металлургстрой», как сказано в одной чешской книжке о Сибири, чтобы теперь выпустить достойные своего названия «Казачьи ведомости»? Не для того ли прошел школу большой сибирской стройки, чтобы вместе с такими же преданными казачьей идее — такими же, по-нашему, **п р е д а т н ы м и**, верными преданьям отцов — собрать теперь уже всероссийский Большой круг?

На круге состоялось учреждение Союза казаков, и я остался заместителем атамана по культуре и внешним связям... Как тут не вспомнить этих первопроходцев недавнего времени — похлопывая себя по карманам, любили говорить: тут у меня — проектный отдел, тут — производственный, тут — кадры, — а тут — бухгалтерия... То же самое мог бы я сказать об отделениях своего рюкзака, с которым путешествовал по Белорусской дороге в проданный теперь иностранцам дом творчества в Голицыно: здесь — редакция газеты, здесь — «Казачья энциклопедия», здесь — переписка о возвращении старых казачьих храмов, а это — зарубежный отдел... Но была и горькая разница: полное отсутствие государственного тыла.

«Казаки создали Россию», да, но официальная Россия, набивавшая карманы учредителями фондов с чужими названиями, не спешила теперь протянуть казакам хотя бы символический медный пятак — на возрождение.

Этого в общем-то и не ждали: мы не из тех, кто просит. Кто сам дает. Куда важнее и радостней было другое: какие отовсюду шли письма!.. Какие вдруг приходили, вдруг приезжали люди! И это все придавало сил: мы — живы, нас много, мы помним, кто и откуда мы — помним!.. Как не расстроиться, когда получишь письмо с документами о казачьих корнях от восьмидесятилетней, все еще работающей врачом Мелитты Эриховны Клейнберг, а потом от нее же —

перевод на сотню рублей с категорической припиской: «На возрождение казачества...» Эта сотня стала потом единственным денежным призом на открытии праздника народного искусства в Колонном зале — ее вручили хору «Станица» из Орловки под Омском: кроме руководителя Ивана Ивановича Эйленберга в нем поют еще несколько немцев... Кроме астраханцев, донцов, кубанцев, терцев на праздник приехали казаки — башкиры, калмыки, осетины, и надо было видеть, как горячо их встретила уже начавшая было от братского тепла отвыкать Москва!.. В своем письменном обращении к казакам Патриарх Всея Руси Алексей Второй выразил надежду на их помощь в «возрождении русской государственности», а зачитал это обращение на вечеру только что назначенный тогда Святейшим для духовного кормления всего казачества священник Сергей Косов... Крепко казачье дело!

Но не дремал и лукавый, не дремал!

В казачье движение тоже потянулись пустоплысы и оборотни, под лозунгом борьбы со спекулянтами на горькой казачьей судьбе как раз и пришли ждавщие часа спекулянты. Истинный дух казачества — братство без лишних слов — стало заменяться театральным целованием по-русски, надуманными манерами, галунами, папахами, газырями. На изготовлении священной для молодых казаков атрибутики одни тратили душу — другие грели руки... Не удержались казаки и с новомодной манерою — тоже повсюду сделались господами. Смотреть на это было и грустно, и смешно, тем более что многочисленные, чуть ли не поголовно стремящиеся непременно к самостийности «бабки» так явно уступали героям моей комсомольской юности, «железным прорабам» — не говоря о «партизанах» — начальниках больших строев и «стальном» директорском корпусе... Но могло ли и быть иначе?

После стольких лет забвенья традиций приходится ли надеяться на строгий атаманский указ, сочиненный за тем же столом, где во множестве подписывались твои же рутинные административно-хозяйственные упражнения?..

До сих пор убежден, что даже разногласия в казачьей среде говорят о силе и естественности движения. Но слишком уж нынче видна и уверенная рука профессиональных разъединителей: как умело пользуются они каждой ущербной в психологии народа, который еще не совсем очнулся, еще не прозрел, еще только начинает осознавать себя в круто изменившемся мире.

Но что идет, то идет.

Как-то однажды в московское землячество пришел очень пожилой, но с юношеским блеском в глазах человек. Долго меня обо всем расспрашивал, а потом, словно подводя итог беседе, прищурился: «Вот что мне скажи: весь казак вышел из кукурузы или пока не весь?» И я его понял. «Пока еще прячется», — ответил. И всякого повидевший на своем веку старик с глазами юноши удовлетворенно сказал: «От то добре!»

Так пока и живем.

Одни уже стерли подошвы сапог о городской асфальт — другие пока насмешливо, но с явным интересом за ними наблюдают, а на все на это с горних высот в безмолвии глядят поколения казацких героев, мучеников, страдальцев...

Все в руках Божиих, и бурка с казачьего плеча, которая зримее день ото дня различима теперь на плечах холодной и голодной России и в которую все больше верят нынче изувечившиеся во всем остальном, — это только желанный образ, создаваемый народным воображением в энергетическом пространстве, полюсами которого стали былая слава и унижение нынешнее. Идет накопление духовных сил, подзарядка тысячелетней мощью, и этот процесс, к счастью, не поддается ни учету, ни прогнозированию политических регентов — даже с помощью новейших устройств.

Но где твое место, писатель?.. В каких рядах? С кем?

Раньше отвечал лишь за себя да за своих литературных героев. Нынче же в странной роли: до того, кто мог бы казакам помочь, не достучишься. Зато охотников, готовых из-

под стоячего подметку вырезать, — хоть отбавляй. На то, что раньше мучительным трудом удавалось лишь с горсткой товарищей, а то, бывало, и одному, стали теперь, на выгодных условиях, подражаться доброхоты, которые оказывались потом общепризнанными среди своих коллег жуликами.

Так было с фильмом «Вольная Кубань», большею частью снятого опять в родных мне стенах и с участием родных мне людей, снятого на добровольные казачьи гроши и увиденного потом рвачом-режиссером, ограбившим не только съемочную группу, но все казачество... Незадачливому атаману, может, и поделом?..

Весною 1992 года в московском землячестве казаков прошел круг, освободивший, наконец, меня от многотрудных атаманских обязанностей. В тот же день подал прошение об отставке от остальных должностей.

На прощанье мне вручили грамоту с высокими словами, которых я явно не заслужил, и подарили чучело фазана с душевной надписью на металлической планке. Домой я нес его под рукой и, когда ловил потом на себе в метро либо на улице любопытные взгляды, про себя невольно посмеивался... Для прохожих это, конечно же, загадка, но сам-то ты должен знать, что эта яркая птица символизирует?.. Опереточность ли твоей бывшей должности в «асфальтовом» московском казачестве? Самонадеянность очень быстро поверивших в свое историческое призвание других господ-атаманов?.. А может быть, все движение?

Что бы там ни было, я — художник, для меня это главное. Другое дело что держится мое творчество, конечно же, на казачьем стержне. Сам по себе я умею больше, нежели в полумифической роли — батйки-атамана. Так и не научившийся — несмотря на дружбу со многими из профессиональных джигитов — хорошо держаться в седле, по харак-

теру я — одинокий всадник. На языке кунаков-черкесов — х а д ж и р е т. К несчастью, мы и слов таких нынче уже не знаем. Рейнджер — это нам ясно!.. Но старый добытый предками опыт мудрее чужестранных новшеств. Когда еще было сказано, что все мы — странники на земле. Путники, которым не дано отдохнуть. Но ведь только так и можно выжить в тех условиях, на которые обречены нынче те из русских писателей, которые свой народ не предали... Будем держаться!

Не сомневаюсь, что богатый и горький казачий опыт выживания, философия добровольного самоограничения и довольствования малым во имя Великого еще сослужит службу всему человечеству, давно живущему в условиях глубокого нравственного кризиса — на пороге экологических катастроф. И русская идея всемирного братского единения еще спасет мир — на этот раз объезжая его в казачьем седле.

И главное, конечно же, что уже отчетливо прочертило казачье возрождение, на которое в понятной надежде глядят нынче и на Руси, и у соседей, и уже в сопредельных странах — это духовный путь от понятия бытового б а т ь к а - а т а м а н а через понятие как бы двуединое — Г о с у д а р ь — к самому высокому и спасительному: Отец Небесный.

Не в каких бы то ни было эшелонах, структурах, фирмах, концернах, сообществах, фондах искать бы нынче защиты от разора и одиночества, но в духовных координатах своего отношения к Нему, и это — единственный путь преодоления нашего русского сиротства.

И не будем забывать, что мы — только слуги.

Слуги Отечества.

А мама нас еще подстрижет...

Молодых, зрелых, пожилых, с непокорными вихрами, ее работников — наша нищая пока Родина-мать.

1

Так была на Кубани история или нет?

Были здесь знатные или славные фамилии? Чьи прадеды, деды носили ордена, золоченые шашки и кинжалы за героические дела? Кто управлял станицами, командовал полками, служил у царя в Петербурге? Кого вызывали из станиц на круглые праздники в почетный ряд, усаживали то за дерновые, то за дубовые столы вместе с начальством на торжественных обедах? Кого избирали почетными стариками разных станиц? Чьими именами назывались балки, поляны, перевалы и кутки? Кому жаловали за услуги дорогие подарки из рук высоких особ? Чьих детей крестили царь, царица? Кого хоронили всем войском, городом, станицей? От кого принимали Екатеринодар, Ейск, Темрюк, Майкоп, Анапа, Геленджик, станицы, области, а также приюты сирот, училища и гимназии, больницы и певческие хоры богатые пожертвования на помин расстававшейся с миром души казачьей? Чьи дома и хаты стоят по сию пору нетронутые по кубанской земле?

Будем жить с памятью о них или нет?

Не с воспоминаний ли о достойных покойниках, не с оглашения ли фамилий уцелевших потомков и приближения их к возрождающемуся стану казачьему надо начинать?

В архивах, газетах, книгах, в устных потомственных преданиях, в каком-нибудь письме старицы из Подмосквы, кадеты из Америки мелькают фамилии казаки.

Порохня, Жежел, Барыш-Тыщенко, сотник Блоха, генерал Вареник, Кухаренко, Недбаевский, Безладнов, Шкурпатский, Черник, Дубонос, Кокунько, Скакун, Соляник-Краса, Рубашевский, Бурнос, Скворцов, Рашпиль, Ветер, Люлька, Величко, Борзик, Перепеловский, Косякин, Кияшко, Поночевный, Свидин, Гаденко, Демьяник, Рыштогоа, Слабизион, Бабыч, Соломко, Мищенко, Терещенко, Корсун, Шрамко, Гулыга, Холявко, Толстопят, Вишневецкий, Камьянский, Крыжановский, Лозинский, Пацапай, Лисевский, Келебердинский, Павлоградский...

Скажи кто-нибудь: «Я внук есаула Поночевского», «Я из рода генерала Рубашевского», почти любой казак рассерженно спросит: «А кто это такие?!»

Перевелись роды казаки? Некем больше гордиться? На всей Кубани нету никого, кто в тетрадке, в амбарной книге перевортыкает листочки с датами, именами и не знает, с кем поделиться? Вдруг слышу в телефонной трубке: «Моя фамилия Свидин».

— Это Ваш родственник служил в Конвое Его Величества?

— Мой дед.

— И кто-то еще жил во Франции.

— Двоюродный брат моего отца.

— Он был белый офицер?.. Представьте себе, что в семьдесят пятом году один краснодарец рассказывал мне о нем. Он написал книгу «Секрет Николая Свидина», но я ее не читал и не видел даже. Он умер в Страсбурге?

— Так точно!

Двум братьям (двум Николаям) отпущен был Господом на запоздалое общение всего один год. Но они не успели бы найти друг друга, если бы Юрия, сына Николая Лаврентьевича, не скрутила болезнь. В клинике везли его на тележке в операционную, и кто-то из сестер назвал его фамилию. Ничего бы не помогло и в этом случае, если бы в коридоре не лежала женщина, жившая несколько месяцев с мужем во Франции в городе Страсбурге. Она услышала «Свидин!» и тотчас вспомнила высокого красавца Свидина, к которому она ходила домой пить чай и разговаривать.

«На Кубани уже нет Свидиных, — говорил он. — Я искал, но бесполезно». Через двое суток она пришла к Юрию Свидину в палату и спросила: «У вас есть родственник Свидин во Франции?»

В казачьих семьях мало рассказывали детям о том, как запутала когда-то великая смута родовые отношения. Меньше будут знать, легче уцелеют. Юрий Николаевич, писавший в анкетах о родственниках за границей твердое слово «нет», сперва даже рассердился: «Откуда? Какие у нашей семьи эмигранты?»

Но адрес французского Свидина взял, сказал отцу, тот признался и благословил сына написать в Страсбург.

Было начало 1976 года...

Весь этот год, первый и последний в их неожиданной связи, они бурно переписывались. Родство возобновлялось. Уже поговаривали о встрече на Кубани. В могучем древе Свидиных они перебирали все ветви и листики — срубленные, отпавшие, засохшие, сгнившие; все корни, давшие ростки, взматеревшие, оголившиеся, пересаженные в другие сады и огороды. Жизнь кончалась. И они снова приставали к своей станице Суворовской, бежали «в ту сторону, чтобы увидеть Эльбрус с светящейся белой шапкой».

Вдруг пришло письмо. «Вот уже третью неделю как я болел воспалением легких. Ослаб необычайно. Если выздоровлю, буду продолжать историю нашей фамилии для потомков. Я сообщу очень интересные подробности об Иване Гавриловиче, Михаиле Ивановиче и его семье, совершенно неизвестные ни Вам, ни Николаю Лаврентьевичу. Если уйду au râtres* — прощайте и вспоминайте иногда обо мне. Целую и приветствую всю фамилию Свидиных. Николай».

Из родившихся в станице Суворовской Свидиных остался один Николай Лаврентьевич. В амбарной книге продолжал он свои воспоминания, начатые в 1970 году.

2

«Станица СУВОРОВСКАЯ, где я родился в 1902 году 22 октября, своими большими крыльями, похожими на казачью бурку, раскинулась по рекам Куме и Тамлыку.

Крутом громадная степь, пересеченная глубокими балками и ярами. Степь тянулась на 25—30 верст, пахалась мало и кто пахал — сеял подсолнух, называемый грызвой, так как семечки лускали всеми семьями, почти ничего не делая в зимнее время. Была в станице маслостройня и три ступы, где толкли просо.

Степи большую часть покрыты высокими травами: пырей, буркун, горошек дикий, клевер, щавель; между ними выделялся седой ковыль. Во время цветения в этом сказочном море цветов особо красивые были тюльпаны, мы называли их «лазоревые цветы»; дикие маки, фиалки, толкачики, колокольчики. Курганы, старинные захоронения, покрыты травкой-муравкой, то есть спорышем и мелкой польноью. По покосам очень много земляники, чабреца. Когда кто косил эту буйную траву на сено, коса была красная от ягод земляники. Подсохшее сено своим ароматом поило воздух на многие версты. В траве водились перепелки; мы, дети, собирали яички, варили или пили сырыми, а осенью перед перелетом ловили их сетями с охотничьей собакой, и улов был богатый; некоторые ловили за день по мешку. Над травами тучи разноцветных бабочек, дикие и домашние пчелы, шмели, стрекозы, повыше — жаворонки. Иногда попадались дрофы, мы называли их «дудаки». Водились суслики,

* К праотцам (фр.).

норки, ежи, лисы, дикие коты и волки. В степи в одиночку на лошадях или волах ехать было небезопасно. Станица одна от другой на 30—40 верст. Ездили больше обдзами, по нескольку подвод, у каждого казака кинжал и кавалерийская шапка.

Из станицы видны горы: Бештау, Верблюдка, Змейка и др. Видны отлично Эльбрус и Казбек. Вверх по реке Куме за казачьей станицей Бекешевской — лес. Детям запрещали играть у реки, так как могли наткнуться на зверя. Отец мой Лаврентий Егорович рассказывал нам, как он подростком со своим отцом, а моим дедом Егором Гавриловичем приехал в это место за строевым лесом. Отец пошел по воду по тропе, а навстречу от реки — большой медведь. Отец испугался, но убежать не стал, крикнул: «Медведь!» Дед был более двух метров роста, большой силы, ломал подковы. Схватив топор, он быстро побегал на крик. Медведь на задних лапах наступал на мальчика, и тут подоспел дед. Махнул топором и разрубил голову медведю. Нас этот рассказ напугал, и мы не ходили без взрослых в заросли и на реку.

Три церкви стояли в станице, колокольня. Колокол-великан. Его звон был слышен под ветер на сорок верст. Шли старушки в длинных юбках, подвязанные платками; шли подтянутые молодые казаки в черкесах. Важно шли шарика с расчесанными бородами, также в черкесах, с медалями и Георгиевскими крестами. В церкви все становилось на свои места: женщины в левом притворе, мужчины в правом. В церковном хоре отличался Рыбасов, казак без обеих ног, октава. Его казаки на хоры вносили на плечах.

Деньги зарабатывать было очень трудно. Часто отец с матерью отправлялись стричь овец, а их было много на казачьей земле — сотни тысяч. С темна и до темна вручную стригли, получая за одну овцу копейку или две. Уезжая на степь, родители оставляли детей дома, — меня, шестилетнего, брата Алексея (4 года) и сестру Нину (3 года). Мне было 7 лет, а Ивану 14, и мы с ним заготовили двадцать вожов стеблей подсолнуха, на топку.

Нас воспитывали быть честными, вежливыми. Видит тебя или нет сидящий или идущий старик или старуха — надо снять шапку и поклониться, поприветствовать. Мы усвоили эту науку и часто за приветствие получали от старших в качестве поощрения длинные конфеты и пряники, а иногда мелкую монету.

В хате висела большая люлька на бечевочных подвесках, из грубо сколоченных досок, обитая мешковиной. На печи ночевали двое старших детей. У родителей была кровать деревянная. Отец был ростом больше двух метров, в хате не мог выпрямиться.

В переднем углу висела икона Божией Матери, перед ней лампадка, а к лампадке прикреплено ячико из синего стекла с бархатным бантиком, подаренное отцу за скачки и джигитовку перед царем в Крыму. Вручала царица. Отец служил в Конвое и сопровождал царскую семью в Ливадии. Однажды во время скачек случилась беда. Конь поскакал к берегу моря, к отвесной круче. Когда уже пропасть была рядом, отец вдруг отпустил повод, и конь встал на дыбы. Отец не удержался в седле, упал, ударился, выбил ногу. По этой причине он был списан и возвратился домой, не выслужив срок. Так вот это стеклянное ячико, врученое царицей, и напоминало казаку о службе у царя. Ему было присвоено звание урядника, и он имел право носить на вершке шапки серебряные нашивки, а от погон отказался. По большим праздникам отец надевал гвардейские мундиры — то темно-синий, то красный; полы и грудь, газыри отделаны серебром. На пояске серебряный кинжал, пояс в серебряной отделке; казачья шапка, высокая папаха...»

(Н. Л. Свидин, Краснодар)

3

«Я очень любил твоего отца, во-первых, потому, что он был закадычным другом и сослуживцем в молодости моего отца, и также потому, что он был очень симпатичным чело-

веком. Оба они были огромного роста и силачами. Лаврентий Егорович мне много рассказывал, что, служа в Петербурге, они часто устраивали побоища со штатскими. Когда мой отец был назначен становым приставом, я летом часто ездил с ним на почтовых по его стану; он своим видом внушал необычное почтение всем. Я помню, что зимой мужики устраивали кулачки: огромное село Новоселицы, две большие цецеки, 10 верст в длину и ширину, было на две части разделено рекой, и эти части дрались одна против другой. Народу было две-три тысячи. Тогда мой отец, один, без урядников и стражников, шел на мост и говорил: «Приказываю разойтись!» И этих двух слов было достаточно, чтобы мужики покорно расхолились. Его очень любили, и когда он мчался на тройке почтовых с бубенцами, то все мужики, сидевшие на завалинках, вставали и снимали шапки...

Покидая Конвой, Лаврентий Егорович и мой отец имели тот же чин: старшие урядники, но КОНВОЯ, что было большой маркой среди казаков-кубанцев. За два года до конца действительной службы мой отец попросил и получил согласие работать в конвойной канцелярии в качестве ученика-писца. Конвойные писари были люди исключительные, они могли дать сто очков любому учителю гимназии. Не надо забывать, что их письма читали и царь и министры. С помощью таких писарей мой отец сделался также первоклассным писарем. Его почерк был необычайно красив, он писал по старой орфографии без малейших ошибок и вполне владел сложным канцелярским слогом. Возвратившись на Кубань, Лаврентий Егорович поехал в свою станицу, а мой отец в громаднейшее село Александровское (теперь город Ставропольского края), уездный центр. Здесь он подал заявление на волостного писаря в каком-либо селе. Его назначили в татарское селение Канглы (суворы называли его Сорокоулом), у подножия большой горы Кинжал, в девяти верстах от станицы Минеральные Воды...

В этот большой аул никто не хотел ехать, так как татары были народ буйный и не любили русских, но с казаками жили в мире и уважали их. Мой отец немедленно заслужил их симпатии. За шесть месяцев он довольно хорошо изучил татарский язык, и только одно это доставило ему большую популярность среди татар.

В окрестностях аула Канглы грабил бедных и богатых знаменитый разбойник Заурбек, татарин из одного аула в Терской области. Долго его не могли поймать, пока кто-то не вспомнил о моем отце, готовившемся в становые приставы. Сообщили губернатору, что Свидин превосходно знает эту местность, у него много друзей и знакомых среди татар. Губернатор вызвал его к себе и сказал: «Поезжайте немедленно и постарайтесь поймать Заурбека. Если Вам это удастся, Вы будете произведены в следующий чин и получите орден Святого Станислава» (как известно, царские ордена были из чистого золота, эмали и очень красивы). Отец из Александровска отправился в Канглы и посоветовался со своим закадычным другом Алиевым. Тот сейчас же пустил в оборот всех своих татар. Десять дней спустя Алиев принес важное известие: Заурбек через два дня будет иметь свидание с одним своим помощником, в степи, в 12-ти верстах от Канглы, позади большого стога пшеницы, принадлежавшей одному тавричанину. Отец прибыл в Канглы с десятью стражниками, но решил действовать сам, взяв в качестве кучера татарина Джевандыка. Он меня нянчил и часто говорил мне: «Я твой нянька». Все, что я рассказывал дальше, я знаю от отца и из газеты. Заурбек должен был прибыть после обеда, его приятели к вечеру, — целью их свидания, как выяснилось впоследствии, был очередной грабёж. Отец решил устроиться в снопах и в нужный момент арестовать сначала Заурбека, а потом и его друга. Джевандыка он хорошо спрятал за соседним стогом; оружием отца были наган и автоматический бельгийский браунинг «Герсталь». Джевандык не был вооружен, но имел очень крепкие веревки. Устроив Джевандыка, отец бесшумно направился к стогу. Можно представить его удивление, когда за стогом он увидел крепко спавшего Заурбека

(он прекрасно знал его по описанию в газетах и от татар). Тот привязал уздечку своей лошади за свою правую ногу; вблизи находился немецкий автоматический маузер с целым складом патронов. Отец поднял маузер и положил его далеко в сторону. Потом, отойдя на три шага, отец громко сказал: «Заурбек, проснись». Тот вскочил как встрепанный и сейчас же протянул руку за маузером. Отец выстрелил вверх. Джебандык, услышав выстрел, сейчас же примчался на бегу к стогу. Заурбека положили посредине бегунков, лошадь привязали сзади. Это была лошадь чистой кабардинской породы, стоила она не менее двух тысяч рублей (обыкновенная хорошая лошадь для полка стоила от 160 до 200 рублей). Губернатор отдал отцу эту лошадь и сказал также: «Вы можете взять себе и другие трофеи: маузер и очень сильный бинокль Цейса». Любопытна судьба этого бинокля. Когда белые наступали в январе 1918 года на Выселки, то к моей матери прибежал красный артиллерист и потребовал от нее бинокль (об этом бинокле знали только хорошие знакомые). Что же касается лошади, то отец ездил на ней долго, а потом подарил ее моему крестному отцу Михайлову, державшему извозчиков в Пятигорске. Заурбека он лично привез со стражниками в Ставрополь.

Всех этих деталей жизни моего отца вы, возможно, не знаете. Даже Лаврентий Егорович не все знал, хотя был на похоронах моего отца, а там, как водится, вспоминали о многом. В январе 1912 года за мной в Ставрополь приехал полицейский урядник Багнюк. Три дня лежал отец в полной парадной форме на столе в громадном зале нашей обширной квартиры; за его гробом шла колоссальная толпа. Простота общения отца с населением, его готовность помочь людям возбудили всеобщую симпатию к нему. Губернатор прислал по телеграфу 500 рублей на похороны, а через год мать получила государственную пенсию на себя и на нас, двоих братьев.

...Только много позже я понял, каким триумфом было для отца возвращение в родную станицу Суворовскую. Он покинул ее бедным сиротой, а вернулся «Вашим Высокоблагородием». Там я впервые увидел Лаврентия Егоровича и двух дедов. Потом мы поехали в станицу Баталпашинскую навестить третьего деда, Ивана Гавриловича. Иван Гаврилович принял нас хорошо и гордился своим племянником.

...Иван Гаврилович взял когда-то на попечение моего отца, а после его смерти вызвал и меня с братом Иваном. Он имел колоссальный вес и на Кубани и в Петербурге, будучи почти историческим человеком. Репин нарисовал его портрет. Он служил при трех императорах, на его погонах было три вензеля: АII, АIII и Николая II».

(Н. М. Свидин, Страсбург, 1976)

4

Ах, конвойцы мои дорогие, в каких небесах вы теперь? Отбиты застужки на ваших сундуках, зарыты в земле, перепроданы барыгами вензеля, Георгиевские кресты, светло-бронзовые медали и ленты, растеряны по всему свету шашки и серебряные кинжалы, мышинными зубками искусаны письма, забыты в станицах ваши гордые имена!

— А у меня сундук деда стоит, — сказал мне Юрий Николаевич.

— Будем искать деда в архиве. И Ивана Гавриловича. И всех Свидиных.

Почти десять лет я не был в архиве. Ехал на трамвае и вспоминал самого себя. Сколько «дел» из фонда 332 перетаскали мне женщины! В фонде КОНВОЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА у меня много знакомых. Я их всех помню. Сколько, казаки, ваших прадедов, дедов на этих драгоценных листах! Здесь они еще живые, теплые, разговорчивые, жаждающие счастья, хорошей службы, помощи и назначений. Пишут прошения, ездят с царем в Ливадию, в Полтаву, в Москву, в Кострому. Отмеряют лошадиам овес. Просятся в станицу покосить траву для худобы и убрать в степи на кошах урожай, подправить хату. Выносят войсковые регалии в почетном

строю льготных казаков; даруют хлеб-соль графу Воронцову-Дашкову. Провожают в последний путь императоров Александра II, Александра III, великого князя Михаила Николаевича, шествуют на коронациях и везут домой памятные знаки. А как каются, молят Государя простить, если нарушили устав службы (снял на посту левый сапог)! Подписи строгих наказных атаманов — всюду. «За Богом молитва, а за царем служба не пропадет», — повторяли часто. «В том, что он, Свидин, на 7-й седмице Великого Поста говел, исповедался и причащался Св. Таин» сообщали в Конвой из дальних мест, куда посылали их с поручением или в отпуск. Ушло под кресты столетие, а в комнате архива под номером таким-то вечным небом светится жизнь! Вчера только поставили свои караули под решением станичного сбора о зачислении в Конвой старики. Какие запорожские фамилии! Опомах, Рыло, Курочка, Гетало, Конограй, Юхно, Рева, Сокол, Таран, Сахно, Цыся, Гетьман, Метелька, Дремлюга, Швыдкий, Рубайло, Цыгикало, Забыйка, Волкодав, Семак, Джумайло, Щупляк, Бричка, Вырвикишка, Костыль, Жадан.

Вышли, как из воды, и офицеры: любимец царской семьи Зборовский, Борзык, брат Бабьча Георгий, Рашпиль, Ветер, Скворцов, Макухо, Свидин. Какой Свидин?! Иван Гаврилович? Михаил Иванович? Лаврентий Егорович?

Раскрываю том «Послужные списки офицеров».

5

В доме отца своего Николая Лаврентьевича, умершего десять лет назад, седой и все еще красивый Юрий Николаевич сидит сам не свой: ждет, какие чудеса рода его выскочат из моих выписок. Да, чудеса: жил ведь как все советские люди, крепко любил и чтит отца своего, историю знал по учебникам, не копался в фамильной скрыне, и вот — какие предки! В глубине казачьей истории живые следы Свидиных.

— Я буду с вами, — говорю ему, — как цыганка, но не про вас, а про ваших родичей все вам открою. Можете даже положить зеркала в руку. Но плату не возьму.

— Хорошо.

— Слушайте, дорогой, на большую дорогу выходим, много бумаг вам выпадет, золото в горсти держать будете. Поскольку командира Конвоя князя Трубецкого давно нет, графа Граббе тоже, все офицеры в вечном отпуске, то понадейтесь на меня: я буду дежурить по царскому Конвою. Вся правду скажу.

— Может, вам винца налить?

— Когда гадаю, не пью, дорогой. Первый в зеркале Гаврила Свидин. От него четыре сына: Борис, Иван, Семен и Егор. От Егора ваш дед Лаврентий, а от него отец Николай. Николай из Страсбурга — внук Бориса. Гаврила Свидин был с донским генералом Платовым в Париже.

— Об этом дядюшка и пишет.

— Я помню. Все сходится без карт. Мне бы такую родню! Весь послужной список Ивана Гавриловича целехонький. Субалтерн-офицер! Родился в тысяча восемьсот сорок третьем году. Жалованье одна тысяча двадцать четыре рубля в год.

— По тем временам — огромное.

— Служба царю была нелегкой. Если бы царская Россия не погибла, у кого-то в вашем роду лежали бы в серебряном сундуке ордена Ивана Гавриловича: Святого Станислава второй степени с мечами, — за отличия против турок; Святой Анны третьей степени, Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом.

— Разрубил турецкого офицера.

— Генерал Скобелев вручал Георгиевское оружие. Под № 27169. Ищите. Скоро на толчке все будет. В тысяча восемьсот семьдесят седьмом году шел в Румынии почти там же, где ваш отец в войну с Германией. Везде пишут: то в отряде Скобелева, то у Куропаткина, у генерала Гурко, то в колонне графа Шувалова. Под Филиппополем окончательно разбили армию Сулейман-паши. Хорошо гадаю?

— Прекрасно! Вы быстрыми шагами ведете меня к пошивочной мастерской.

— Шить черкеску? Из лодзинского сукна? Конвойцы шили из лодзинского. Сошьем, ведь мы с вами пока в тысяча восемьсот восемьдесят первом году.

Смотрите: тридцать первое марта; в начале месяца убили Александра II. Указом правительствующего Сената за № 1333 Свидин Иван Гаврилович утвержден в правах потомственного дворянина. Поганные журналисты, всякие козоглазые либералы пыряют казаков: были дикие, куркули. Даже не представляют, какая блестящая элита подросла в кубанском казачестве, и перед революцией — особенно. «Какие были офицеры!» — старожилы мне говорили десять лет назад. Им и подражать. Но надо же знать все это. Надо почитать хоть два-три листика, «представиться» вместе с Иваном Гавриловичем Александру III, и получить подарок, и почувствовать высший лоск, благородство, гордость Кубанью. Еще у генерала Венеровского в воспоминаниях что-то найдем.

— Я возьму у вас, почитаю детям. Они не поверят.

— Да тут все! Даже: «В Москве в день коронавания (тысяча восемьсот восемьдесят шестой) упал вместе с лошадей и сильно ушиб правое плечо, а лошадь придавила правую ногу. «Ушиб» Высочайше разрешено внести в послужной список». И номер предписания Канцелярии главной Императорской квартиры — 871. Архивы все помнят.

— Жива еще моя тетя, девяносто два года.

— Спросите у нее об Анне, дочери Ивана Гавриловича. Она с тысяча восемьсот восемьдесят первого года, ее может помнить. Сыновья и Параскева родились раньше. Ну а как бабушку похитили черкесы и что написал в «Кубанских областных ведомостях» Иван Гаврилович, поищем. По-моему, в моем томе седьмом что-то записано. У меня двенадцать томов выписок. Вот как я готовился к роману о Екатеринодаре.

— Так в казаки надо готовиться.

— Пожалуй. В год величайшего торгового плебейства, измелчания душ, «иностранно поставленной жизни» (говорил Иван Аксаков) полезно пригубить рюмочку благородного напитка, как считаете? Напиток этот — родное царство прошлого и люди, за него пострадавшие. А мне уж, как цыганке-ворожейке, налейте рюмочку горячительного.

6

В письмах два Николая тотчас заспорили о том, где погиб брат Иван. Николаю Лаврентьевичу он был родной. У Николая из Страсбурга брата тоже звали Иваном, и погиб он в 1920 году под станицей Поповической, а погребен в Гривенской.

О брате своем Николай Лаврентьевич то же писал, что и в амбарной книге на странице двадцать пятой. «Брат Иван и его товарищи Колосов и Безбородов дрались на стороне большевиков. Поехали они в Екатеринодар за боеприпасами на оружейный склад и привезли удачно. Второй раз склады захватили белые и под угрозой расстрела заставили их служить себе, где сотником был НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ СВИДИН, двоюродный брат, он и взял их в свой отряд, чтобы их не расстреляли».

«Найдя подходящий момент, брат Иван и Безбородов ушли от белых, переправились через Кубань на лодке и пришли пешим ходом домой. Здесь явились в ревком, их арестовали, погнали в Екатеринодар. На разъезде Энем их зарубили... Перед этим заставили их выкопать неглубокую могилу. Невестка Ирина, жена Ивана, ездила туда, раскопала и по кальсонам (где латку ложила) узнала. Нос был отрублен. Так погиб брат Иван. На него, бывало, выходило трое казаков довольно здоровых, чтобы свалить, и он их за пять минут, не больше, всех троих клал под себя».

Николай Михайлович из Страсбурга сердито возражал: «Когда я прибыл в станицу на побывку, на два дня, ко мне пришли казаки, просили взять их в сотню (отдельная конная сотня при отряде Галаева, которая поддерживала поря-

док в Екатеринодаре). Пришел и Иван с Безбородовым. Ивана я не хотел брать и сказал ему: «Ты самый старший сын, останься с отцом, без тебя ему будет трудно с хозяйством». Он все же решительно настаивал, и я их повез всех, шесть человек. Они получили лошадей и начали служить. Это было в конце января 1918 года.

Когда под нажимом Красной Армии Екатеринодар пришлось оставить, то ушла и сотня, которой командовал я уже потому, что ее первый командир был убит в женском монастыре (там была твоя сестра; недалеко от станицы Пластуновской). Иван был со мною. Положение наше было очень тяжелое, и нам грозила гибель. Когда мы находились на левом берегу Кубани, недалеко от аула Шенджий, то ночью Иван, в компании с Безбородовым, разбудил меня и сказал, что они решили бежать из нашего отряда, так как, по их мнению, нам грозила неминуемая гибель. Я попробовал их отговорить: мы еще имеем надежду сдаться полностью красным с условием, что нас не тронут и не возьмут в Красную Армию, а если погибать, то погибать вместе. Меня они не послушали, и с тех пор мне неизвестно, где они были пойманы и погибли. Через три дня мы были чудом спасены армией генерала Корнилова и ушли вместе с нею на Дон. Таким образом твоя версия совершенно неправильна: в сражениях против белых Иван не участвовал по той простой причине, что белых на Кубани уже не было, они вернулись туда в конце июля 1918 года. Добавлю, что Иван и Безбородов ушли из отряда в ночь с третьего на четвертое марта 1918 года. Ты сам видишь, с какими подробностями я все это говорю благодаря моей исключительной памяти.

После того, как мы в августе вернулись в Екатеринодар, я немедленно поехал в станицу и увидел твоего отца Лаврентия Егоровича...»

(14 июня 1976 года, Страсбург).

— В моем романе «Наш маленький Париж», — говорю я Юрию Николаевичу, — я поместил документальные странички боев под аулом Шенджий. А в томе втором много выписок из белогвардейских газет. Нарочно сверим. Если перелистать эти газеты, то, может, и дядюшку вашего там найдем или его дядю Михаила Ивановича, сына Ивана Гавриловича.

— Одно время при белых он был начальником гарнизона в Екатеринодаре.

— Я как будто заново переживаю те дни, когда листал бумаги и газеты в архиве. Похоже, это никогда у меня не кончится. Я закрыл эту тему. Такая трагедия, и она с нами до конца века, и что ни возьми — туда все склоняется. Вот и братья в переписке ее не миновали. Разлюбили жизнь, погубили цвет нации.

— Михаила Ивановича Свидина бы найти.

7

«Что же касается дяди Михаила Ивановича, то он пропал без вести после войны. Как ты это, наверное, знаешь, он был блестящим гвардейским офицером и после революции был командиром Кубанского Гвардейского дивизиона (переименованного из Конвоя) и в котором одно время служил и я и в котором был убит брат, 18-ти лет. Он погиб под сенью родного штандарта, под которым так же служили наши деды и отцы. Одно время Михаил Иванович был начальником гарнизона города Екатеринодара. За границей я его нашел в городе Нови Сад, в Югославии. Он жил с женой и тремя детьми. Мы все обрадовались нашей встрече, и некоторое время я жил у них. Потом поехал в Болгарию, Константинополь и, наконец, во Францию. До войны я часто навещал всю семью, она переехала на жительство около города Зайчар, где он поступил на работу счетоводом в Бор. Я помогал им сколько мог. Две девицы вышли замуж за русских, сын Алексей поехал сначала с джигитами в Перу, потом вернулся к отцу, и я тоже не нашел его после войны.

В следующем письме я сообщу тебе, что я узнал о нем; думаю, что его взяли в Союз после освобождения Югосла-

вии. Не слышал ли ты что-либо о нем? Михаил Иванович был исключительно хороший человек, необычайной честности, вежливости и ума. Таких людей теперь мало. У меня еще сохранились его письма и письма его жены Марии Никифоровны, дочери генерала Даркина из Баталпашинска...»

(26 мая 1976 года, Страсбург)

— «Таких людей теперь мало». С детства слышим это, но со смертью последних свидетелей царской России (с 70-х годов) слова эти вопиют горем: нету!

— А храбрые казаки есть. В Приднестровье четверо погибли.

— И в ваших краях, в предгорье, линейцы напряглись. «Мы, — говорят, — опять на краю, на рубеже». Кое-какая надежда появилась. Напечатаем материал, кто вздрогнет над строчками, погордится, погорюет, — скорее поднимется. Или уже не подравняться к тем?

— Не сразу.

— Пока что атаман цепляет медаль «За возрождение казачества», а потом и старинные возобновим. Вот Михаил Иванович получал какие? Смотрите: орден Святого Станислава третьей степени, шведский кавалерский Орден Меча, Святой Анны третьей степени, Святого Станислава второй степени, Святой Анны второй степени, Святого Владимира четвертой степени (в тысяча девятьсот шестнадцатом году); серебряные медали, особый нагрудный знак в честь 300-летия Дома Романовых, золотые часы, кофейный прибор от царя. Родился девятнадцатого ноября тысяча восемьсот семьдесят шестого года. Жалованье одна тысяча триста шесть рублей в год. Восприемницей от купели дочери Фаины была императрица Мария Федоровна. А Галину, умершую потом, крестил Государь.

— Что подарили?

— Наверное, как всем прочим: золотую, украшенную рубином и бриллиантом брошку и т.п. Дерматиновых папок из писчебумажного магазина тогда не вручали.

— У Николая Михайловича ничего не осталось в Страсбурге, а то бы можно найти его архив.

— А Моника? Его подруга.

— Она живет в Швейцарии.

— Тогда напишем в Париж казакам, и они ее, может, найдут. «Я немного фаталист, — писал он на Кубань, — абсолютно по характеру независимый, и это одна из причин, почему я никогда не женился. Я увидел целый мир, говорю на семи языках, имел необыкновенные приключения, описанные мною в книге на французском языке...»

8

Книгу «Секрет Николая Свидина» он не прислал. В Америке, Канаде и в Англии ее читали по-английски.

«Книга моя посвящена наполовину историческим событиям, наполовину моим личным приключениям, которых было очень много во всех странах света. Фамилия Свидин стала известна целому миру».

Что уж там за приключения — узнаем, когда кто-нибудь с Запада книгу пришлет и кто-нибудь переведет на русский. Но едва ли судьба Николая-французского была тяжелее судьбы брата на родине.

В амбарной книге он описывал свою жизнь по вехам страны: гражданская война, коллективизация, война отечественная. Писал как все наши старики. Нынче Россия предана лидерами и либеральной интеллигенцией, имперская земля разделена, и, когда читаешь Николая Лаврентьевича, думаешь: насколько же народ выше драных политиков, выше, тверже в верности земле своей, молчаливее, выдержанней и чище. Но нынешний народ — тот ли? Сможет ли он после великой смуты запеть «Вставай, страна огромная...»?

Лежу в Пересыпи, читаю амбарную книгу, перебираюсь вместе с Николаем Лаврентьевичем от одного года к другому.

Ушли Свидины за море в 20-м году, остались на Кубани казаки на страшные испытания. А жить хочется всем. Уже

опять стали гулять хлопцы и девчата на вечерках. Рассказал ли он в письмах в Страсбург о женитьбе, нет, но потомству своему несколько строчек оставил. Шел из церкви в воскресенье, его придержала Надя. «Будешь сватать? — спросила. — Так я не пойду домой, иди и сватай!». Родители ее просватали перед тем за немилую. Николай Лаврентьевич пошел испытать счастье. Отец Нади выгнал его из хаты, но в конце концов стал сдаваться. «Сват уже истратил барана и сколько водки, уплати ему, иди договорись и сватай, так и быть. Где же ты был раньше?» Был конец осеннего мясоеда. «Семья хорошая, — сказал отец Лаврентий Егорович. — Иди, бери за рукав и до хаты!».

В голоде и холоде проходили молодые годы. Армейская одежда, порожний сундук супруги, чашка, две ложки, ведро и нож — все добро. Зато зубами мог поднять с земли мешок с мукой (пять, шесть пудов). Работал так, что начальник сказал на железной дороге: «Свидину давать хлеба столько, сколько съест». Никогда не унывал и был он тем довоенным и послевоенным советским человеком, о котором даже лютые скептики говорили: какие были тогда люди! Какие отношения! Как умели работать! Умели и повеселиться, и за один день перенести с одной улицы на другую трамвайную линию, много себе не просили, на каждый зов откликались. Ведь это было, было. Если бы они дожили до дня возрождения казачества, какой подмогой бы стали! Но не подать им своих голосов. Но все равно: где бы молодой казак ни оказался (в Дивееве на переносе мощей святого Серафима Саровского, в Дубоссарах или в опять ныне грозном предгорье) — на плечах его судьба деда, батьки, матери. Провожали Николая Лаврентьевича на фронт, попрощался отец на улице, тяжело вздохнул: «Иди. Где ни прощаться, а придет смерть — все равно расставаться». Смерть его миновала и под Керчью, и на станции Семь колодезей, и в плену в Румынии. И шашку родимую не отдал врагу, бросил ее в море. «Вынул немного поблескивающий клинок, прижал к губам, — прощай, кто-то из наших найдет тебя, может, на дне, но немцу не отдам». А там, в Европе, не пожелал служить врагу России белый офицер Свидин. Быть может, в книге «Секрет Николая Свидина» об этом рассказано.

Но пуще амбарных и печатных книг — предания. Ради самого тихого эха о т т у д а, с дальних времен, Юрий Николаевич Свидин скачет с магнитоном под Харьков к 92-летней тетушке. Помнит ли Ивана Гавриловича? Николая Михайловича? Деда Лаврентия, отца? Еще пару слов, еще. Боже мой, все как в сказке. Дед Лаврентий дежурил якобы ночью в Зимнем дворце у спальни государя. Устал и заснул стоя. А царь зачем-то вышел. Дед же ходил и спал. Утром царь спросил его: «Ты что делал ночью?» — «Дежурил». — «А как же ты меня не видел?» — «Та я заснул». — «Ну что ж, — сказал якобы царь, — плоть есть плоть». И в станице, сколько раз дед ни рассказывал, больше всего удивлялись тому, что царь его никак не наказал. Вспоминали потихоньку царскую доброту и в тот год, когда отправляли в тюрьму за сорванный колосок.

В горькие дни разрухи, воровства, продажности и полной потери совести листаю амбарную книгу Николая Лаврентьевича. В другой раз пропустил бы страницу, но сейчас надо опереться на кого-то хоть в прошлом.

Шли корниловцы на Екатеринодар. Николая Лаврентьевича заволкли к себе красные подбирать раненых. Привез одного раненого домой, а в станице корниловцы. Через сутки мобилизовали его в обоз. Под Кореновской завязался бой. Теперь Николай Лаврентьевич возил убитых. По пропуску выехали из станицы с журавским казаком в мохнатой шапке («как Тарас Бульба»), попали в перестрелку, были отбиты красными и в Козырьках получили уже новый пропуск. Отец его в тот же час вместо того, чтобы припрятать осиротевшую станичную кассу, закопать ее в своем огороде и потом жить-поживать на казенные блудные деньги (как это сделали бы нынче многие); погрузил несгораемый ящик на подводу и привез ее в станицу Пашковскую. Когда красные взяли Екатеринодар, ящик Лаврентий Егорович забрал

и отдал в ревком, за что подарили ему хороший тулуп и рову. Интересно, про какие сокровища, ему под охрану доставшиеся, писал в «Секрете» Свидин из Страсбурга? Пождем.

9

Гляжу ли на длинные маршевые ряды казаков на улице Красной, сижу ли со станичными атаманами в зале Дома офицеров, слушаю ли их пение на екатеринодарской станции (в ожидании атамана из Америки), буду ли глядеть на казаков или слушать их на 200-летию высадки запорожцев в Тамани, еще когда-то позже, думал и буду думать об их славных предках, заупокойными устами шепчущих с небес: «Э-эх, не дожили...» И когда кричали вы, нынешние казаки, в Тамани 23—24 августа сего года: «Слава героям! Слава Кубани!», то, может, слышали они вас. Бог весть, как там оно все устроено, но память душевная переливается из века в век.

И Чепига, и Бурсак, и Головатый, и Рашпиль, и Кухаренко с Бабычем, и Науменко, и сотни и тысячи казаков — все равно с вами.

И семья Скакунов, о которых я, может, напишу, — тоже.

И Свидины: Иван Гаврилович, Михаил Иванович, Михаил Борисович, Лаврентий Гаврилович, Николай Лаврентьевич — тоже. Да и тот, кто создал их блестящий род, — Гаврила. Да и белый офицер, почивший в Страсбурге, Николай Михайлович, не только брату своему Николаю и племяннику Юрию послал последний привет: «Если уйду au pâtés, прощайте и вспоминайте иногда обо мне». Всем казакам, еще не чаявшим свободы и ныне свободу взявшим, машут незримые родные богатыри прошлого. Вспоминайте их.

ИСТОРИЯ. ОБЫЧАИ. ЗАПОВЕДИ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА*

Казаки — народность, образовавшаяся в начале новой эры, как результат генетических связей между туранскими племенами скифского народа кос-сака (ка-сака) и приазовских славян меото-кайсаров с некоторой примесью аланов-асов или танаитов (донцов).

Сообщения древних историков и географов, вместе с данными археологии, дают возможность установить довольно точно эпоху и место возникновения нашего имени в его первоначальных формах, а также непрерывность процессов смешивания различных племен, при создании единой казачьей народности и время торжества среди них славянской речи. От глубокой двадцативековой древности и до наших дней звучание и начертание нашего имени подверглось незначительным изменениям.

Первоначально у древних греков оно писалось как кассахи. Так географ Страбон называл воинственный народ, размещавшийся в горах Закавказья в I веке от Рождества Христова. Через 3—4 века, еще в античную эпоху, наше имя неоднократно встречается в танаитских надписях, обнаруженных и изученных В. В. Латышевым. Греческое на-

* Статьи «Историческая справка», «Казачья доля», «Выписка из Советской военной энциклопедии», «Заповеди казачества», «Права и обязанности казака», «Символы и знаки», «Чины и звания», «Население и территория» публикуются с использованием «Памятки», СПб., 1991 (автор-составитель — атаман «Невской станции» Б. А. Алмазов). Б. А. Алмазов указывает, что статья «Историческая справка» публикуется им по материалам «Казачьего словаря-справочника» под редакцией Г. В. Губарева и А. И. Скрылова. Калифорния, США. 1968.

чертание «касакос» сохранилось до X века, после чего в русских летописях его стали смешивать с общекавказскими именами касагов, касогов, казяз.

«Коссахи» по-скифски означало — белые сахи или саки (олени). Олень был тотемным знаком могучего племени савков, начертание оленя, раненного стрелой, сохранилось в нашей древнейшей печати.

От глубокой древности до наших дней жизнь казаков связана с северо-западной частью Скифии Азиатской. Перемещения их предков в ранний кочевой период означены курганными «торческими» погребениями с одним конем. По ним определяется направление движения этих племен в III—II веках до Рождества Христова из Закавказья на Северный Кавказ, где племена начали переходить к оседлости, интенсивно внедряясь в жизнь славян меотов (именовались по Плинию северы, по Птоломею — сувары), этот период в археологии принято называть «внедрением сарматов в среду меотов», в результате чего на Северном Кавказе и на Дону появился смешанный славяно-туранский тип особой народности, делившейся на ряд племен, известных истории под именами торетов, торпетов, торков, удзов, беренджеров, сираков, брадас-бродников и др.

В V веке, после нашествия гуннов, большинство этих племен были оттеснены в пространство между Волгой и Яиком (о чем свидетельствуют «торческие» погребения). Распространились они и в верхнедонскую лесостепь, арабские историки в VIII веке именуют их сакалибами, а сто лет спустя персы — брадасами-бродниками.

Оседлая часть этих племен, оставаясь на Кавказе, подчинялась гуннам, болгарам, казарам и асам-аланам, в царстве которых Приазовье и Тамань назывались Землей Касак.

Там, в 860 году после проповеди Св. Кирилла кассаки приняли христианство.

Входя самостоятельным племенным союзом в хазарский каганат, кассаки выгнали из-за Волги печенегов и принудили их уйти за Донец и Днепр. При этом часть печенегов смешалась с удзами и торками и переселилась с ними на Нижний Дон.

По всему Приазовью и по Дону в то время звучала уже славянская речь. Об этом знали греки, давшие своими свидетельствами основание автору Российских Четий-Миней утверждать, что жители Приазовья, «коих Греки Козарами, Римляне же Газарами называли, был народ скифский, языка славянского, страна же их была близ Меотического озера».

Казачий антропологический тип и казачья разговорная речь формировалась в обстановке количественного преобладания приазовских славян, но до настоящих дней в нашем народе сохранилось много туранских физических черт, много вкраплений туранских слов и оборотов речи. Не напрасно казачий язык раньше считался славяно-татарским.

То же касается и подонских бродников. Изучение погребений столицы хазарского каганата Саркела показывает, что уже ранее население его было смешанным. «В него вошли компоненты, типичные для населения Южного Поволжья и Подонья» (В. В. Гинцбург). Речь здесь идет о бродниках. По общему мнению, бродники — неоспоримые предки донских казаков. Они указаны в персидской географии X века (Гудуд-ал-Алэм) на Среднем Дону и известны там до XIII века, после чего их прозвище заменяется общим казачьим именем.

В 965 году Земля Касак была завоевана Киевом. В 988 году передана в управление одному из Рюриковичей — Мстиславу Владимировичу, который после смерти отца отделился от Киева и со своими кассаками (косаги, казяз) и казарами занял подонские и донецкие степи до Чернигова. В бою под Лиственном Мстислав разбил киево-новгородского князя Ярослава и стал государем державы, получившей название по своему главному городу Томаторкани (Тьмутаракань).

До 1060 года Томаторкань объединяла в своих границах всех кассаков и простиралась от Кубани по всему

Подонью, Дону и Севершине, включая Курск и Рязань. Упадок казачьей монархии начался с приходом в черноморские степи племенного союза кипчаков или половцев (1060 г.). Юг державы, собственно Земля Касак вместе со столицей Томаторканью, еще полтора века оставался независимым княжеством. Это колыбель казаков азовских, гребенских, казаков-черкассов, вышедших отсюда на Дон и Днепр.

Жители центральной степной части государства, занятой половцами, отошли в лесостепь и боролись против них сообща с Русью, под именем черных клобуков. В русских летописях черные клобуки называются черкасами и казаками.

Здесь наш народ получил имя, сохраняемое им до наших дней. По-половецки «каз-ак» — белый гусь, так переводилось имя народа, некоторые племена которого, оставаясь в степи, вошли в половецкий племенной союз. Еще одна часть томаторканского населения ушла в Крым, где запечатлена в генуэзском колониальном уставе, как «Казак охраня колоний».

С приходом монголов в 1223 году подонские бродники стали на их сторону и бились против Руси на Калке. Когда же по Восточной Европе установилась власть Золотой Орды (1240 г.), все казаки оказались в границах татарских владений, сохраняя некоторые автономные права. Они сохранили язык и веру, имели во главе своей Церкви сарайских и подонских епископов.

Под властью ханов казаки находились до конца XIV века, а днепровские — веком больше.

Когда в Орде началась междоусобица, казаки, жившие вдали от правящих центров, много страдали от своеволия ордынских шаек. Это побудило их принять участие в восстании Московского князя Дмитрия. Однако разгром войск Мамая на Куликовом поле в 1380 году стал роковым для казаков. Татары начали истребление христиан-казаков на Дону, вынудив их искать убежища не только в верховьях Дона, но и дальше на Севере вплоть до Камы, Северной Двины и Белого моря. Казаки жили стойкими спаянными общинами, с самоуправлением, а главное — общим чувством родства между собою. Днепровские и перекопские казаки отделились от власти Крыма, после того как ханы покорились власти султана, т. е. в XV веке. Азовские казаки оставались на месте до XVI века, а затем, рассорившись с турками, переселились ближе к Северной земле, где объединились с общиной казаков-белгородцев.

Последними ушли от ханов ордынские ногайские и ордынские астраханские казаки, соединившиеся с донскими только во второй половине XVI столетия.

С этого времени жизнь казаков оказалась связанной с судьбами великих княжеств Московского и Литовского. В условиях постоянной турецко-татарской угрозы явилась необходимость служить двум династиям: Рюриковичам в Москве и Гедиминовичам в Литве.

Протестом против этой необходимости явилось образование двух «речных республик» на Дону и на Днепре, которые послужили очагами возрождающейся казачьей независимости и главными центрами объединения казачьей народности. Сюда, на родную землю, возвращались казаки из Польши, Литвы и различных русских земель, из Турции.

Но многие семьи и роды казаков растворились в среде поляков, русских, литовцев... Часть казаков, обосновавшихся на Севере, двинулась на покорение земель на Востоке, осваивая для московских царей огромные пространства Сибири. Разделенные такими расстояниями, мы все же знаем себя одним целым — казаками. С добавлением — донские, сибирские, семиреченские, забайкальские, кубанские, терские, уральские... Часть казаков, под именем казаков черноморских, в конце XVIII века вернулась в Приазовье, в тепер уже забытую, но все еще притягательную для них Землю Касак.

Казаки влились в семью народов, составивших русский народ. Но собственная наша история остается малоизученной, а то и нарочито искажаемой, однако нет-нет да и про-

бьется, даже в трудах чуждых нам историков, идея об особенной истории казаков, об их самобытности.

В трудах же многих старых историков, таких как Е. Ф. Зябловский (Всеобщая история Российской империи, М., 1807), К. И. Арсеньев и другие, существует неколебимая точка зрения о казаках как особой ветви славянского народа, занимающего часть России...

...Да наша вековая убежденность: «Казаки от казаков ведутся!»

КАЗАЧЬЯ ДОЛЯ

...Древнейшие казачьи поселения на Днепре, Дону, на Тереке, на Урале были устроены на земле, которая никому не принадлежала. Это была широкая, 400—500 км, полоса степи, тянувшаяся от южных отрогов Уральского хребта и северных берегов Каспийского моря, с востока на запад, по северным берегам Азовского и Черного морей до Карпатских гор. А на севере от этой полосы находились линии украинских городов — крепостей Московского государства. По этой равнине в течение многих веков разные кочевые народы из глубины Азии приходили в Европу.

Во времени образования казачьих поселений XV — XVI веков эта местность от Волги до Днестра носила название «Дикого поля».

Казаки владели занятой ими землей по праву владения-захвата и справедливо считали, что она им не пожалована московскими царями или российскими императорами, а завоевана казачьей кровью и закреплена казачьими могилами.

Жизнь в пограничной полосе подвергала казака постоянной опасности со стороны соседей-кочевников. Вследствие этого поселения казаков носили характер укрепленного военного стана — обносились валом и рвом. Мужчины все были вооружены и выезжали на полевые работы, рыбную ловлю, на охоту или пасти скот и лошадей вооруженными. Женщины и девушки также умели владеть огнестрельным и холодным оружием, и история казачьих войн знает случаи, когда женщины в отсутствие мужчин, находившихся в походе, защищали свою станицу от нападений неприятеля.

Жизнь, полная опасностей, выработывала людей с сильным характером, неустрашимых, выносливых; выработывала в них находчивость, умение защищать свою жизнь, свои права и имущество. Среди казаков царило полное равенство и на руководящие посты выбирались люди, отличавшиеся умом, знаниями, талантами и личными заслугами. Никаких привилегий в силу происхождения, знатности рода, богатства или каких-либо иных оснований казаки не знали.

Удаленные на сотни и тысячи километров от тогдашних государственных центров, казаки должны были сами создать для себя власть на месте. Это была власть выборная (войсковой атаман), ограниченная в своих действиях только волею народного собрания казаков — Войскового Круга. Атаману были подчинены все вооруженные силы, равно как и выборные исполнительные власти в Войске. На своих народных собраниях казаки вырабатывали и нормы, по которым действовала эта власть. Раз принятое решение по какому-либо вопросу запоминалось в народной памяти и применялось в аналогичных случаях, становилось обычаем, и таким образом создавалось Войсковое право, которое регулировало все стороны казачьей жизни.

Духовенство также было выборное и избиралось казаками из наиболее уважаемых, грамотных и религиозных людей. Священник не только удовлетворял религиозные потребности казаков, но был для них учителем и судьей.

Казаки были глубоко преданы своей православной христианской вере, но вместе с тем отличались полной веротерпимостью. Не говоря уже о старообрядцах, которых в среде казаков было много, в Кубанском Войске были казаки горцы-магометане, а в Донском была крупная группа казаков калмыков-буддистов. Возвращаясь из своих походов,

казаки отдавали часть военной добычи на свою церковь, и этот благочестивый обычай сохранился до позднейшего времени, когда казаки той или иной станицы, отслужив законный срок в воинской части, возвращались домой и привозили в станичную церковь серебряные церковные сосуды, Евангелие в дорогой оправе, иконы, хоругви и другие церковные предметы.

Создавая самостоятельные порядки, свое управление, свой казачий «присуд» — Войсковое право, казаки, однако, сохраняли тесную связь с Россией — связь религиозную, национальную, политическую и культурную.

Московский царь, впоследствии российский император, признавался казаками как верховная власть. Он был в их глазах носителем государственного и национального единства России.

На свою борьбу с турками, татарами и другими кочевыми народами казаки смотрели как на государственную службу. Они несли эту службу совершенно свободно, без принуждения, в силу добровольно принятой на себя задачи — охранять и защищать границы родины. Трудно в краткой записке изложить громадные услуги, оказанные казаками Российскому государству.

Мы можем отметить наиболее крупные события славной истории казачества.

Еще в XIV веке (1380 г.) казаки помогли князю Московскому Дмитрию победить татар, почти 300 лет владевших русским народом — татарское иго.

В конце XVI — начале XVII века казаки помогли русскому народу изгнать поляков, занявших Москву, и кандидат казаков Михаил Федорович Романов был избран на царство в 1613 году Земским собором, созданным из представителей всего населения. (Согласно дошедшему до наших времен преданию, подлинный участник выборов донской атаман Филат Межакон при подаче своей записки за боярина Михаила Федоровича Романова прикрыл ее сверху отстегнутой саблей. «Прочтеше писаное атаманское, бысть у всех согласен и единомыслен совет». Так гласила летопись.)

В XVIII веке казаки не только участвовали в войнах, которые вело Московское государство, но и самостоятельно боролись с могущественной Турецкой империей, с Польским королевством и с крымским ханом. Запорожцы и донцы на своих лодках переплывали Черное море и осаждали турецкие и крымские города. Донские казаки, с помощью запорожцев, в 1637 году взяли сильнейшую турецкую крепость Азов, которая стояла в устье Дона и преграждала казакам выход в Азовское море. Взяв Азов, казаки послали в Москву посольство и предложили московскому правительству принять эту крепость. Московское государство только что пережило пятнадцатый лет Смуты (1598—1613), т. е. революции, гражданской войны и иностранной оккупации (поляками), было слабым и не решилось принять Азов, опасаясь войны с Турцией.

Донским казакам самим пришлось защищать Азов от 250-тысячной турецкой армии. Казаки отстояли крепость (знаменитое Азовское сидение), но потом были вынуждены покинуть ее и позже должны были дважды ходить под Азов вместе с полками императора Петра I, при котором эта крепость была взята окончательно в 1698 году.

Во внутреннюю жизнь казачьих земель центральное правительство совершенно не вмешивалось. Время от времени царь посылал своих послов к казакам с милостивыми словами и подарками для войска.

Казаки ежегодно, с наступлением зимы, по установившемуся санному пути, отправляли в Москву большое посольство (свыше ста человек), называемое «зимовой станицей», которая должна была передать царю ходатайство о нуждах казаков и принять царское жалованье. Царское жалованье состояло из определенной суммы денег, огнестрельных припасов (свинца, пороха, ядер, пушек, пищалей), хлеба и сукна.

Сношения с казаками шли через Министерство иностранных дел (Посольский приказ), ибо все казачьи земли

находились на положении как бы союзных земель Московского государства.

Казачья привольная жизнь, отсутствие крепостного права, возможность добывать богатую добычу в чужой земле привлекало большое количество беглецов из разных частей Московского государства в казачьи земли, с чем центральное правительство вело постоянную борьбу. Казачьи права, казачьи вольности были в то время (XVII—XVIII вв.) идеалом для русского народа, но противоречили системе государственного управления, построенного на централизме и крепостном праве. Одним из краеугольных принципов казачьего права было основание «с Дону выдачи нет», по которому всякий переступивший границу земли Войска Донского превращался в вольного человека.

При Петре I казачьи вольности были значительно урезаны. Казачьи области в 1721 году были переданы из Министерства иностранных дел в Военное министерство; исконное право казаков избирать себе атамана на Кругу было уничтожено и войсковые атаманы назначались уже верховной властью. Постепенно казачьи вошли в административную систему Российского государства, сохранив, однако, во внутреннем управлении, в пользовании хозяйственными благами (земля, недра, вода) значительную долю автономии.

Казаки сохранили личную свободу, свободу от податей (подушной и земельной), но зато несли поголовную воинскую повинность, отправляя за свой счет, т. е. приобретая за свои деньги, не только белье, обувь и платье, но и воинское обмундирование, холодное оружие, лошадь с седлом; только винтовку казак получал из казны. Этот закон оставался в силе до революции 1917 года. Благодаря такой системе формирования казачьих полков и батарей обходилось правительству необычайно дешево, причем оно могло постоянно располагать первоклассной боевой силой, всегда подготовленной, дисциплинированной. Высокие боевые качества казачьих воинских частей зависели как от прекрасного людского материала, с детства приученного к военным упражнениям, к военному строю и к военной службе, так и от офицерского и командного состава, также состоявшего исключительно из казаков.

Казаками командовали казаки. И офицер, и рядовой казак вырастали вместе в одной станице, как вместе росли их отцы и деды. Один получал образование и становился офицером, командиром по профессии; образование же другого составляла местная школа, и, отслужив действительную службу, он возвращался в станицу, занимался земледелием. Казак-офицер отлично знал психологию каждого своего подчиненного, на что он годен, как будет держать себя в бою. В свою очередь казаки верили, такому командиру, потому что он был свой брат, верили, что он не поведет их вслепую, не даст непосильной задачи, не пошлет на убой.

Только при таких условиях создается гармоничное единство военной части, которое наделяет его непобедимой силой.

В течение XIX века Российское государство использовало казаков преимущественно как военную силу. Например, при нашествии Наполеона на Россию в 1812 году казаки вышли на службу поголовно, от 17 до 60 лет. Под предводительством атамана Войска Донского М. И. Платова казаки значительно способствовали разгрому французской армии.

Во время 60-летней кавказской войны благодаря природным качествам казака и его умению владеть лошастью разведка русской армии лежала главным образом на казаках.

Следует отметить участие казаков в обследовании новых земель в Центральной Азии. Знаменитые путешественники И. Н. Семенов, ген. Н. М. Пржевальский, П. К. Козлов, географические заслуги которых признаны всем ученым миром, пользовались помощью казачьих отрядов в обследовании дотоле неведомых азиатских областей.

Чтобы получить правильное представление о казаках,

надо также иметь в виду, что казаки были не только военными, но большое количество казачьей молодежи начиная со второй половины XIX века шло в высшие учебные заведения — университеты и политехникумы. Для получения высшего образования правительство предоставляло льготы по отбыванию воинской повинности, а войсковая власть давала стипендии.

Как всегда и везде, в высшую школу шли наиболее одаренные и талантливые люди. Из них вышли значительное число профессоров, врачей, инженеров, агрономов, священников, учителей, архитекторов, художников и т. д. В большинстве, по окончании образования, они возвращались в свои родные места и их работа значительно содействовала культурному и хозяйственному подъему уровня местной жизни. Россия знает и помнит не только имена полководцев графа М. И. Платова, графа А. К. Денисова, А. И. Иловайского — героев войны с Наполеоном в 1812 году, Бакланова, Слепцова-Кухаренко — героев кавказской войны, А. М. Каледина, Л. Г. Корнилова, П. Н. Краснова — героев первой мировой войны и казачьих вождей-патриотов, но и имена ученых: геолога И. В. Мушкетова, историка А. Ф. Щербины, географа А. Н. Краснова, металлурга Н. П. Асеева, профессоров В. В. Пашутина и Г. Н. Потанина; а также писателей Ф. Д. Крюкова, Р. М. Кумова, художника Н. Н. Дубовского и поэтов А. А. Леонова, Н. Н. Туроверова.

Свою многовековую службу Российскому государству казаки завершили всеобщим участием в первой мировой войне 1914—1918 годов.

Во время революции 1917 года, сопровождавшейся крушением фронтовых армий, особенно проявились высокие качества казака. Казачьи воинские части на фронте не разошлись, а установили подлинный демократический строй и тем самым сумели сочетать революционную свободу с государственным порядком. Всеобщим голосованием они учредили в каждом войске выборное народное собрание с законодательными правами: Войсковой Круг на Дону, Войсковая Рада на Кубани, выбирали войсковых атаманов, установили независимый суд и независимый контроль над расходованием местных средств.

В казачьих областях во время революции соблюдался полный порядок, жизнь протекала спокойно, права личности были ограждены и имущество не подвергалось революционному отчуждению. Все, кому удавалось вырваться из объятий революционным пожаром России и переехать в казачьи области, спасли свою жизнь и остатки своего имущества.

Через полгода после начала революции, когда надвигавшаяся анархия и развал фронта угрожали самому бытию государства, российское правительство созвало в августе 1917 года в Москве государственное совещание, на котором от лица всех 12-ти казачьих войск выступил выборный атаман Войска Донского А. М. Каледин.

Среди революционного угара это было трезвое, благоразумное слово людей, которые призывали к жертвенности во имя спасения родины, требовали создания сильной, независимой и авторитетной власти, призывали к сохранению государственного единства России, к воссозданию военной силы и к бережному расходованию народных средств, к труду и порядку.

К глубокому сожалению, эти трезвые голоса не были услышаны. Когда в России Коммунистическая партия большевиков вооруженным восстанием свергла Временное российское правительство в Петербурге и захватила власть в свои руки, казаки не признали эту власть общегосударственной. Они объявили свои области самостоятельными впредь до образования в России всенародно признанной общегосударственной власти.

А когда коммунистическая власть направила вооруженные отряды Красной Гвардии против казаков, временно заняла казачьи области и стала насилием и террором устанавливать там свои порядки, казаки через полтора-два месяца восстали против нее и вместе с русскими частями Белой Армии три года вели вооруженную борьбу.

Справедливость требует признать, что из всего многомиллионного населения Российского государства только казаки как народ в массе организованно восстали против коммунистического насилия. Шли на борьбу все способные носить оружие, и в одной воинской части можно было встретить отца, сына и деда. Остальное население помогало бойцам: возили на фронт оружие, патроны, продовольствие, фураж, а обратно домой везли больных, раненых и убитых.

Противники казаков, желая опорочить их, указывали, что они восстали против Советской власти и вели с ней борьбу, потому что были контрреволюционерами и хотели посадить царя на престол. Это неправда! Там, где лилась кровь, надо быть справедливым и к врагам. Казаки боролись за право устраивать свою жизнь самим, за свободу против грубого насилия, за демократию против диктатуры пролетариата, за государственность, право и порядок против произвола и анархии.

Борьба наша не увенчалась успехом: в руках Советской власти были громадные запасы снаряжения и вооружения российской армии, оставшиеся от мировой войны, и неисчерпаемый источник живой силы. Казаки были раздавлены этой силой и должны были покинуть свою родину в 1920 году.

Следует упомянуть, что ушли с родины не только те, кто с оружием в руках боролся против коммунистической власти, но и их семьи, и значительная часть гражданского населения.

В процессе второй мировой войны также значительная часть населения казачьих областей Северного Кавказа (Дона, Кубани, Терека), занимавшихся немецкими войсками, ушла в эмиграцию и слилась с ранее ушедшими казаками.

Дальнейшая судьба этих людей была предопределена Ялтинским соглашением в феврале 1945 года и до сих пор является предметом различной оценки и спорного толкования.

В. А. Харламов

ВЫПИСКА ИЗ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ*

...Казачество быстро освоило плодородные земли окраин России и Украины. В XVI—XVII веках казаки во главе с Ермаком, Поярковым В. Д., Атласовым В. В., Дежневым С. И., Хабаровым Е. П. и др. активно участвовали в освоении русскими Сибири и Дальнего Востока.

...Непрерывная военная опасность, необходимость вести постоянную вооруженную борьбу обусловили у казаков своеобразную военную организацию. Для похода община выставляла конное, пехое или смешанное войско во главе с избранным атаманом. Основной организационной единицей казачества являлась сотня, которая делилась на полусотни и десятки или курени. Сотни первоначально объединялись в отряды и дружины, с XVI века — в полки.

...Казачество активно участвовало в крестьянских войнах и восстаниях (см. Крестьянское восстание под руководством И. И. Болотникова, под предводительством С. Т. Разина, Булавинское восстание, крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева) и в национально-освободительных войнах (см. Освободительная война украинского и белорусского народов 1648—1654 гг.).

Казачьи общины, преобразованные в войска, получали наименование по территориальному признаку. За войском закреплялась земля, которая передавалась в пользование казачьим станицам. До 1716 года казачьи общины находились в ведении приказов (Разрядного, Посольского, Малороссийского, Сибирского, Казанского и др.). Затем некото-

* В 8-ми томах. Т. 4. М., Воениздат, 1977.

рое время — в ведении Коллегии иностранных дел, а с 1721 года перешли в подчинение Военной коллегии. В казачьих войсках постепенно ликвидировалась выборность атаманов и старшин. Они стали назначаться. Подчинение Донского, Яицкого (Уральского), Гребенского и др. казачьих войск царскому правительству произошло в конце XVIII века после крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева. В 1775 году была упразднена Запорожская Сечь, а во 2-й половине XVIII—XIX веке и ряд других казачьих войск. В интересах защиты развивающихся границ Русского государства и для освоения малозаселенных земель Прикубанья, Сибири, Д. Востока, Семиречья были созданы новые казачьи войска: Оренбургское (1755), Черноморское (1787), Сибирское (1808), Астраханское (1817), Кавказское линейное (1832), Забайкальское (1851), Амурское (1858), Семиреченское (1867), Уссурийское (1889). В 1860 году Кавказское линейное и Черноморское войско разделились на Кубанское и Терское войско. В начале XX века в России имелось 11 казачьих войск: Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское и Уссурийское; кроме того, существовало небольшое количество иркутских и красноярских казаков, из которых в 1917 году образовано Енисейское казачье войско и Якутский казачий полк Министерства внутренних дел. В 1916 году казачество составляло 4434 тыс. чел. и располагало 63 млн. десятин земли. Служилый состав казачьих войск насчитывал 474 тыс. чел.

В 1-й половине XIX века царское правительство осуществило мероприятия по регламентации внутреннего устройства казачьих войск. В 1835 году были изданы положения и штаты Донского казачьего войска, которые закрепили его обособление в замкнутое военное сословие. В 1875 году и позже эти положения и штаты были распространены на другие казачьи войска. Согласно Положению 1835 года все мужское казачье население (с 18 лет) обязано было нести военную службу 25 лет, являясь со своим обмундированием, снаряжением, холодным оружием и верховой лошастью. Селиться на территории казачества лицам других сословий и выходить из казачьего сословия запрещалось. За службу каждому казаку в постоянное пользование выделялись земельные наделы (до 30 десятин). Остальные земли войска составляли запас, который предназначался для удовлетворения потребностей роста населения. Офицеры казачьих войск уравнивались в правах с армейскими, а земли атаманов и старшин, ставших социальной опорой царской власти и получивших еще в начале XIX века права дворянского сословия, объявлялись потомственной собственностью. Области, населенные казаками, в военном и административном отношении подчинялись с 1815 года Гл. штабу военного министерства, с 1875 года Гл. управлению казачьих войск, с 1910 года — казачьему отделу Ген. штаба. Возглавлял войска атаман всех казачьих войск. С 1827 года им являлся наследник престола. Во главе каждого войска стоял «наказной» (назначенный) атаман. Войсковой Круг (Рада) был отменен.

В ходе буржуазных военных реформ (см. военные реформы Милютина) казачьи войска были включены в состав губерний и областей, разрешался, хотя и с большим ограничением, прием в казачье сословие и выход из него. Срок военной службы сокращен с 25 до 20 лет. Вводились новые штаты, которые приближали организацию казачьих войск к требованиям буржуазной армии.

По уставу о военной повинности 1874 года казаки состояли на военной службе с 18 до 38 лет. Первые три года находились в «приготовительном» разряде, из них 2 года располагались в станицах, третий — в лагере. За этот срок казаки должны были снарядиться и обучиться военному делу для прохождения строевой службы в войсках. Следующие 12 лет находились в строевом разряде. Первые 4 года несли действительную службу в частях 1-й очереди в районах, предписанных военным ведомством; следующие 4 года состояли в частях 2-й очереди, а затем в войсках 3-й очереди

и проживали в станицах. Прибывая в частях 2-й очереди, ежегодно собирались в лагеря, в частях 3-й очереди проходили один лагерный сбор. После строевого разряда переводились в «запасной» разряд до 1 года. Срок военной службы казаков был уменьшен с 20 до 18 лет. Казачьи войска обязаны были выставлять определенное количество конных и артиллерийских частей, а также пеших и конных в помощь для полицейской службы. Конный полк имел в своем составе 4—6 сотен; сотня — 4 взвода; взвод — 2 отделения. В начале XIX века в военное, а со 2-й половины и в мирное время сводились в бригады (2—3 полка), дивизии, а иногда и в корпус. Пешие (с 1842 года — пластунские) казачьи части имели батальонную организацию. При необходимости 2—3 батальона сводились в полк. Батальон имел 3—4 сотни, сотня — 4 взвода. Казачья (конная) артиллерия формировалась сначала (конец XVIII—XIX в.) в конно-артиллерийские роты 12-орудийного состава, затем (с 1834 года) в артиллерийские батареи 8-орудийного, а с конца XIX — начала XX века и 6-орудийного (3 взвода по 2 орудия).

С 1846 года батареи сводились в артдивизионы и бригады.

Казачьи войска принимали активное участие во всех войнах России XVIII—XX веков. Иррегулярная казачья конница отличилась в Семилетней войне 1756—1763 годов, Отечественной войне 1812 года, Крымской войне 1853—1856 годов, русско-турецких войнах XVII—XIX веков и первой мировой войне.

Перед первой мировой войной в казачьих войсках насчитывалось 54 конных полка, 6 пластунских батальонов, 23 батареи, 11 отдельных сотен, 4 отдельных конных и пеших дивизиона, императорский конвой. Всего 68,5 тыс. чел.

Во время войны (до 1917 года) было выставлено 164 конных полка, 54 батареи, 30 пластунских батальонов, 179 отдельных сотен и др. части и подразделения общим числом свыше 200 тыс. чел.

Первая мировая война, сопровождавшаяся ростом общинации народных масс, привела к тому, что во время Февральской революции казаки перешли на сторону народа.

...Интервенция стран Антанты и резкое обострение классовый борьбы в Советской республике, вызванное иностранным вмешательством, усилили колебания среднего казачества и дали возможность зажиточной части и офицерской верхушке свергнуть в 1918—1919 годах Советскую власть на Дону, Кубани, Урале, Оренбурге и Сибири и создать в этих областях контрреволюционные правительства, возглавляемые атаманами...

В ходе войны, пройдя суровую школу колчаковщины и денкинцины, трудовые массы казачества перешли на сторону Советской власти. Вступив в советские кавалерийские части, соединения и объединения, трудовое казачество написало героические страницы в историю борьбы Красной Армии за победу в гражданской войне. В рядах Красной Армии самоотверженно сражались советско-кавалерийские части, соединения и объединения под командованием Думенко, Каширина, Миронова, Буденного...

Состоявшийся в феврале — марте 1920 года I Всероссийский съезд трудовых казаков закрепил переход казачества на сторону Советской власти. Постановлением ВЦИК 1920 года на казачьи области распространялись действующие в РСФСР общие законоположения о землеустройстве и землепользовании, что положило конец существованию казачества как особого сословия.

20 апреля 1936 года ЦИК СССР отменил существовавшие для казачества ограничения, касающиеся службы в Красной Армии. Перед Великой Отечественной войной были сформированы казачьи кавалерийские дивизии, а в ходе войны (декабрь 1941 года) и казачьи кавалерийские корпуса, которые наряду с другими кавалерийскими соединениями мужественно сражались с немецко-фашистскими

захватчиками. Кавалерийские соединения под командованием генералов П. А. Белова, Л. М. Доватора, Н. Я. Кириченко, И. А. Плиева, А. Г. Селиванова и др. показали в войне высочайшие образцы самоотверженности и героизма.

ЗАПОВЕДИ КАЗАЧЕСТВА

Странная судьба... страшная судьба казачества...

Мы привели специально две противоположные точки зрения на роль казачества в гражданской войне: белогвардейскую и коммунистическую, при всем различии они сходятся в одном: казаки были обречены как социальная группа. Но вот тут начинается странное противоречие: упрежденное в 1920 году как социальное явление, казачество, оказываясь, продолжало существовать! Иначе чем объяснить его появление в 1936 году? Казаки, истребляемые в гражданскую войну и многие годы спустя, казаки, скрывавшие свое казачество, заполнявшие собою все поры ГУЛАГа, «показали высочайшие образцы самоотверженности и героизма» в Великой Отечественной войне.

Кроме физического уничтожения, нас старались истребить и духовно. Методично искажались исторический облик казака, нагнеталась ложь. Вот, например, такие строки из газеты 1919 года 4 февраля «Известия ВЦИК»: «Казачья масса настолько некультурна, что при исследовании психологических сторон этой массы приходится заметить большое сходство между психологией казачества и психологией зоологического мира». «В ухе у казака обыкновенная серьга, а то иногда их даже две. Иногда приходится видеть казака, у которого даже в носу проделана дырка для вставления особого сорта кольцеобразного приспособления». Это не бред сумасшедшего. Автор статьи либо Троцкий, либо Главнокомандующий всеми вооруженными силами республики Вацетис. Опубликованная в центральной прессе, эта ложь стала еще одной строкой в приказе ко всем силам республики: «Убивай — казаки не люди!»

Мы не станем гозорить о том, как исполнялся этот приказ. Это помнят в каждой казачьей семье, это рубец в каждом казачьем сердце! Но мы — христиане, мы выше мести и даже выше злобы!

Мы хотим другого: рассказать об основах нашей психологии, нашей культуры, нашей демократии, и пусть потомок тех, кто убивал нас, топил в крови наши нивы, грабил, насиловал, сжигал... ужаснется делам предков своих и поймет, что нынешнее состояние России — естественный исход того страшного разорения, которое пережила она и в экономике, и в духе.

Мы ж припомним наши главные заповеди, заветы предков и воскликнем с гордостью: «Слава Тебе, Господи, что мы — казаки!»

Казак, говоря о себе, издревле подчеркивал и выделял триаду: «Казакom нужно родиться! Казакom нужно стать! Казакom нужно быть! Тогда обретешь Царствие Небесное и Славу в потомках!»

Этот главный принцип казачьего мировоззрения сегодня нуждается в расшифровке. «Казакom нужно родиться!» — первая часть триединства подчеркивает наше право на самобытность, на национальное самосознание и культуру. Наше право на собственную историю и ее трактовку.

Однако предлагаемое триединство существует только в целом. Каждого из этих постулатов, взятого отдельно, недостаточно для того, чтобы считаться казакom.

Так, одного казачьего происхождения, родства с казачеством по крови недостаточно, ибо сказано: казак — это состояние духа! Это образ мышления и норма жизни.

«Казакom нужно стать!» — принцип, подчеркивающий, что существует некий нравственный идеал, к которому должно стремиться каждому, ведущему свой род от казаков. Этот постулат повлек за собою и юридические нормы, существовавшие в казачьем обществе. Так, не казак по рождению мог казакom стать! То есть жизнью, достойной идеала, заслужить право войти в казачество. Службой и

страданиями заслужить право быть принятым в казачество на Кругу. При этом никогда не требовалось, чтобы он отрекся от своего народа!

Казачество — это состояние духа! Воспитать в себе казачий дух мог каждый, кто выше служения собственному эгоизму, собственному благосостоянию поставил служение Христианству и Добру, самое тяжелое служение — служение воинское!

Недаром наши предки много столетий назад узаконили написание самого имени нашего казак таким, чтобы оно одинаково читалось как справа налево христианами, так и слева направо мусульманами, чтобы все, независимо от знаний и веры, правильно понимали, что такое казачество.

Третий постулат «Казакom нужно быть!» подчеркивает самое главное в нашем понимании жизни. Свое пребывание на земле мы понимаем как постоянное служение. Только безупречным служением мы можем выслушать у Господа Царствие Небесное.

Казачество немислимо без Православия*. Только оно воспитывает нас в небрежении к земным благам, в поиске подлинных духовных ценностей, в жертвенном служении народу христианскому.

Каждый казак обязан ежедневно помнить о той миссии, которая возложена на него Господом! В труде ли, в буднях ли, в праздниках, в войне ли, мы служим Господу, через служение народу своему, России и всем людям и только так понимаем смысл своего пребывания в этой жизни.

Итак, каждый вступающий в любое казачье объединение или сознающий себя казакom должен помнить и следовать главным принципам казачьей нравственности, которое в основе своей имеет нормы христианской морали и состоит в следующем:

Господь сотворил человека по образу и подобию Своему! Все люди равны, и нет народов больших и малых! Потому никогда не гордись казачеством! Никогда не считай сына другого народа ниже или глупее себя, но будь равно добр и открыт всем — как аукнется, так и откликнется! Помни, по тебе судят о народе твоём! По поступкам твоим о племени твоём! Будь прост, но не подобоострастен. Доброжелателен, но не льстив. Храни достоинство, но не гордись! Помни, что каждое твое слово — слово народа твоего, да не будет оно в осуждении его!

Сказано: «Несть ни князя, ни раба, но все рабы Божии!» Да не будет тебе, казаку, кумира ложного. Всем служи честно! Будь законопослушен, но помни — душа твоя принадлежит только Богу и да не проникнет в нее зло человеческое!

Пуще всех благ и самой жизни ставь казачью волю! Но помни: воля твоя в воле Божьей, а потому, свободно выбрав путь свой, служи верно! Помни: воля не своеволие! Лихость не разбой, а доблесть не жестокость! Помни: храброе — всегда доброе — потому как они сильны!

Не мсти! Оставляй врага своего на суд Божий, и станет он скор и справедлив! Сказано Господом: «Мне отмщение, и Аз воздам!»

Будь свободен душою, но страсти держи в оковах, да не владеют они сердцем твоим, да не свергнут в пучину беззакония!

Никогда не воюй со слабейшим, но только с тем, кто сильнее тебя! Сразив врага — будь милостив! Победив его рукою крепкою, победи его милостивым и милосердным сердцем, иначе чем остановим мы ненависть человеческую!

Прощай врагам своим, не трать своей души на ненависть и зависть, и Господь продлит дни твои в мире и радости!

Вступая в любое казачье общество, не поспешай, но присмотришься, поразмысли, а вступивши, служи всем сердцем, всем помышлением. Любая служба твоя да будет службой народу и Богу, ради чего ты явился в мир.

* Исключение из этого правила составляют казаки-ламаисты — калмыки, буряты, монголы и мусульмане — народы Закавказья.

Соблюдай правила и обычаи народа твоего. Никогда никого не поучай свысока, но объясняй и советуй и только тогда, когда у тебя совета спросят. Тогда станица — любое казачье объединение — станет домом тебе, отцом и матерью твоими.

НОВЫЕ КАЗАЧЬИ ЗАПОВЕДИ

1. Люби Россию, ибо она твоя Мать и ничто в мире не заменит тебе Ее.

2. Люби Дон, ибо он колыбель твоей свободы.

3. Люби правду, ибо она единственный маяк в жизни человека.

4. Все, кто идет против Отчизны твоей, — враги.

5. Только в борьбе за счастье Родины ты обретешь свое утерянное право.

6. Веруй твердо в правоту своего дела, ибо вера — единственный камень, на котором ты построишь новую Отчизну.

7. Люби все, что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных степях твоей Родины.

8. Зови всех свободных и сильных вперед.

9. Мир, красота, любовь и правда — вот лозунги на твоём знамени на путях к России.

Опубликованы в журнале «Донской маяк» (ответственный секретарь генерал-лейтенант А. П. Фицхеларов), март — апрель 1921 г. Остров Лемнос. Греция.

Заповеди обсуждены Большим Кругом Союза казаков Области Войска Донского 18 ноября 1990 года (г. Ростов-на-Дону) и рекомендованы для выработки на их основе «Заповедей донских казаков» с последующим утверждением на Большом Круге.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАЗАКА

Право на вступление в казачье общество (круг, объединение, землячество) имеет любой православный, казак по отцу или по матери, а главное, осознающий себя казаком и живущий по принципам казачества, служащий всей душой и всем помышлением народу своему.

Правом присутствия на кругах и сходах, правом быть избранным на любую должность, правом свободно излагать и отстаивать свои взгляды как на развитие казачьей общины, так и всего казачества, традиционно обладают мужчины, православные, казаки.

Казак имеет право посещать круги и сходы вместе с отцом, совершеннолетним старшим братом или родственником, крестным отцом или наставником, свободно выбранным им самим или его матерью с 10-летнего возраста (в виде исключения с 8-летнего). (Здесь и далее возраст устанавливается на Кругу. Наша памятка предлагает уставную традиционную форму, а содержание казаки должны вкладывать свое и по своему усмотрению.)

Казак обязан принимать участие во всех делах своего общества с 16 лет. По решению Круга, за заслуги перед казачеством, может получить право голоса до совершеннолетия, которое наступает в 21 год и влечет за собою полное членство.

По обычаю казаков, женщина пользуется таким уважением и почитанием, что в наделении ее обязанностями и правами мужчин не нуждается.

Разговаривая с женщиной на Кругу или Сходе, казак обязан стоять, при разговоре с женщиной преклонных лет — сняв шапку.

Казак не имеет права вмешиваться в женские дела.

Казак обязан оберегать женщину всеми силами и средствами. Защищать ее, отстаивать ее честь и достоинство — этим он обеспечивает будущее своего народа.

Казачки могут создавать любые объединения внутри об-

щества, не противоречащие принципам Православия и Уставу общества, в которые казак, старик или атаман не имеют права вмешиваться без просьбы женщины.

По просьбе атамана или Атаманского правления казачка может принимать участие во всех делах своего общества, где пользуется всеми правами.

Интересы женщины-казачки на Кругу представляет ее отец, крестный, муж, брат или сын. Одинокая казачка, девушка или вдова пользуется личной защитой атамана, членов Атаманского правления и Совета стариков. Казачка вправе выбрать себе ходатая из своих станичников, хуторян и т. д. или Совета стариков. В иных случаях ее интересы на Кругу представляет атаман.

Казачка имеет право обращаться непосредственно к атаману с просьбами, жалобами или предложениями или выходить на Круг через Совет стариков.

Казачки могут находиться на Кругу в качестве почетных гостей по специальным приглашениям.

Основанием для вступления в любое казачье общество служит личное заявление вступающего с последующим поручительством трех членов этого общества: от товарища вступающего, Совета стариков, от члена Атаманского правления. За казачку поручается уважаемая женщина из казачьего объединения. Кроме поручительства, обязательно благословение священника.

Прием производится простым большинством голосов на Кругу.

Вступивший в казачье общество обязан соблюдать казачьи обычаи и традиции, придерживаться принципов казачьей нравственности: почитать каждого старика отцом своим, престарелую казачку — матерью. Равно как и пожилые люди должны относиться к тем, кто моложе, как к детям своим. Каждую казачку — сестрою своею, чьи честь и достоинство следует нести выше собственной головы, каждого казака — братом, каждого ребенка любить и оберегать как собственного.

Оскорбление одного казака есть оскорбление всех. В случае обиды или нужды казак обязан приходить на помощь немедленно, всеми силами и средствами, без просьбы со стороны нуждающегося.

Казачество всегда исповедовало принцип полной свободы совести. Посему: личным делом каждого является его партийная принадлежность. Как правило, член казачьего общества может быть в любой партии или беспартийным, но сохраняя себя, общество запрещает ему пропаганду в своих рядах любых партийных взглядов, а также ношение партийной одежды и атрибутики. Всякий член казачьего общества должен помнить, что он прежде всего казак, равно как и сотоварищ его по объединению, иначе противники нашего возрождения опять поделят нас на белых, красных и иных, как это уже было, и стравят друг с другом.

Вера в Бога есть дар. Личное дело каждого, верит он в Бога или нет. Но поскольку все казачьи обычаи связаны с Православием, член казачьего общества обязан выполнять их вместе с братьями своими. Никто не вправе упрекать казака в безверии, равно как и в религиозности. За нарушение этого правила, за оскорбление отеческого обычая должно следовать строгое наказание и даже исключение из общества.

Казачество всегда было стволем российской государственности. Традиционно, не претендуя ни на какую власть, казак всегда поддерживал существующий в стране порядок, был оплотом стабильности. Посему член любого казачьего объединения должен быть безупречным гражданином, примером нравственности в быту и службе.

Казак понимает свою жизнь как служение Богу, исполнение его заповедей, через служение Отечеству и народу. Нельзя служить вполсилы — любое дело, порученное атаманом, Советом стариков, правлением или Кругом, казак обязан выполнять безупречно.

Казак обязан по первому зову являться на круги и сходы в предписанной для каждого отдельного случая одежде. Обязан иметь и по приказу атамана надевать в празднич-

ные, храмовые дни и иные праздники, отмечаемые его обществом, национальную одежду, со всей ее атрибутикой и деталями, такую, как было принято в той области, откуда он ведет свою родословную.

Казак обязан постоянно высоко нести казачью честь, беречь достоинство казачества, его обычаи и традиции. Следовать постоянно христианским заповедям любви к ближнему, законопослушания, веротерпимости, трудолюбия и миролюбия.

Да будет самым тяжким наказанием казака исключение его из казачьего общества.

СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

Знамя — символ полкового, войскового объединений. Святыня, за которую казак обязан биться не щадя жизни, не допуская его оскорбления или осквернения. Первоначально у казаков было символом договора на выполнение каких-либо обязательств с иностранными государями. После выполнения таких обязательств знамя поступало в собор или церковь.

Бунчук — знак Ставки, символ атамана на походе, принадлежал войсковому соединению, на походе и в бою следовал за командующим. В мирное время хранился в церкви, выносился только по праздникам как подтверждение его значимости и присутствия атамана. В армии часть функций бунчука унаследовали полковые и именные штандарты.

Булава, пернач — символ военной власти, которой наделяется атаман (у запорожцев — гетман).

Насека — посох с металлическим навершием, на котором первоначально «насекали» имена атаманов, владевших насекою. Символ гражданской власти атаманов всех степеней.

Атаманский кафтан и шапка — принадлежали казачьей общине, передавались вместе с символами атаманства. Хранились у очередного атамана или в Атаманском правлении. (У донских казаков в древности кафтан — красный или парчовый, шапка черная, выше обычной папаху.)

Печать — на рукояти или на перстне, вручалась атаману при выборах. Символ хозяйственной и дипломатической функций атамана. Ею скреплялись все документы. Принадлежала общине и передавалась от атамана к атаману.

Сабля — обычно украшенная, старинная, тоже один из символов атаманства. Лично ему не принадлежала, а была у него на хранении во время правления. Могла храниться в церкви и надеваться на круги по праздникам.

Медаль — личный знак атамана, носилась на шее, поверх галстука, и выпускалась на кафтан в раскол ворота. На лицевой стороне бывали надписи: «Атаман станицы...», впоследствии портрет Государя. На оборотной стороне гравировались имя и фамилия атамана и годы его правления. После исполнения срока атаманства оставалась бывшему атаману на память. В случае вторичного избрания носилась рядом с новой. Медали бывали золотые и серебряные в зависимости от степени атаманства. Медаль меньшего размера носил товарищ атамана.

Чернильница — знак писаря. Медная с ушками, носилась привязанной к поясу. В XIX веке, когда писарей стали нанимать, исчезла из обихода. На смену этому знаку пришла книга.

Казна — железный ящичек, ларец с казноу — знак казначея, ближе к нашему времени тоже замененный книгой.

Книга — тетрадь для записей в твердом кожаном переплете. В момент Круга каждый член Атаманского правления должен был держать свою тетрадь. Главная тетрадь, так называемое Атаманское писание или Закон, была собранием протоколов, где в случае спора можно было отыскать юридический прецедент. Все сохранялись в Атаманском правлении и архиве.

Нагайка — знак есаульца и приставов на Кругу. В повседневной жизни знак власти у полноправного строевого казака. В некоторых станицах нагайку разрешалось носить

только женатым. Дарилась зятю тестем на свадьбе и висела в курене на левом косяке к двери в спальню. Как знак полной покорности и уважения могла быть брошена к ногам уважаемого гостя или старика, который был обязан ее вернуть, а бросившего расцеловать. Если старик через нагайку переступал, это означало, что покорность ему не угодна и обиды или грех провинившегося не прощен.

Шапка — не всякая, специального образца, — знак обладания юридическим полноправием. Первоначально — «клубок со шлыкком». В XIX веке функции «клубука» перешли сначала к сиверу, а затем к фуражке. Казаки нестроевых возрастов обязаны были носить фуражку без кокарды, но это повсеместно нарушалось. На Кругу казак обязан был быть в шапке. Иногородние и гости (не казаки) должны были присутствовать с непокрытыми головами, равно как и не имеющие юридических прав казачества. Снималась во время молитвы, присяги и выступлений на Кругу. Шапка, сбитая с головы, была вызовом на поединок. В курене красовалась на видном месте. В доме вдовы лежала под иконой, что означало, что семья находится под защитой Бога и общины.

Шашка, первоначально сабля — символ всей полноты прав у казака, а также обладание им паевым земельным наделом. Вручалась казаку стариками в 17 лет (за особые заслуги раньше), без темляка. В 21 год при отправке на службу казак получал погоны, кокарду и темляк.

В церкви, в момент слушания Евангелия, шашка обнажалась наполовину, что означало готовность казака стать на защиту христианства. Сохранялась в семье на видном месте. Передавалась от деда к внуку, когда «старик терял силы» и менял шашку на посох.

Если в роду не оставалось наследников, шашка ломалась пополам и укладывалась в гроб умершему.

Шашку и шапку казак мог потерять только вместе с головой.

На Кругу голосовали шашками. Не обладающий полноправием шашку носить не смел.

По решению Круга казак мог быть лишен права ношения оружия на определенный срок. Следующим наказанием было исключение из станицы и казачества.

Погоны — неотъемлемая часть одежды казака строевого возраста. Обязательно носились казаком до выхода «на льготу». Офицерские погоны, галуны и шевроны разрешалось носить пожизненно.

Башлык — у большинства казаков тоже был наделен символическим значением. В зависимости от того как повязывался башлык, можно было узнать возраст казака — завязанный на груди означал, что казак отслужил срочную службу, перекрещенный на груди — следует по делу, концы, заброшенные за спину, — свободен, отдыхает.

Посох — символ старости и мудрости. Члены Совета стариков все сидели, опершись на посох. Посохами наделялись судьи, ходатаи по делам церковной общины, паломники. Поднятый посох означал призыв Круга к молчанию. Шапка, поднятая на посохе, — особо важное сообщение.

Лампас — возник в глубокой древности. Кожаным лампасом кочевники Великой степи от скифов до бродников прикрывали боковой шов штанов. У казаков приобрел значение принадлежности к казачьему сословию, а по цвету — к войску. Стал символом освобождения от всех видов государственных платежей, символом казачьей независимости и национальной обособленности.

Серьги (у мужчин) — означали его роль и место в роду. Так, единственный сын у матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду, где нет, кроме него, наследников по мужской линии, — серьгу в правом ухе. Две серьги — единственный ребенок у родителей. Кроме символического, сакрального значения языческого древнего оберега, играли и утилитарную роль. Командир при равнении налево и направо видел, кого следует в бою поберечь.

Кольцо — мужчины у казаков, как правило, колец не носили. Так что это женская символика. Серебряное кольцо на левой руке — девушка на выданье. На правой — просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит (бирюза — ка-

мень тоски). Золотое кольцо на правой руке — замужняя, на левой — разведенная (развод у казаков существовал всегда). Два золотых кольца на одном пальце левой руки — вдова (второе кольцо умершего мужа, хотя, будучи казаком и получив кольцо при венчании, он на руке его не носил). Иногда кольцо носили в ладанке.

ЧИНЫ И-ЗВАНИЯ

На самой нижней ступеньке служебной лестницы стоял рядовой казак, соответствующий рядовому пехоты. Далее следовал приказный, имевший одну лычку и соответствующий ефрейтору в пехоте.

Следующая ступень служебной лестницы: младший урядник, урядник и старший урядник, соответствующие младшему унтер-офицеру, унтер-офицеру и старшему унтер-офицеру, с соответствующим количеством лычек для современного сержантского состава.

Далее следовал чин вахмистра, характерный не только для казачества, а и для унтер-офицерского состава кавалерии и конной артиллерии русской армии и жандармерии. Вахмистр являлся ближайшим помощником командира сотни, эскадрона, батареи по строевой подготовке, внутреннему порядку и хозяйственным делам. Чин вахмистра соответствовал чину фельдфебеля в пехоте.

По Положению 1884 года, введенному Александром III, следующим чином в казачьих войсках, но только для военного времени, являлся подхорунжий, соответствующий промежуточному положению между подпрапорщиком и прапорщиком в пехоте, вводившимся также в военное время. В мирное время, кроме казачьих войск, эти чины существовали только для офицеров запаса.

Следующая степень в обер-офицерских чинах — хорунжий, соответствующий подпоручику в пехоте и корнету в регулярной кавалерии. По служебному положению соответствовал младшему лейтенанту в современной армии, но носил погон с голубым просветом на серебряном поле (прикладной цвет Войска Донского) с двумя звездочками. В старой армии по сравнению с советской количество звездочек было на одну больше.

Далее следовал сотник, обер-офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий поручику в регулярных войсках. Сотник носил погон такого же оформления, но с тремя звездочками, соответствуя по своему положению современному лейтенанту.

Более высокая ступень — подъесаул. Введен этот чин в 1884 году. В регулярных войсках соответствовал чину штабс-капитана и штабс-ротмистра. Подъесаулы являлись помощниками или заместителями есаулов и в их отсутствие командовали казачьими сотнями. Погон того же оформления, но с четырьмя звездочками. По служебному положению соответствует современному старшему лейтенанту.

И самое высокое звание обер-офицерского ранга — есаул. Об этом чине стоит поговорить особо, так как люди, носившие его, занимали должности и в гражданском, и в военном управлении. В различных казачьих войсках эта должность заключала в себе различные служебные prerogatives.

Слово происходит от тюркского «ясаул» — начальник. В казачьих войсках впервые упоминается в 1576 году, как

введенный в Украинском казачьем войске. Есаулы были генеральные, войсковые, полковые, сотенные, станичные, походные и артиллерийские. Генеральный есаул (два на Войско) — высший чин после гетмана. В мирное время генеральные есаулы выполняли инспекторские функции, на войне командовали несколькими полками, а в отсутствие гетмана — всем Войском. Но это характерно только для украинских казаков.

Войсковые есаулы выбирались на Войсковом Круге (в Донском и большинстве других — по два на Войско, в Волжском и Оренбургском — по одному). Занимались административными делами. С 1835 года назначались в качестве адъютантов при войсковом наказном атамане.

Полковые есаулы (первоначально два на полк) выполняли обязанности штабс-офицеров, являлись ближайшими помощниками командира полка. Сотенные есаулы (по одному на сотню) командовали сотнями. Это звено не привилось в Войске Донском.

Станичные же есаулы были характерны только для Войска Донского. Они выбирались на станичных сходах и являлись помощниками станичных атаманов.

Походные есаулы (обычно два на Войско) выбирались при выступлении в поход. Выполняли функции помощников походного атамана, в XVI—XVII веках при его отсутствии командовали войском, позднее являлись исполнителями приказаний походного атамана. Для Войска Донского характерны только на указанный период.

Артиллерийский есаул (один на Войско) подчинялся начальнику артиллерии и исполнял его поручения.

Генеральные, полковые, станичные и другие есаулы постепенно были упразднены. Сохранялся лишь войсковой есаул при войсковом наказном атамане Донского казачьего войска.

В 1798—1800 годах чин есаула был приравнен к чину ротмистра в кавалерии. Есаул, как правило, командовал казачьей сотней. Соответствовал по служебному положению современному капитану. Носил погон с голубым просветом на серебряном поле, пустой, без звездочек.

Далее идут штаб-офицерские чины. По сути дела, после реформы Александра III в 1884 году чин есаула вошел в этот ранг, в связи с чем из штаб-офицерских чинов было убрано звено майора, в результате чего военнослужащий из капитанов сразу становился подполковником.

Далее идет войсковой старшина. Название этого чина произошло от старинного названия исполнительного органа власти у казаков (так называемого войскового старшины). Во второй половине XVIII века это название в видоизменной форме распространялось на лиц, командовавших отдельными отраслями управления казачьего войска. С 1754 года войсковой старшина приравнивался к майору, а с упразднением этого звания в 1884 году — подполковнику. Носил погон с двумя голубыми просветами на серебряном поле и тремя большими звездами.

Дальше идет полковник. Погон такой же, как у войскового старшины, но без звездочек. Начиная с этого чина, служебная лестница унифицируется с общегерманской, так как сугубо казачьи названия чинов исчезают и идет генеральское звено, характерное для всей русской армии. Его служебное положение полностью соответствует генеральским званиям Советской Армии.

А. Захаревич

НАСЕЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИЯ НА 1916 г.

Войско	Население	Территория	Воинские части	Цвет лампаса и околыша
Донское	1,5 млн. чел.	12 млн. дес.	66 полков 44 батареи 110 сотен 6 батальонов	Алый
Кубанское	1,3 млн. чел.	6,8 млн. дес.	41 полк 1 пеший 2 кон. дивизиона 27 батальонов 10 бат. 35 сотен	Синий
Оренбургское	533 тыс. чел.	7,4 млн. дес.	21,5 полка 9 бат. 46 сотен	Малиновый
Уральское	174 тыс. чел.	6,4 млн. дес.	10 полков 4 бат. 8 сотен	Желтый
Забайкальское	264 тыс. чел.	10 млн. дес.	9,5 полка 5 бат. 3,5 сотни	Желтый
Терское	255 тыс. чел.	1,9 млн. дес.	14,5 полка 2 батальона 3 батареи 2,5 сотни	Алый (по донскому образцу)
Сибирское	172 тыс. чел.	5 млн. дес.	9 полков 3 дивиз. 5 сотен 3,5 бат.	Желтый
Астраханское	40 тыс. чел.	808 тыс. дес.	3 полка 1 бат. 2 сотни	Малиновый (по уральскому образцу)
Семиреченское	45 тыс. чел.	681 тыс. дес.	3 полка 13. сотен	Желтый
Амурское	49 тыс. чел.	970 тыс. дес.	2 полка 1 батарея 7 сотен	Желтый
Уссурийское	34 тыс. чел.	617 тыс. дес.	1,5 полка 7 сотен	Желтый
Енисейский полк	20 тыс. чел.		1 дивизион	Красный
Якутский полк	3 тыс. чел.		3 сотни	Желтый

КАЗАЧЬИ ПРАЗДНИКИ *

- 1 января* ** — круг Донского казачьего войска.
3 февраля — праздник 1-го конного полка Сибирского казачьего войска.
12 февраля — праздник 3-го конного полка Сибирского казачьего войска.
17 марта — праздник всех частей Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачьих войск.
3 апреля — войсковой круг Кубанского казачьего войска.
6 апреля — праздник Лейб-Гвардии Кубанской казачьей сотни.
23 апреля — войсковой круг и праздник всех частей Оренбургского казачьего войска, 1-го конного полка Семиреченского казачьего войска, Лейб-Гвардии 6-й Донской казачьей батареи.
6 мая — круг Донского и Кубанского казачьих войск.
9 мая — праздник 4-го полка Оренбургского казачьего войска.
21 июня — круг Забайкальского казачьего войска.
13 июля — праздник 2-го конного полка Семиреченского казачьего войска.
31 июля — праздник Донского казачьего 1-го полка.
1 августа — праздник Уральского казачьего 1-го полка.
16 августа — праздник 4-й донской казачьей сотни.
19 августа — праздник всех частей Астраханского казачьего войска.
25 августа — войсковой круг и праздник всех частей Терского казачьего войска.
30 августа — праздник Оренбургского казачьего 5-го полка, войсковой круг и праздник частей Кубанского казачьего войска.
4 октября — праздник Собственного Его Величества конвоя и Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка.
17 октября — войсковой круг и праздник всех частей Донского, Кубанского и Астраханского казачьих войск.
8 ноября — войсковой круг и праздник всех частей Уральского казачьего войска.
20 ноября — праздник Донского казачьего 11-го полка.
6 декабря — праздник всех частей Сибирского казачьего войска, Лейб-Гвардии Кубанской сотни, Кубанского казачьего дивизиона, Донской казачьей 1-й батареи.

* По материалам «Военного альманаха на 1901 год», СПб., 1901 (под редакцией Б. Л. Тагеева).

** Даты указаны по старому стилю.

ГИМН КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

Ты, Кубань, ты наша родина,
Вековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдали и вширь.

Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны
Бьем челом тебе, родимая,
Твои верные сыны.

О тебе здесь вспоминаючи,
Песню дружно мы поем.
Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом.

О тебе здесь вспоминаючи,
Как о матери родной,
На врага на басурманина
Мы идем на смертный бой...

О тебе здесь вспоминаючи,
За тебя ль не постоять,
За святую землю русскую
Жизнь свою ли не отдать?

Мы, как дань свою покорную,
От прославленных знамен
Шлем тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон.

ГИМН ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв свободы он.

Зеленеет степь родная,
Золотятся волны нив,
И, с просторов долетая,
Вольный слышится призыв.

Дон детей своих сзывает
В Круг державный войсковой,
Атамана выбирает
Всенародную душой.

В боевое грозно время,
В память дедов и отцов,
Вновь свободно стало племя
Возродившихся донцов.

Славься, Дон, и в наши годы,
В память вольной старины.
В час невзгоды — честь свободы
Отстоят твои сыны.

НЕ ИЗ ТУЧУШКИ ВЕТЕРОЧКИ ДЮЮТ*

Не из тучушки ветерочки дуют,
Ой, не дубравушка во поле шумит.
То не серые гусюшки гогочут,
Ой, по-над бережком они сидючи.

Не сизые орлы во поле клекочут,
Ой, по поднебесью они летучи, —
То гребенские казаченьки,
Ой, перед Грозным царем гуторят:

— Ой ты, батюшка, ты,
Наш царь Иван Васильевич,
Ой, православный ты наш Государь,
Как бывалоча ты нас, царь-надёжа,
Ой, много дарил нас, много жаловал.

А теперича ты, наш царь-надёжа,
Ой, скажи да скажи нам, казакам,
Чем пожалуешь нас, чем порадуешь,
Ой, чем подаришь нас, чем пожалуешь?

— Подарю я вас, гребенски казаченьки,
Ой, рекой Тереком, рекой быстрою,
Ой, всё Горыньчем со притоками,
От самого гребня до синя моря,
Ой, до синя моря, до Хвалынского.

ЧУ! СИЛА МОГУЧАЯ ВСТАЛА (Казачья песня периода 1914—1916 гг.)**

Чу!.. Сила могучая встала,
И слышно сквозь шум камыша
По диким отрогам Байкала,
Сквозь бурю и вой Иртыша,

Как движутся грозные тучи
В безмолвной тайге по снегам,
Минуя уральские кручи,
И к волжским идут берегам.

Где горы закрыли туманы,
Где злобно потоки режут,
Встают удальцы-атаманы,
Станичников гордых зовут.

И батюшка Дон всколыхнулся,
Щетиною пики стоят,
Ермак Тимофееч проснулся, —
Старинные песни гудят.

На Запад туманный, кровавый
С Востока степные полки
Идут безудержною лавой, —
За славой идут казаки!

* Эта песня, ставшая Терским гимном, — одна из старейших не только среди терских казачьих песен, но и вообще среди казачьих, относясь непосредственно ко времени Ивана Грозного.

Терские казаки иначе назывались гребенскими, в зависимости от того, жили ли они ближе к реке (Тереку) или к горному хребту (гребню).

** Из сборника «Казачьи песни» под редакцией П. Н. Краснова — трофейное издание 1945 г.

ЧТО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ О КАЗАЧЕСТВЕ РОССИИ*

Казачество до 1917 года

ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Воробьев Б. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС У КАЗАКОВЪ. СПб., 1908.
Волк-Карачевский В. В. БОРЬБА ПОЛЫШИ С КАЗАЧЕСТВОМ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII И НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА. Ки-
ев, 1899.
- КАЗАЧЬИ ВОЙСКА / Публ. подгот. Рыбин В. А. // Военно-ис-
торический журнал. — М., 1990. № 7.
- КАЗАЧЬИ ВОЙСКА РОССИИ. — Б. м. (1992). Вып. 1. 1914 г. /
Сост. Малков О. Б.; Ред. Кузьминов В. И.
- Катанаев Г. Е. ОФИЦЕРСТВО И РЯДОВОЕ КАЗАЧЕСТВО НА-
ШЕ. Омск, 1918.
- Казин В. Х. КАЗАЧЬИ ВОЙСКА (*Хроники гвардейских казачьих
частей помещены в книге Имп. гвардия*). Под ред.
В. К. Шелк. Сост. В. Х. Казин. По 1-е апр. 1912 г. Справоч-
ная книжка Имп. глав. квартиры. СПб., 1912.
- Козлов С. А. ПОПОЛНЕНИЕ ВОЛЬНЫХ КАЗАЧЬИХ СООБ-
ЩЕСТВ НА СЕВЕРНОМ КAVKAZE В XVI—XVII ВВ. / Сов.
этнография. М., 1990. № 5.
- Краснов П. Н. КАЗАКИ В АБИССИНИИ. *Дневник начальника
конной Российской Императорской миссии в Абиссинии*. 2-е
изд. СПб., «Русская скоропечатня», 1909.
- Мужев И. Ф. КАЗАЧЕСТВО ДОНА, КУБАНИ И ТЕРЕКА В РЕ-
ВОЛЮЦИИ 1905—1907 гг. Орджоникидзе, 1963.
- Пронштейн А. П., Мининков Н. А. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ В
РОССИИ XVII—XVIII ВЕКОВ И ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
/ Сев.-Кавк. науч. центр. высш. шк. Рост. гос. ун-т им.
М. А. Сулова. Ростов н/Дону, Изд-во Рост. ун-та, 1983.
- Ригельман А. ЛЕТОПИСНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О МАЛОЙ
РОССИИ И ЕЕ НАРОДЕ И КАЗАКАХ ВООБЩЕ отколь и из
какого народа оные происхождение свое имеют и по каким
случаям они ныне при своих местах обитают, как-то: чер-
касские или малороссийские и запорожские, а от них уже
донские, а от сих яички, что ныне уральские, грбенские, си-
бирские, вольские, терские, некрасовские и проч. казаки, как
равно и слободские полки. Собр. и сост. чрез труды А. Ри-
гельмана 1785—1786. Ч. 1—4. М., Имп. О-во истории и
древностей российских, 1847.
- Розлер И. Г. КАЗАЧЕСТВО В КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЕ
1773—1775 гг. Львов, 1966.
- Станиславский А. Л. РУССКОЕ КАЗАЧЕСТВО В ПЕРВОЙ ЧЕТ-
ВЕРТИ XVII ВЕКА: Автореф. дисс. ...д-ра ист. наук. М.,
1984.
- Савельев Е. П. КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В СВЯЗИ С КАЗАЧЬ-
ИМ. Новочеркасск, 1917.
- Трехбратов Б. А. ПЕРВЫЕ ШАГИ... *Выступления армейских и ка-
зачьих частей на Северном Кавказе в период революции
1905—1907 гг.* Краснодар, 1989.
- Футорянский Л. И. БОРЬБА ЗА МАССЫ ТРУДОВОГО КАЗАЧЕ-
СТВА В ПЕРИОД ПЕРЕРСТАНИЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМО-
КРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ.
Оренбург, 1972.
- Чуйкевич П. ПОДВИГИ КАЗАКОВ В ПРУССИИ. *С планом те-
атра войны 1807 года и многими любопытными анекдотами*.
СПб., 1810.

АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:

- Бирюков И. А. ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА. Сост. И. А. Бирюков. Саратов, 1911.
- Македонов Л. В. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРО-
МЫСЛЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАНИЦ АСТРАХАНСКОГО КАЗА-
ЧЬЕГО ВОЙСКА. *Статистико-экономическое исследо-
вание*. СПб., 1906.

* Библиография подготовлена сотрудниками Группы по истории национальных отношений Института российской истории РАН Н. Ф. Бугаем и О. М. Чащариной.

ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:

- Агафонов А. И. ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО И ПРИАЗОВЬЯ
В ДОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД / Отв. ред. Прон-
штейн А. П. — Рост. гос. ун-т им. М. А. Сулова. Ростов
н/Дону, 1986.
- Бабенышев П. П. ДОНСКИЕ КАЗАКИ В ВОЙНЕ 1812 ГОДА.
Очерк. Ростов н/Дону, Ростиздат, 1940.
- Броневский В. ИСТОРИЯ ДОНСКОГО ВОЙСКА, ОПИСАНИЕ
ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ И КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОД. Ч. I. СПб., 1834.
- Валаев А. И. и др. ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА. *Сб. материалов и документов*.
Изд. 2-е. Ростов н/Дону, 1943.
- ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ (*Краткая исто-
рия донских казаков*). М., 1907.
- ДОНЦЫ XIX ВЕКА. *Биографии и материалы для биографий дон-
ских деятелей на поприще службы военной, гражданской и
общественной, а также в области наук, искусства, литера-
туры и проч.* Новочеркасск, 1907.
- ДОНСКИЕ КАЗАКИ В 1812 ГОДУ. *Сборник документов об уча-
стии донского казачества в Отечественной войне 1812 г.*
Отв. ред. А. В. Фадеев / Введ. П. Г. Бескровного. Ростов
н/Дону, 1954.
- Кириенко Ю. К. РЕВОЛЮЦИЯ И ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
(ФЕВРАЛЬ — ОКТЯБРЬ 1917 г.). Отв. ред. Козлов А. И. —
Сев.-кавк. науч. центр. высш. шк. Ростов н/Дону, 1988.
- Корчин М. Н. ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО (*Из прошлого*). Ростов
н/Дону, 1949.
- Корчин М. Н. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОНСКО-
ГО КАЗАЧЕСТВА (1905—1919 г.). Ростов н/Дону, 1941.
- Королев В. Н. АЗОВСКАЯ ЭПОПЕЯ: последние операции дон-
ского казачьего флота // Дон и северный Кавказ в древно-
сти и средние века. Ростов н/Дону, 1990.
- Лукин Б. В. АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ. *Страницы из истории дон-
казачества*. Ростов н/Дону, 1939.
- Лукин Б. В. ДОНСКИЕ КАЗАКИ В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙ-
НЕ 1904—1905 ГОДОВ. Ростов н/Дону, 1939.
- Медведев А. И. СЛУЖБА ДОНСКОГО ВОЙСКА В СВЯЗИ С ЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ. М., 1899.
- Мининков Н. А. О РОЛИ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА В КРЕ-
СТЬЯНСКИХ ВОЙНАХ // Общественное сознание, книж-
ность, литература периода феодализма. Новосибирск,
1990.
- Пудавов В. М. ИСТОРИЯ ВОЙСКА ДОНСКОГО И СТАРОБЫТ-
НОСТЬ НАЧАЛ КАЗАЧЕСТВА. Вып. 1. Новочеркасск,
1890.
- Савельев А. ТРЕХСОТЛЕТИЕ ВОЙСКА ДОНСКОГО.
1570—1870 гг. *Очерки из истории донских казаков*. Сост.
А. Савельев. СПб., Донской войсковой статистический ко-
митет, 1870.
- Сватиков С. Г. РОССИЯ И ДОН (1549—1917). *Исследование по
истории государственного и административного права и по-
литических движений на Дону*. Белград, Донская историче-
ская комиссия, 1924.

КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:

- Голобуцкий В. А. ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Киев. Изд-
во АН УССР, 1956.
- Ковальский Н. П., Брехуненко В. А. О СВЯЗЯХ ДОНСКОГО И
ЗАПОРОЖСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
XVII ВЕКА (*по документам Разрядного приказа*) // Изв.
Сев.-Кавк. науч. центра высш. шк. Обществ. науки. Ростов
н/Дону, 1989. № 2.
- Колесников В. П. КАЗАЧЬЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ НА КУБА-
НИ И МЕРЫ К ЕГО УЛУЧШЕНИЮ. Екатеринодар, 1909.
- Куценко И. Я. КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Краснодар, 1990.
- Короленко П. П. ДВУХСОТЛЕТИЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА. 1696—1896 (*Истор. очерк*). Сост. П. П. Королен-
ко. Екатеринодар, 1896.
- Орлов П. КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. *Откуда повелось Кубанское ка-
зачье войско и как несло оно государеву службу на благо Ру-
си...* Екатеринодар, 1908.
- Скворцов С. А. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Использование земель общинами Кубани. Краснодар, 1925.

Шевченко Г. Н. К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ РЯДОВОГО КАЗАЧЕСТВА В ЧЕРНОМОРЬИ В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. М., 1976.

Шевченко Г. Н. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. М., 1977.

Щербина Д. А. ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. Т. 1. Сост. Ф. А. Щербина. Екатеринодар, 1910. (См. также журн. «Кубань» (Краснодар), 1989. № 6.)

Яворницький Д. У. ІСТОРІЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ: У 3-х т. — Львів. Світ, 1990. Т. 1.

ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:

Бентковский И. В. ГРЕБЕНЦЫ. Историческое исследование И. В. Бентковского. 2-е изд. М., 1889.

Гриценко И. П. ГОРСКИЙ АУЛ И КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА. Терек накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Грозный, 1972.

Заседателева Л. Б. ТЕРСКИЕ КАЗАКИ (СЕРЕДИНА XVI — НАЧАЛО XX в.). *Ист.-этногр. очерки*. М., 1974.

Кравцов И. ОЧЕРК О НАЧАЛЕ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. Сост. И. Кравцовым. Харьков, 1882.

Омельченко И. Л. ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Владикавказ, «Ир», 1991.

Ржевусский А. ТЕРЦЫ. Сборник исторических, бытовых и географическо-статистических сведений о Терском казачьем войске. Сост. А. Ржевусский. Владикавказ, 1888.

Потто В. А. ДВА ВЕКА ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА (1577—1801). Т. 1—2. Владикавказ, 1912.

Ткачев Г. А. ГРЕБЕНСКИЕ, ТЕРСКИЕ И КИЗЛЯРСКИЕ КАЗАКИ. Книга для чтения в станичных и полковых школах, библиотеках и командах. Сост. Г. А. Ткачев. Владикавказ, 1911.

Чернозубов Ф. ОЧЕРКИ ТЕРСКОЙ СТАРИНЫ. Из Смутного времени. Предки 1-го Кизлярско-Гребенского генерала Ермолова полка Терского казачьего войска в составе рот стрелецкого головы Василия Хохлова при разгроме под Астраханью Ивашки Заруцкого... Владикавказ, 1912.

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:

Авдеев П. И. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ОБ ОРЕНБУРГСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ. Сост. П. И. Авдеевым. 1873 г. Оренбург, Оренбургское казачье войско, 1904.

УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:

Бородин Н. УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО. Статистическое описание в 2-х томах... Сост. Н. Бородин. Т. 1—2. Уральск, Урал.-войсковое хоз. правл., 1891.

Данилевский К. В. ...УРАЛО-КАСПИЙСКИЙ КРАЙ. (Уральская губерния и бывшие — земля Уральского казачьего войска и Уральская область). Уральск, 1927.

Железнов И. УРАЛЬЦЫ. Очерки быта уральских казаков. Ч. 1—3. Соч. И. Железнова. М., 1858.

Коновалов Е. УРАЛЬЦЫ (За полтора года борьбы). Одесса, 1919.

КАЗАЧЕСТВА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:

Васильев А. П. ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КАЗАКИ. Т. 3. Чита. 1918.

Вахрушин С. В. КАЗАКИ НА АМУРЕ. Л., Брокгауз. Ефрон, 1925.

Воронин А. Я. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА. М., 1977.

Воронин А. Я. УЧАСТИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ КАЗАЧЬИХ ЧАСТЕЙ В ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. М., 1977.

Долгих А. И. КЛАССОВОЕ РАССЛОЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЛНЕНИЯ В СИБИРСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. // Вопросы истории Сибири. 1972. Вып. 6.

Золотов П. МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. Омск, 1978.

Зуев А. С. ЭВОЛЮЦИЯ ЧИНОВНОЙ ИЕРАРХИИ У РУССКИХ КАЗАКОВ ЗАБАЙКАЛЯ // Проблемы истории Сибири: общее и особенное. Новосибирск, 1990.

Ишмаев Н. СИБИРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО (Статистический и экономический очерк). Самара, 1920.

Катанаев Г. Е. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СЛУЖБЫ СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА С 1582 ДО 1908 г. Омск, 1908.

Махниборода Т. В. ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КАЗАЧЕСТВО В ПЕРИОД С 1900 ПО 1917 г. (Соц.-экон. положение). Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. М., 1978.

Манькин-Невструев А. ЗАВОЕВАТЕЛИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. ЯКУТСКИЕ КАЗАКИ. Очерк. М., 1883.

Петров В. И. О СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЕ СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА // Очерки социально-экономической и политической истории СССР. М., 1963.

РОССИЯ. КОМИТЕТ МИНИСТРОВ. КАНЦЕЛЯРИЯ. Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и Уссурийского казачьих войск. Вып. 1—2. СПб., 1902.

Сергеев О. И. УЧАСТИЕ КАЗАЧЕСТВА В ЗАСЕЛЕНИИ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОСВОЕНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в.). Владивосток, 1978.

Сергеев О. И. КАЗАЧЕСТВО НА РУССКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В XVII—XIX вв. М., 1983.

Чертков А. С. ЯКУТСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.: Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. Владивосток, 1990.

Шулунов Ф. К ИСТОРИИ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО КАЗАЧЕСТВА (Краткий очерк). Улан-Удэ, 1936.

Казачество России с 1917 года

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ ОКТЯБРЯ НА ДОНУ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. Ростов н/Дону, 1986.

Алексахенко А. П. КРАХ ДЕНИКИНЩИНЫ. М., 1966.

Бабичев Д. С. ДОНСКОЕ ТРУДОВОЕ КАЗАЧЕСТВО В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ. Ростов н/Дону, 1969.

Борисенко И. П. СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1918 г. Т. 1, 2. Ростов н/Дону, 1930.

Бугай Н. Ф. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ ДОНА И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 1919—1921 гг. М., 1979.

Быкадоров И. Ф. ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА. Кн. 1. Пр. Б-ка вольного казачества, 1930.

Воскобойников Г. Л., Прилепский Д. К. БОРЬБА ПАРТИИ ЗА ТРУДОВОЕ КАЗАЧЕСТВО. Грозный, 1980.

Воскобойников Г. Л., Прилепский Д. К. КАЗАЧЕСТВО И СОЦИАЛИЗМ. Ростов н/Дону, 1986.

Гюев М. И. ЛЕНИНСКАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В ГОРСКОМ АУЛЕ. Орджоникидзе, 1969.

Губарев Г. В. КНИГА О КАЗАКАХ: Материалы по истории казачьей древности. Париж. «Казак». 1957—1959.

Душенькин В. В. ВТОРАЯ КОННАЯ. М., 1968.

Евсеев Н. Ф. О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ. Под ред. и с предисл. В.Троцкого. Самара, 1929.

Екати Б. П. БОЛЬШЕВИКИ ТЕРЕКА — ОРГАНИЗАТОРЫ БОРЬБЫ ТРУДЯЩИХСЯ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ. Орджоникидзе, 1976.

Ермолин А. П. РЕВОЛЮЦИЯ И КАЗАЧЕСТВО. М., 1982.

Ефимов Н. А. РАЗГРОМ КОРНИЛОВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ // Исторические записки. Т. 98.

Ильин Л. КАЗАЧЕСТВО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. // Пролетарская революция. 1928. № 2.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ. М., 1986.

КАЗАЧИЙ ОТДЕЛ ВЦИК СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (Краткий исторический очерк и отчеты Казачьего отдела ВЦИК по октябрь 1919 г.). М., 1919.

Кириенко Ю. К. КРАХ КАЛЕДИНЩИНЫ. М., 1976.

КАЗАЧЕСТВО В ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ. Черкесск, 1984.

КАЗАЧЕСТВО В РЕВОЛЮЦИЯХ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ. Черкесск, 1988.

Козлов А. И. НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПОВОРОТЕ. Ростов н/Дону, 1977.

Козлов А. И. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В КАЗАЧЬИХ РАЙОНАХ ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ // Известия СКНЦВШ. Общественные науки. 1980. № 3.

Кондаков А. А. РАЗГРОМ ДЕСАНТОВ ВРАНГЕЛЯ НА КУБАНИ. М.—Л., 1955.

Кучиев В. Д. ОКТЯБРЬ И СОВЕТЫ НА ТЕРЕКЕ. Орджоникидзе, 1979.

ЛЕНИН О ДОНЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. Ростов н/Дону, 1969.

Левашов В. С. К ИСТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЕСТВА // Вопросы краеведения Забайкалья. Чита, 1973.

Лунченков И. ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ (*Казачи в эмиграции*). С предисл. С. Буденного. М.—Л., «Земля и фабрика», 1925.

Машин М. Д. ОРЕНБУРГСКОЕ И УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Саратов, 1984.

Масянов Л. ГИБЕЛЬ УРАЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. Нью-Йорк, 1969.

Мельников Н. М. А. М. КАЛЕДИН — ГЕРОЙ ЛУЦКОГО ПОХОДА И ДОНСКОЙ АТАМАН. Мадрид, 1968.

Микоян А. И. ПАРТИЯ И КАЗАЧЕСТВО. *Краевое совещание по работе среди казачества при Северо-Кавказском крайком РКП(б). Стенографический отчет*. Ростов н/Дону, 1925.

Овчинникова М. И. СОВЕТСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. Ростов н/Дону, 1972.

Осадчий И. П. ОКТЯБРЬ НА КУБАНИ. Краснодар, 1977.

Пожидяева Г. В. БОРЬБА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЗА ТРУДОВОЕ КАЗАЧЕСТВО ЮЖНОГО УРАЛА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (ОКТЯБРЬ 1917—1920 гг.). Свердловск, 1973.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАБАЙКАЛЯ. Новосибирск, 1980.

СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО. Челябинск, 1958.

ТАМАНЬ. Краснодар, 1960.

Ульянов И. ДУМЫ ВОЛЬНОГО КАЗАКА. М., 1918.

Ульянов И. И. КАЗАКИ И СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА. М., 1929.

Футорянский Л. И. БОРЬБА ЗА МАССЫ ТРУДОВОГО КАЗАЧЕСТВА В ПЕРИОД ПЕРЕРАСТАНИЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ (МАРТ — ОКТЯБРЬ 1917 г.). *Учеб. пособие*. Оренбург, 1972.

Хвостов Н. А. БОРЬБА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЗА ТРУДОВЫЕ МАССЫ СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ПЕРИОД ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Алма-Ата, 1980.

Хмелевский К. А. РЕВОЛЮЦИОННОЕ КАЗАЧЕСТВО В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ. СЫНЫ ДОНСКИХ СТЕПЕЙ. Ростов н/Дону, 1973.

Щетнев В. КЛАССОВАЯ БОРЬБА В КУБАНСКОЙ СТАНИЦЕ (1920—1927 гг.). Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. М., 1968.

Янчевский Н. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ (1917—1920 гг.). Ростов н/Дону, 1924.

КАЗАЧЬИ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

(*Отечественные и зарубежные издания*)

Казачьи ведомости (газета, центральный орган Союза казаков). Адрес редакции: 103030, Москва, ул. Новослободская, 10, кв. 24.

Станица (газета, центральный орган Союза казачьих войск России — организации, параллельной Союзу казаков). Адрес редакции: 103012, Москва, ул. Варварка, 8-Б.

Донские войсковые ведомости (газета всеказахья Области Войска Донского). Адрес редакции: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 87.

Казачьи вести (газета Всекубанского казачьего войска — Кубанской казачьей Рады). Адрес редакции: 350063, г. Краснодар, ул. Шаумяна, 10.

Казачье слово (газета Ставропольского краевого Союза казаков — приложение к газете «Кавказский край»). Адрес редакции: 357530, г. Пятигорск Ставропольского края, Курортный проспект, 4, к. 13, ПО-30.

Терский казак (газета Терского казачьего войска). Адрес редакции: 362040, г. Владикавказ, проспект Мира, 34.

Казачьи лампы Яика (газета Оренбургского казачьего войска). Адрес редакции: 460014, г. Оренбург, ул. Правды, 10.

Казачья воля (газета Сибирского казачьего войска). Адрес редакции: 644024, г. Омск, ул. Пушкина, 55.

Казачий вестник (газета Уральского казачьего общества). Адрес редакции: 417007, г. Уральск, А/Я № 5.

Гуляй-казак (независимая газета для казачества Забайкалья). Адрес редакции: 672000, г. Чита-центр, А/Я № 450.

Вестник Енисейского казачества (газета Енисейского казачьего войска). Адрес редакции: 660049, г. Красноярск, ул. Маркса, 93.

Станичный вестник (газета Всеказахья ассоциации в Канаде). Адрес редакции: All Cossack Association, 7340-13th Ave. Montreal, P. Que. Canada H2A 2X5.

Казачий круг (газета Волгоградского, 2-го Донского, Усть-Медведицкого и Хопёрского казачьих округов ОВД). Адрес редакции: 400066, г. Волгоград, Привокзальная площадь, Дом печати.

Казачья воля (газета Верхнекубанского казачьего округа Терского казачьего войска). Адрес редакции: 357100, г. Черкесск, Карачаево-Черкессия, площадь Кирова, 19-А.

Донское слово (газета Ростовского казачьего округа ОВД — приложение к газете «Молот»). Адрес редакции: 344000, г. Ростов-на-Дону, улица Доватора, 142.

Саянский казак (газета Минусинского казачьего округа Енисейского казачьего войска). Адрес редакции: 662793, г. Саяногорск, Хакасия, А/Я № 7.

Иртышская линия (газета для казаков Верхнего Прииртышья). Адрес редакции: 492000, г. Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, 72, кв. 60.

Казачий путь (газета Санкт-Петербургского землячества казаков «Невская станица»). Адрес редакции: 193166, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 163.

Казачий вестник (газета Новосибирского землячества казаков). Адрес редакции: 630102, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 29, кв. 22.

Станичный вестник (газета казачьих отделов Черкасского округа ОВД). Адрес редакции: 346610, ст. Багаевская Ростовской области, А/Я № 18.

Зеленый Дон (газета экологического общества Черкасского казачьего округа ОВД). Адрес редакции: 346409, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Пушкинская, 111, НИМИ, к. 2220.

Казак (газета 1-го Донского казачьего округа ОВД). Адрес редакции: 346680, г. Константиновск Ростовской области, пос. КГУ-1, Правление казачьего круга.

Хопёрский вестник (газета организации «Хопёрский казачий круг» — для семи районов Волгоградской области). Адрес редакции: 403120, г. Урюпинск Волгоградской области, ул. Ленина, 1.

Казачий рубеж (газета казачьего круга станицы Луганской Союза казаков Области Войска Донского). Адрес редакции: 349040, ст. Луганская Луганской области, ул. Ленина, 1. Музей.

Казачьи вести (газета Томского казачьего союза в газете профсоюзов Томской области). Адрес редакции: 634050, г. Томск, ГСП, пр. Ленина, 55.

Станичник (газета Багаевского казачьего юрта ОВД). Адрес редакции: 346610, ст. Багаевская Ростовской области, ул. Подройкина, 5.

Слово казака (газета Славянского отдела Кубанского казачьего войска). Адрес редакции: 353840, г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края, ул. Ленина, 16.

Казачий вестник (газета Самарского землячества казаков). Адрес редакции: 443010, г. Самара, А/Я № 6822.

Оренбургский казачий вестник (газета ОКВ Союза казаков — приложение к газете «Оренбуржье»). Адрес редакции: 460015, г. Оренбург, Дом Советов. Редакция.

Журналы:

Казачий круг (историко-литературный иллюстрированный альманах, издаваемый малым государственным предприя-

тием «Русское слово»). Адрес редакции: 109004, г. Москва, А/Я № 1172.

Кубанец (издание Кубанского казачьего союза в США, атаман Е. А. Баев). Адрес редакции: «Kubanetz» 17 PEARL, st. RED BANK, NJ 07701 U. S. A. Адрес Екатеринодарского отделения редакции в России: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 149, Свято-Ильинская церковь. Редакция «Кубанца». Донской атаманский вестник (издание Донского казачьего со-

юза в США, атаман Н. В. Федоров). Адрес редакции: 428 Hainswortx, st. Sumter, si 29150 U. S. A.

Есаулец (издание Лондонской общеказачьей станицы имени новомученика цесаревича Алексея). Адрес редакции: A. I. Suscenko, 36 Perryn Road Acton, London W-3 England.

Центральная пресс-служба Союза казаков
(Адрес: 103030, Москва, ул. Новослободская, 10, к. 24)

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Немченко. Вороной с походным вьюком. Роман.....	1
Последнее рыцарство.....	38
Возвращение наших.....	47
Далекий путь к ближнему.....	57
В. Лихоносов. Из блестящего казачьего рода.....	60
История. Обычай. Заповеди.....	65
Что можно прочитать о казачестве России.....	76

КАЗАЧЬЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ — ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

При участии Международной Славянской Академии идет работа над Казачьей Энциклопедией, которая будет систематизированным сводом знаний по истории, военному делу, литературе, труду и быту казачества. КЭ представит галерею замечательных людей казачества, которую откроют имена Матвея Платова, Василия Сурикова, Михаила Шолохова. КЭ расскажет о возрождении казачества и осветит перспективы развития, а также даст основы современных знаний во всех областях человеческой деятельности. КЭ отразит жизнь и деятельность зарубежного казачества. Энциклопедия планируется однотомной, иллюстрированной, предполагаемое время издания — 1995 г. Будет объявлена предварительная подписка.

Научно-редакционный совет рассчитывает на широкую поддержку и помощь в подготовке и издании Энциклопедии и на большое число подписчиков.

НАШ АДРЕС: 103030, Москва, Новослободская ул., 10, к. 24, Казачья Энциклопедия. Реквизиты: Казачий фонд культуры, тек. счет 2700852 в коммерческом банке «Пресня-банк» г. Москвы, МФО 201144, код 9201142, с пометкой «для Казачьей Энциклопедии». Телетайп 112855 «Ропот». Телефон 202-73-60.

Научно-редакционный совет Казачьей Энциклопедии

“СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ЧТО МЫ — КАЗАКИ!”

СБОРНИК

Ответственная за производство *О.Лексикова*
Редактор *Н. Колосовская*
Технический редактор *Н. Кошелева*
Корректор *О. Наренкова*

Главный художник *Ю. Коннов*
© Оформление художника *С. Гавриляченко*
© Фото *Н. Кочнева*
Учредитель: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ “РОМАН-ГАЗЕТЫ”

Сдано в набор 29.10.92. Подписано в печать 20.04.93. Формат 84x108/16. Бумага газетная. Гарнитура типа “Таймс”. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Уч. изд. л. 15,08. Тираж 816 000 экз. Цена подписная. Заказ 677
Адрес издательства “Роман-газета”: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Отпечатано с оригинал-макета в Чеховском полиграфическом комбинате (142300, г. Чехов Московской обл.)

Рукописи ранее не опубликованных произведений издательством не принимаются и не рассматриваются. Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

В СЛУЧАЯХ НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ
В ОТДЕЛЕНИЯ ДОСТАВКИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Совета атаманов Союза казаков "О проведении Большого Круга (съезда) Союза казаков"

1. Провести Большой Круг Союза казаков в столице Оренбургского казачьего войска г.Оренбурге в середине сентября 1993 г.

2. Предложить следующий проект дня:

Отчет атамана Союза казаков

Отчет ревизионной комиссии

Выборы атамана Союза казаков

Принятие дополнений и изменений к Уставу Союза казаков

Принятие Программы становления казачества

Утверждение состава Совета стариков

Утверждение ревизионной комиссии

Разное

3. Утвердить следующее представительство делегатов на Большой Круг Союза казаков:

Союз казаков Области войска Донского	70 дел.
Всекубанское казачье войско	50
Терское казачье войско	50
Ставропольский краевой Союз казаков	50
Союз казаков Калмыкии	40
Союз Сибирских казаков	60
Союз Уральских казаков	40
Оренбургское казачье войско	50
Иркутское казачье войско	30
Енисейское казачье войско	30
Амурское казачье войско	30
Уссурийское казачье войско	30
Забайкальское казачье войско	30
Черноморское казачье войско	30
Якутский казачий полк	10
Астраханский Союз казаков	20
Союз Семиреченских казаков	10

Поручить Правлению Союза казаков определить численность делегатов от отдельных округов и землячеств в пределах от 3-х до 5-и делегатов.

Войсковым атаманам определить равное представительство на Большой Круг от всех структурных подразделений, учитывая при этом, что превышение определенной Советом атаманов численности недопустимо.

4. Утвердить Подготовительный комитет по организации и проведению Большого Круга в следующем составе.

Мартынов А.Г., атаман Союза казаков - председатель;
Косянов В.И., атаман Оренбургского казачьего войска - зам.председателя;

члены комитета:

Безруких В.П., товарищ атамана Союза казаков;

Наумов В.В., походный атаман Союза казаков;

Гусев Б.Н., атаман Союза казаков Поволжья и Урала;

Федосов П.С., атаман Ставропольского краевого Союза казаков;

Качалин А.А., атаман Союза Уральских казаков;

Ичев А.Г., войсковой писарь Союза казаков;

Бакиров Р.Р., член правления Оренбургского казачьего войска;

Задорожный П.Ф., атаман Якутского казачьего полка;

Моргунов Н.С., нач. штаба Союза казаков Области войска Донского;

Абушинов П.И., член правления Союза казаков Калмыкии;

Белозерцев Ю.А., товарищ атамана Союза Сибирских казаков;

Отец Сергей (Косов), войсковой священник Союза казаков.

5. Атаману Союза казаков определить состав комиссии для разработки "Программы становления казачества". Войсковым атаманам в 2-недельный срок представить в атаманское правление Союза казаков кандидатуры для включения в состав указанной комиссии.

6. Атаману Союза казаков в 3-недельный срок сформировать земельную комиссию Союза казаков; включить в нее специалистов по земельным вопросам от ряда войск и землячеств.

7. Войсковым атаманам в недельный срок сформировать в войсках земельные комиссии и утвердить положения "О земельных комиссиях".

8. Атаманам войск, региональных Союзов, отдельных округов и землячеств перечислить в срок до 1 июля 1993 года деньги, необходимые для проведения Большого Круга, по адресу:

460000, г.Оренбург,

Р/счет 000700223 в Ленинском отделении Оридбанка, МФО 284622, Оренбургскому казачьему войску из расчета 1,5 тыс. рублей на делегата.

Атаман Союза казаков А.Г.МАРТЫНОВ

30 января 1993 г., г.Москва

СЛУЖБА ПОДПИСКИ "РОМАН-ГАЗЕТЫ" ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По многочисленным просьбам наших подписчиков издательство "Роман-газета", начиная со второго полугодия 1993 года, осуществляет подписку на журналы через собственную службу подписки. Подписку на второе полугодие жители Российской Федерации могут оформить, прислав 900 рублей по адресу (раздел "куда"): Москва, Инкомбанк; филиал "Чистые пруды", расчетный счет № 500345089, к/с 161502 РКЦ ГУ ЦБ РФ код 83 МФО 201791; (раздел "кому"): МП "Роман-газета". В разделе "для письменного сообщения" напишите: "подписка II-го полугодия 1993 г."

Служба подписки "Роман-газеты" заносит всю информацию почтового перевода, который поступил на расчетный счет (Ф.И.О., адрес и назначение перевода), в компьютерную базу данных, где каждому подписчику автоматически присваивается его личный код. Этот код, а также количество подписок, подписчики смогут прочитать на присылаемых наложенным платежом бандеролях. Копию квитанции об отправлении почтового перевода высылать в издательство не обязательно, так как главным источником информации служит для нас карточка-корешок почтового перевода, которая поступает в Инкомбанк на наш расчетный счет.

К сожалению, мы не можем включить сумму услуг по пересылке в стоимость подписки, поскольку почтовые тарифы постоянно меняются. Расходы по пересылке оплачиваются подписчиком при получении журналов; именно эти расходы и составляют сумму наложенного платежа.

Для удешевления услуг по пересылке журнады будут рассылаться по два-три выпуска в одной бандероли.



«ЩОБ НЕ ПРОПАЛА КАЗАЦКА СЛАВА...»

(О памятнике в Тамани)

Как известно, в 1775 году императрица Екатерина II «упразднила за ненадобностью» Запорожскую Сечь, как рассадник народного своеволия, «оплот разинщины и булавинщины». Казацки зимовники и укрепления были сожжены и разгромлены генералом Текелли, а кошевой атаман Петр Калишевский сослан навечно в Соловки. Однако очень скоро «светлейший князь» Григорий Потемкин понял, какой верной поддержки лишился в борьбе с турецким султаном, и разрешил откочевавшим в Приднестровье атаманам С. Белому, А. Головатому и З. Чепеге вновь сформировать боевые отряды. Из них было воссоздано новое, так называемое Черноморское войско верных казаков (в отличие от ушедших за Дунай и в Сербию).

Запорожские отряды проявили высокую организованность, военную сметку и героизм в боях под Очаковым, при Березани и, в особенности, при взятии Измаила. Действия казачьей гребной флотилии (по-казачьи, «чаек») высоко оценил А. В. Суворов.

13 июля 1792 года императрица приняла казачью делегацию во главе с войсковым судьей Антоном Головатым и даровала казакам по их просьбе «остров Фанагорию» (так назывался тогда Таманский мыс) и «всю пустующую степь по правому берегу реки Кубани». На высочайшем приеме Головатый дал своеобразную вещь у клятву императрице и всей России: «Мы воздвигнем грады, населим села, сохраним безопасность пределов. Наша преданность и усердие... любовь к Отечеству пребудут вечно».

Началось переселение Черноморского войска.

Кавалерию, пехоту и войсковой обоз повел по дорогам Украины и Северной Таврии кошевой атаман Захарий (Харько) Чепега. Этому отряду с хозяйственным скарбом пришлось зазимовать после переправы через Дон на Ейской косе. Лодочная же флотилия со строевыми казаками-бойцами за 9 дней обогнула Крымский полуостров и приблизилась к Фанагории. В открытом море ее сопровождала военная парусная яхта «Благовещение» под Андреевским флагом.

Первым на Таманский мыс у Фанагорийской крепости высадился с морских «чаек» отряд атамана Саввы Белого 25 августа 1792 года. То было довольно значительное во-

инство по тем временам. Ступив на дарованную императрицей землю, атаман Белый первым делом попросил священников отслужить молебен, а затем сразу же отрядил небольшую флотилию с казаками-разведчиками в сторону Анапы, где еще сидел двухбунчукный паша Сеид Мустафа.

Большая эпопея освоения нового, дикого края была долгой и прозаически трудной, порой мучительной. Казаки и их атаманы строили хаты и землянки, чистили старые и рыли новые колодцы, рубили лес, заготавливали камыш для кровель и топлива, прокладывали первые дороги и гати на многочисленных болотах, где свирепствовал гнус. Однако прошли годы, и новообретенный край трудами и мужеством казаков преобразился, стал поистине «жемчужиной России».

В 1911 году на собранные Войском деньги на месте высадки первого отряда казаков у Фанагорийской крепости был открыт памятник черноморским казакам. На высоком гранитном постаменте встал бедовый, лукаво усмехающийся, седоусый казак с российским православным знаменем, как бы навсегда слившийся не только с гранитом пьедестала, но и с вековой степной ширью, морским простором и небесной синью. При взгляде на бронзового казака припоминаются слова войскового судьи А. Головатого, ставшие после народной песни:

На Тамани будем жить, верно служить,
Границу держать, рыбу ловить, горилку пить,
А кто придет из неверных,
Как ворога бить!

Памятник изготовлен по проекту и под наблюдением академика Адамсона по рисунку и идее местного живописца П. С. Косолапа.

Анатолий Знаменский



Валерий ГАНИЧЕВ - главный редактор, директор издательства, Александр ЖУКОВ - заместитель директора издательства, Виктор МЕНЬШИКОВ - заместитель главного редактора

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Михаил АЛЕКСЕЕВ, Сергей АЛЕКСЕЕВ, Лариса БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ, Олег ВОЛКОВ, Геннадий ГОЦ, Владимир ГУСЕВ, Владимир ДУДИНЦЕВ, Сергей ЗАЛЫГИН, Валерий ИСАЕВ, Владимир КРУПИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Валентин КУРБАТОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Александр МИХАЙЛОВ, Василий НОВИКОВ, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Юрий СЕРГЕЕВ, Николай СКАТОВ, Дмитрий УРНОВ, Леонид ФРОЛОВ, Леонид ХАНБЕКОВ

РОМАН-9-10 ГАЗЕТА

